

# ДЖЕК ЛОНДОН



Маленькая козья́ка  
большого дома

## Annotation

Роман «Маленькая хозяйка Большого дома», увидевший свет в последний год жизни Д.Лондона, посвящен взаимоотношениям неординарных персонажей и является лучшим произведением писателя по силе и глубине показа тех неистовых бурь, которые вызывает в душах людей любовь.

---

- [Джек Лондон](#)
  - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
  - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
  - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
  - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
  - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
  - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ](#)
  - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ](#)

- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ](#)
  - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
    - [12](#)
    - [13](#)
-

**Джек Лондон**

**Маленькая хозяйка Большого дома**

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он проснулся в темноте; проснулся сразу, легко, не сделав ни одного движения, — просто открыл глаза и увидел, что еще темно. Ему не нужно было, подобно большинству людей, сначала пошарить вокруг себя, прислушаться, ощутить внешний мир, — он сразу нашел свое "я" в определенных условиях пространства и времени и без усилий продолжал повесть своей жизни, прерванную сном. Он сразу осознал себя Диком Форрестом — хозяином огромного поместья, который несколько часов назад, уже в полузабытьи, заложил спичкой страницу книги, выключил настольную лампу и уснул.

Где-то совсем рядом сочно плескался и лепетал фонтан. Издалека донесся звук — такой слабый и смутный, что его могло уловить только очень чуткое ухо; однако Дик Форрест услышал его и улыбнулся: он сразу узнал глухой, хриплый рев Короля Поло, своего лучшего быка из породы шортхорнов, трижды премированного на калифорнийских выставках в Сакраменто. Улыбка долго не сходила с лица Дика Форреста: он рисовал себе те новые победы, которые готовил своему Королю Поло, — в этом году он собирался отправить его на Восток. Он докажет, что бык, рожденный и выращенный в Калифорнии, вполне может соперничать с лучшими, вскормленными кукурузой, быками штата Айова и даже с привезенными из-за моря, с их исконной родины, шортхорнами.

Улыбка погасла, Форрест потянулся в темноте к ряду кнопок над изголовьем и нажал первую. Кнопки шли в три ряда. Скрытый свет, лившийся сквозь стенки большой чаши под потолком, осветил спальню-веранду, с трех сторон затянутую тонкой медной сеткой. Четвертой стороной служила бетонная стена дома с высокими застекленными дверями.

Он надавил вторую кнопку в том же ряду, и яркий свет озарил то место на стене, где висели часы, барометр и два термометра — Фаренгейта и Цельсия. Скользя по ним взглядом, он сразу прочел их показания: время — 4.30, атмосферное давление — 29,80, нормальное для данной высоты над уровнем моря и для времени года; температура — 36 по Фаренгейту. Другим движением пальца он опять погрузил во мрак измерители времени и температуры.

От нажима на третью кнопку вспыхнула его рабочая лампа, поставленная так, чтобы свет падал сверху и сзади, не ослепляя глаз.

Первая кнопка погасила невидимую лампу под потолком; Форрест достал с ночного столика пачку гранок, закурил сигарету и, вооружившись карандашом, принялся их править.

Вся обстановка спальни говорила о том, что здесь живет человек, привыкший работать. Каждая вещь в ней была целесообразна, вместе с тем на всем лежал отпечаток отнюдь не спартанского комфорта. Серая эмалированная кровать была под цвет серой стены. В ногах кровати, вместо теплого пледа, лежал халат из волчьих шкур с висячими хвостами. Ночные туфли стояли на пушистом ковре из меха горной козы.

На ночном столике высились аккуратные стопки книг, журналы, блокноты и еще оставалось место для спичек, сигарет, пепельницы и термоса. На подвижной, прикрепленной к стене подставке стоял диктофон. Со стены, под барометром и термометрами, из круглой деревянной рамки смотрело смеющееся женское личико. И на той же стене, между рядами электрических кнопок и распределительным щитом, висела открытая кобура, из которой торчала рукоятка автоматического кольца-44.

В шесть часов, минута в минуту, когда серый утренний свет начал просачиваться сквозь проволочную сетку. Дик Форрест, не поднимая глаз от корректуры, протянул правую руку и нажал одну из кнопок во втором ряду. Пять минут спустя на веранду неслышно вошел китаец в мягких туфлях. Он держал в руках начищенный медный подносик, на котором стояли чашка с блюдцем, крошечный серебряный кофейник и такой же молочник.

— С добрым утром. О-Дай, — приветствовал его Дик Форрест, улыбаясь не только губами, но и глазами.

— С добрым утром, хозяин, — ответил О-Дай; он освободил на столе место для подноса, налил в чашку кофе и сливки.

Увидев, что хозяин уже подносит одной рукой чашку к губам, а другой продолжает делать пометки на корректуре, О-Дай поднял с пола обшитый кружевами воздушный розовый чепчик и удалился. Он скрылся беззвучно, исчез, как тень, в открытую застекленную дверь.

В шесть тридцать, минута в минуту, он вернулся с подносом побольше. Дик Форрест отложил гранки, достал книгу, озаглавленную: «Промысловое разведение лягушек», — и приготовился завтракать. Завтрак был простой, но сытный: снова кофе, полгрейпфрута, два яйца всмятку, сбитых в стакане с кусочком масла и очень горячих, и ломтик в меру поджаренного бекона; он знал, что это мясо от его свиньи и притом домашнего копчения.

К этому времени лучи солнца уже хлынули через сетку и залили

кровать. С наружной стороны сетки сидело несколько первых весенних мух, ошалевших от ночного холода. Завтракая, Форрест следил за тем, как на них охотятся хищные желтобрюхие осы. Более выносливые и менее чувствительные к заморозкам, чем пчелы, они летали перед сеткой и накидывались на ошалевших мух. Эти воздушные разбойники в желтых камзолах свирепо жужжали и, действуя почти без промаха, схватывали свою жертву и улетали с ней. Последняя муха исчезла раньше, чем Форрест сделал последний глоток кофе и, заложив спичкой книгу о лягушках, принялся опять за корректуру.

Через некоторое время он услышал прозрачную, нежную трель жаворонка — этого первого утреннего певца. Форрест оторвался от работы и взглянул на часы: они показывали семь. Он отложил гранки, взялся за телефон и, нажимая привычной рукой кнопки на распределительном щите, вступил в разговор с целым рядом лиц.

— Алло, О-Пой, — обратился он к первому. — Что мистер Тэйер, встал? Ладно. Не будите. Едва ли он будет завтракать в постели, но вы все-таки справьтесь... Хорошо, и покажите ему, как пускать горячую воду... Может быть, он не знает... Да, да, хорошо... И достаньте как можно скорее еще одного боя. Как только наступает весна, съезжаются гости... Конечно. Словом, на ваше усмотрение. До свидания.

— Мистер Хэнли?.. Да, — начал он вторую беседу с помощью второго контакта, — я думал насчет Бьюкэйской плотины. Мне нужна смета на доставку гравия и камней... Да, вот именно... Я считаю, что ярд гравия обойдется примерно на шесть или десять центов дороже щебня. Ужасно мешает подвозу этот последний крутой склон холма... Разработайте смету... Нет, раньше, чем через две недели, мы начать не сможем... да, да, если новые тракторы подоспеют вовремя, они освободят лошадей от пахоты; но не забудьте, что тракторы придется еще дать на проверку... Нет. Об этом вам придется поговорить с мистером Эверэном. До свидания.

Третья беседа началась так:

— Мистер Досон?.. Ха! Ха!.. У меня на веранде сейчас тридцать шесть градусов. В низинах, наверно, все бело от инея. Но это, пожалуй, последний утренник... Да, поклялись, что тракторы будут доставлены еще два дня назад... Позвоните железнодорожному агенту... Кстати, поговорите за меня и с мистером Хэнли. Я забыл ему сказать, чтобы вместе со второй партией мухоловок он пустил в дело и крысоловки. Да, сейчас же. Сегодня штук двадцать мух грелись на моей сетке... Конечно. Прощайте.

Покончив с разговорами, Форрест быстро встал, сунул ноги в туфли и,

как был, в пижаме, вошел в дом через открытую дверь, чтобы принять ванну, уже приготовленную для него китайцем О-Даем. Минут через десять Форрест, вымытый и выбритый, снова лежал в постели, погружившись в книгу о лягушках, а пунктуальный О-Дай, все исполнявший минута в минуту, массировал ему ноги.

У Дика были сильные, красивые ноги, и сам он был статный и стройный, рост — пять футов десять дюймов, вес — сто восемьдесят фунтов. Эти ноги могли немало порассказать об их владельце: левое бедро пересекал рубец дюймов в десять длиной; поперек левой лодыжки, от икры до пятки, также шло несколько шрамов величиной с монету. Когда О-Дай посильнее разминал левое колено, Форрест невольно морщился. И на правой голени темнело несколько небольших шрамов, а глубокий рубец, как раз под коленом, доходил почти до кости. На бедре виднелся след застарелого ранения шириной в три дюйма, испещренный точками от снятых швов.

Внезапно со двора донеслось веселое ржание. Форрест поспешно заложил спичкой нужную страницу лягушачьей книги, перевернулся на бок и посмотрел в ту сторону, откуда донеслось ржание, в то время как О-Дай надевал хозяину носки и башмаки. Внизу на дороге, среди лиловых кистей ранней сирени, появился живописный ковбой верхом на крупном жеребце; в золотых утренних лучах жеребец казался красноватокоричневым; он шел, роняя клочья белоснежной пены, гордо взмахивая гривой, поводил вокруг блестящими глазами, и трубный звук его любовного призыва разносился по зеленеющей равнине.

Дика Форреста в то же мгновение охватила радость и тревога: радость при виде этого великолепного животного, выступавшего между кустами сирени, — и тревога, как бы его ржание не разбудило ту молодую женщину, чье смеющееся личико глядело на него из деревянной рамки на стене. Он бросил быстрый взгляд через двор шириной в двести футов на выступавшее вперед крыло дома, находившееся еще в тени. Шторы на окнах ее веранды-спальни были спущены. Они не шевельнулись. Жеребец снова заржал, но он спугнул только стайку диких канареек, — они поднялись из цветущих кустов, которыми был обсажен двор, точно брызнул вверх сноп золотисто-зеленых брызг, брошенный восходящим солнцем.

Следя за жеребцом. Дик Форрест рисовал себе его прекрасное и сильное потомство, этих жеребят без малейшего порока. А когда лошадь скрылась среди сирени. Дик, как обычно, сейчас же возвратился к окружающей его действительности и спросил слугу:



— Ну, как новый бой, О-Дай? Привыкает?

— Мне кажется, он хороший бой, — ответил китаец, — Совсем мальчишка. Все ему ново. Очень медленный. Но ничего, толк выйдет.

— Да? Почему ты так думаешь?

— Я бужу его третье или четвертое утро. Спит, как маленький. Проснулся — улыбается. Совсем как вы. Очень хорошо.

— А разве я улыбаюсь, когда проснусь? — спросил

Форрест.

О-Дай усердно закивал.

— Уж сколько раз, сколько лет я бужу вас. И всегда, как глаза откроете, так они уже улыбаются, губы улыбаются, лицо улыбается, весь вы улыбаетесь. Сразу. Это очень хорошо. Если человек так просыпается, значит, ума много. Я знаю. И новый бой — умный. Увидите, скоро-скоро выйдет из него толк. Его зовут Чжоу Гэн. Как вы будете называть его здесь?

— А какие имена у нас уже есть? — спросил он.

— О-Рай, Ой-Ой, Ой-Ли, потом я — О-Дай, — перечислял китаец скороговоркой. — О-Рай говорит, надо назвать нового боя...

Он смолк и лукаво посмотрел на своего хозяина.

Форрест кивнул.

— О-Рай говорит, пусть новый бой будет О-Черт!

— Охо! Здорово! — расхохотался Форрест. — Я вижу, О-Рай шутник! Имя хорошее, только оно не подойдет. А что скажет миссис? Надо придумать что-нибудь другое.

— О-Хо тоже очень хорошее имя.

В ушах у Форреста все еще стояло его собственное восклицание, и он понял, откуда китаец взял это имя.

— Хорошо. Пусть называется О-Хо.

О-Дай наклонил голову, неслышно выскользнул в дверь и тут же вернулся с остальной одеждой своего хозяина, помог ему надеть нижнюю и верхнюю сорочку, набросил на шею галстук, который тот завязывал сам, и, опустившись на колени, затянул краги и нацепил шпоры; затем подал широкополую фетровую шляпу и хлыст.

Хлыст был особый, индейского плетения, — он состоял из узких полосок сыромятной кожи, в его рукоятку было вделано десять унций свинца, и он висел на ременной петле, которую Дик надел на руку.

Однако Форрест еще не мог уйти из своей комнаты: О-Дай протянул ему несколько писем, — их привезли со станции вчера вечером, когда хозяин уже лег. Надорвав правую сторону конвертов, Форрест быстро просмотрел письма и задержался только на одном. Он постоял,

накупившись, потом быстро подошел к диктофону, отвел его от стены, нажал кнопку, поворачивавшую цилиндр, и поспешно начал диктовать, не делая никаких пауз, чтобы подыскать нужное слово или точнее выразить свою мысль:

"В ответ на ваше письмо от четырнадцатого марта тысяча девятьсот четырнадцатого года должен сообщить, что я весьма огорчен известием о разразившейся у вас свиной холере. Огорчен я тем, что вы сочли возможным возложить на меня ответственность за это. А также тем, что боров, которого мы прислали вам, околел.

Могу вас заверить, что холеры у нас здесь не наблюдается, эта болезнь не появлялась уже в течение восьми лет, за исключением двух случаев, когда два года тому назад ее завезли к нам с Востока; но, согласно нашему правилу, заболевшие свиньи тут же были изолированы и уничтожены раньше, чем зараза перекинулась на наши стада.

Должен заявить вам, что ни в том, ни в другом случае я не могу возложить на продавцов вину за присылку мне больного скота. Как вам известно, инкубационный период свиной холеры продолжается девять дней; проверив дату их погрузки, я убедился в том, что при отправке они были совершенно здоровы.

Разве вам никогда не приходило в голову, что железные дороги чрезвычайно способствуют распространению холеры? Слыхали вы когда-нибудь об окуливании или дезинфекции вагона, в котором ехал больной скот? Сопоставьте даты: во-первых, дату отправки борова мною; во-вторых, время доставки борова вам; и, в-третьих, дату появления первых признаков болезни. Вы сообщаете, что по случаю весенних размылов боров был в пути пять дней. Первые симптомы появились только на седьмой день после его доставки вам. Следовательно, прошло двенадцать дней после того, как он был мною отправлен.

Нет. Я с вами не согласен: я не могу нести ответственность за бедствие, постигшее ваши стада. Кроме того, можете справиться в ветеринарном управлении штата, есть ли в моем имении холера.

С уважением..."

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Покинув свою спальню-веранду, Форрест прошел через комфортабельную гардеробную с диванами в оконных нишах, большими ларями и огромным камином, возле которого была дверь в ванную, и направился в комнату, служившую конторой и обставленную соответствующим образом: письменные столы, диктофоны, картотеки и книжные шкафы, а также полки, доходящие до самого потолка и разделенные на клетки и отделения.

Подойдя к книжным полкам, Форрест нажал кнопку; несколько полок повернулось, и открылась узенькая винтовая лестница; он стал осторожно спускаться, стараясь не зацепить шпорами за полки, автоматически возвращавшиеся на место позади него.

Под лестницей другая кнопка и поворот других полок открыли перед ним вход в длинную низкую комнату, уставленную книгами от пола до потолка. Форрест прямо направился к одной из полок и сразу опустил руку на корешок книги, которая ему понадобилась. Полистав ее, он тут же отыскал нужное место, удовлетворенно кивнул, как бы найдя то, что подтверждало его мысли, и поставил книгу обратно.

Отсюда дверь вела в крытый ход из квадратных бетонных столбов, соединенных поперечными брусьями из калифорнийской секвойи вперемежку с более тонкими брусьями из того же дерева, покрытыми шероховатой, морщинистой корой, похожей на красноватый бархат.

Судя по тому, что он сделал несколько сот футов, огибая бесконечные стены огромного бетонного дома, было ясно, что путь он выбрал не самый короткий. Под старыми дубами, у длинной изглоданной коновязи, где вытоптанный копытами гравий свидетельствовал о множестве побывавших здесь лошадей, он увидел кобылу гнедой, вернее, золотисто-коричневой масти. В косых лучах солнца, падавших под навес из листьев, ее холеная шерсть отливала атласным блеском. Все ее существо, казалось, было полно огня и жизни. Сложением она напоминала жеребца, а бежавшая вдоль спинного хребта узенькая темная полоска говорила о многих поколениях мустангов.

— Ну, как сегодня настроение у Фурии? — спросил Форрест, снимая с ее шеи уздечку.

Лошадь заложила назад свои ушки, самые маленькие, какие только могут быть у лошади, показывавшие, что она — дитя любви горячих

чистокровных жеребцов и диких горных кобылиц, и сердито оскалила зубы, сверкая злыми глазами.

Когда Форрест вскочил в седло, она метнулась в сторону и попыталась сбросить седока, а потом заплясала по усыпанной гравием дорожке. Вероятно, ей удалось бы подняться на дыбы, если бы не мартингал, — этот ремень удерживал лошадь от слишком резких движений и вместе с тем предохранял нос седока от сердитых взмахов ее головы.

Дик настолько привык к этой кобыле, что почти не замечал ее выходов. То чуть прикасаясь поводьями к ее выгнутой шее, то слегка щекоча ей бока шпорами или нажимая шенкелем, он почти бессознательно заставлял ее идти в нужном направлении. Один раз, когда она опять завертелась и заплясала, он на миг увидел Большой дом. Да, дом был велик, но благодаря своей архитектуре казался больше, чем на самом деле. Он вытянулся по фасаду на восемьдесят футов в длину, однако в нем немало места занимали галереи с бетонными стенами и черепичными крышами, соединявшие между собой отдельные части здания. Там были внутренние дворики, крытые ходы и переходы, и вся постройка, со своими стенами, прямоугольными выступами и нишами как бы вырастала из гущи зелени и цветов.

Большой дом, несомненно, носил на себе отпечаток испанского стиля, но не принадлежал к тому испанокалифорнийскому типу зданий, который был занесен сюда через Мексику лет сто тому назад и на основе которого позднейшие архитекторы создали так называемый испано-калифорнийский стиль. Архитектуру Большого дома при всей ее разнородности скорее можно было определить как испано-мавританскую, хотя находились знатоки, горячо возражавшие и против такого определения.

Просторен, но не суров, красив, но не претенциозен — таково было общее впечатление, которое производил Большой дом. Его длинные горизонтальные линии, прерываемые лишь вертикальными линиями выступов и ниш, всегда прямоугольных, придавали ему почти монастырскую простоту; и только ломаная линия крыши оживляла некоторое его однообразие.

Однако эта низкая, словно расползшаяся постройка не казалась приземистой: множество нагроможденных друг на друга квадратных башен и башенок делали ее в достаточной мере высокой, хотя и не устремленной ввысь. Основной чертой Большого дома была прочность. Его хозяева могли не бояться землетрясений. Казалось, он должен выстоять тысячу лет. Добротный бетон его стен был покрыт слоем не менее добротной штукатурки, выкрашенной кремовой краской. Такое однообразие окраски

могло быть утомительным для глаз, если бы оно не нарушалось теплыми красными тонами плоских крыш из испанской черепицы.

В тот миг, когда горячая лошадь заплясала под ним и Дик Форрест охватил одним взглядом весь Большой дом, его глаза озабоченно задержались на длинном флигеле по ту сторону двора в двести футов шириной; громоздившиеся друг над другом башенки флигеля казались розовыми в лучах утреннего солнца, а спущенные шторы на окнах спальни под ними показывали, что его жена еще спит.

Вокруг усадьбы с трех сторон тянулись низкие, покатые, мягко очерченные холмы с короткой травой и оградами: там были пастбища. Холмы постепенно переходили в более высокое предгорье с покрытыми лесом склонами, а за ним следовала еще более крутая гряда величественных гор. С четвертой стороны горизонт не заслоняли ни горы, ни холмы. Там, в туманной дали, местность переходила в необозримые низменности, конца краю которым не было видно даже в этом прозрачном и морозном утреннем воздухе.

Фурия под Форрестом захрапела. Он сжал ей шенкелями бока и заставил отойти к самому краю дороги, так как навстречу ему, топоча копытцами по гравию, текла река серебристо поблескивающего шелка. Он сразу узнал стадо своих премированных ангорских коз, у каждой из которых была своя родословная и своя характеристика. Их было около двухсот.

Благодаря тому, что этих породистых коз осенью не стригли, их сверкающая шерсть, ниспадавшая волной даже с самых молодых животных, была тоньше, чем волосы новорожденного дитяти, белее, чем волосы человеческого альбиноса, и длиннее обычных двенадцати дюймов, а шерсть лучших из них, доходившая до двадцати дюймов, красилась в любые цвета и служила преимущественно для женских париков; за нее платили баснословные деньги. Форреста пленяла красота идущего ему навстречу стада. Дорога казалась лентой жидкого серебра, и в нем драгоценными камнями блестели похожие на глаза кошек желтые козьи глаза, следившие с боязливым любопытством за ним и его нервной лошадью. Два пастуха-баска шли за стадом. Это были коренастые, плечистые и смуглые люди с черными глазами и выразительными лицами, на которых лежал отпечаток задумчивой созерцательности. Увидев хозяина, пастухи сняли шапки и поклонились. Форрест поднял правую руку, на которой, покачиваясь, висел хлыст, и прикоснулся к краю своей широкополой фетровой шляпы.

Лошадь опять заплясала и завертелась под ним; он слегка натянул

повод и тронул ее шпорами, все еще не в силах оторвать взгляд от этих четвероногих клубков шелка, заливавших дорогу серебристым потоком. Форрест знал, почему они появились возле усадьбы: наступало время окота, когда их уводили с пастбищ и помещали в особые загоны, где их ждали обильный корм и заботливый уход. Глядя на них. Дик представил себе все лучшие турецкие и южноафриканские породы и нашел, что его стадо вполне могло выдержать сравнение с ними. Хорошее, отличное стадо!

Он поехал дальше. Со всех сторон раздавалось жужжание машин, разбрасывающих удобрение. Вдали, на отлогих низких холмах, виднелось множество упряжек, парных и троечных, — это его широкие кобылы пахали и перепаживали плугами зеленый дерн горных склонов, обнажая темно-коричневый, богатый перегноем, жирный чернозем, настолько рыхлый и полный животворных сил, что он как бы сам рассыпался на частицы мелкой, точно просеянной земли, готовой принять в себя семена. Эта земля была предназначена для посева кукурузы и сорго на силос. На других склонах посеянный раньше ячмень уже доходил до колен и виднелись дружные всходы клевера и канадского гороха.

Все эти поля, большие и малые, были обработаны так тщательно и целесообразно, что порадовали бы сердце самого придирчивого знатока. Ограды и заборы были настолько плотны и высоки, что являлись надежной защитой и от свиней и от рогатого скота, а в их тени не росло никаких сорных трав. Низины были засеяны люцерной; на некоторых зеленели озими, другие, согласно требованиям севооборота, готовились под яровые; а на тех, которые лежали ближе к загонам для маток, паслись сытые шроширские и французские мериносы или рылись в земле громадные белые племенные свиньи, при виде которых глаза Дика радостно блеснули.

Он проехал через некоторое подобие деревни, где не было, однако, ни гостиниц, ни лавок. Домики типа бунгало были изящной и прочной стройки и радовали глаз; каждый стоял в саду, где уже цвели ранние цветы и даже розы, презревшие опасность последних утренников. Среди клумб бегали и резвились уже проснувшиеся дети, а иные, заслышав зов матерей, неохотно уходили завтракать.

Огибая Большой дом на расстоянии полумили, Форрест проехал мимо вытянувшихся в ряд мастерских. Он остановился возле первой и заглянул внутрь. Один из кузнецов работал у горна. Другой, склонившись над передней ногой уже немолодой кобылы, весившей тысячу восемьсот фунтов, стачивал наружную сторону копыта, чтобы лучше пригнать подкову. Форрест мельком взглянул на кузнеца и на его работу, поклонился

и поехал дальше. Проехав около ста футов, он остановил лошадь, вытащил из заднего кармана записную книжку и что-то в нее занес.

По пути он заглянул еще в несколько мастерских — малярную, слесарную, столярную, в гараж. Когда он стоял возле столярной, мимо него промчалась необычная автомашина — полугрузовик, полулегковая — и, свернув на большую дорогу, понеслась к станции железной дороги, находившейся в восьми милях от имения. Он узнал грузовик, забиравший каждое утро с молочной фермы ее продукцию.

Большой дом являлся как бы душой и центром всего имения. На расстоянии полумили его окружало кольцо хозяйственных построек. Не переставая раскланиваясь со своими служащими. Дик Форрест проехал галопом мимо молочной фермы. Это был целый городок с силосными башнями и подвесной дорогой, по которой двигалось множество транспортеров, автоматически выгружавших удобрения на площадки машин. Некоторые служащие, ехавшие кто верхом, кто в повозках, останавливали Форреста, желая посоветоваться с ним; по всему было видно, что это сведущие, деловые люди. То были экономы и управляющие отдельными отраслями хозяйства; говоря с хозяином, они были так же немногоречивы, как и он. Последнего из них, сидевшего на грациозной молодой трехлетке — дикой и прекрасной, как может быть прекрасна еще не вполне обьезженная лошадь арабской крови, — и вознамерившегося ограничиться только поклоном, Дик Форрест сам остановил.

— С добрым утром, мистер Хеннесси, — сказал он. — Скоро она будет готова для миссис Форрест?

— Подождите еще недельку, — ответил Хеннесси. — Она теперь обьежена, и именно так, как этого хотелось миссис Форрест; но лошадь утомлена и нервничает, — хорошо бы дать ей несколько дней, чтобы совсем привыкнуть и успокоиться.

Форрест кивнул, и Хеннесси, его ветеринар, продолжал:

— Кстати, у нас есть два возчика, они возят люцерну... Я полагаю, их следует рассчитать.

— А что такое?

— Один из них новый, Хопкинс, демобилизованный солдат; с мулами он, может быть, и умеет обращаться, но в рысках ничего не смыслит.

Форрест снова кивнул.

— Другой служит у нас уже два года, но он стал пить и похмелье свое вымещает на лошадях...

— Ага, Смит — этакий американец старого типа, бритый, левый глаз косит? — перебил его Форрест.

Ветеринар кивнул.

— Я наблюдал за ним... Сначала он хорошо работал, а теперь почему-то закуролесил... Конечно, пошлите его к черту. И этого тоже, как его... Хопкинса, гоните вон. Кстати, мистер Хеннесси, — Форрест вынул записную книжку и, оторвав недавно исписанный листок, скомкал его, — у вас там новый кузнец. Ну что, как он кует лошадей?

— Он у нас совсем недавно, я еще не успел к нему присмотреться.

— Так вот: гоните его вместе с теми двумя. Он нам не подходит. Я только что видел, как он, чтобы получше пригнать подкову старухе Бесси, соскоблил у нее чуть ли не полдюйма с переднего копыта.

— Нашел способ!

— Так вот. Отправьте его ко всем чертям, — повторил Форрест и, слегка тронув лошадь, пустил ее по дороге; она с места взяла в карьер, закидывая голову и пытаясь сбросить его.

Многое из того, что Форрест видел, нравилось ему. Глядя на жирные пласты земли, он даже пробормотал: «Хороша земля, хороша!» Кое-что ему, однако, не понравилось, и он тотчас же сделал соответствующие пометки в своей записной книжке.

Замыкая круг, центром которого был Большой дом, Форрест проехал еще с полмили до группы стоящих отдельно барakov и загонов. Это была больница для скота — цель его поездки. Здесь он нашел только двух телок с подозрением на туберкулез и великолепного джерсейского борова, чувствовавшего себя как нельзя лучше. Боров весил шестьсот фунтов; ни блеск глаз, ни живость движений, ни лоснящаяся щетина не давали оснований предположить, что он болен. Боров недавно прибыл из штата Айова и должен был, по установленным в имении правилам, выдержать определенный карантин. В списках торгового товарищества он значился как Бургесс Первый, двухлетка, и обошелся Форресту в пятьсот долларов.

Отсюда Форрест свернул на одну из тех дорог, которые расходились радиусами от Большого дома, догнал Креллина, своего свиновода, дал ему в течение пятиминутного разговора инструкции, как содержать в ближайшие месяцы Бургесса Первого, и узнал, что его великолепная первоклассная свиноматка Леди Айлтон, премированная на всех выставках от Сиэтла до СанДиего и удостоенная голубой ленты, благополучно разрешилась одиннадцатью поросятами. Креллин рассказал, что просидел возле нее чуть не всю ночь и едет теперь домой, чтобы принять ванну и позавтракать.

— Я слышал, что ваша старшая дочь окончила школу и собирается поступить в Стэнфордский университет? — спросил Форрест, сдержав



лошадь, которую он уже хотел пустить галопом.

Креллин, молодой человек лет тридцати пяти, рано созревший оттого, что давно стал отцом, и еще юный благодаря честной жизни и свежему воздуху, был польщен вниманием хозяина; он слегка покраснел под загаром и кивнул.

— Обдумайте это хорошенько, — продолжал Форрест. — Вспомните-ка всех известных вам девушек, окончивших колледж или учительский институт: многие ли работают по своей специальности? А сколько в течение ближайших же двух лет по окончании курса повыходили замуж и обзавелись собственными младенцами?

— Но Елена относится к учению очень серьезно, — возразил Креллин.

— А помните, когда мне удаляли аппендикс, — снова заговорил Форрест, — за мной ухаживала одна умелая сиделка — самая прелестная девушка, какая когда-либо ходила по земле на прелестных ножках. Она всего за шесть месяцев до этого получила свидетельство квалифицированной сиделки. И не прошло и четырех месяцев, как мне пришлось послать ей свадебный подарок. Она вышла замуж за агента автомобильной фирмы. С тех пор она все время кочует по гостиницам и ни разу не имела возможности применить свои знания, тем более что и детей они не завели. Правда, теперь у нее опять появились надежды... Но то ли это будет, то ли нет, а пока она и так совершенно счастлива. К чему же все ее учение?..

Как раз в это время мимо них прошел пустой удобритель, и Креллину пришлось отступить, а Форресту отъехать к самому краю дороги. Форрест с удовольствием оглядел запряженную в удобритель рослую, удивительно пропорционально сложенную кобылу, многочисленные премии которой, так же как и премии ее предков, потребовали бы особого эксперта, чтобы их перечислить и классифицировать.

— Посмотрите на Принцессу Фозрингтонскую, — заметил Форрест, указывая на лошадь, радовавшую его взоры. — Вот настоящая производительница. Только случайно, благодаря селекции во многих поколениях, стала она животным, приспособленным для перевозки тяжестей. Но не это в ней главное: главное то, что она производительница. И для наших женщин в большинстве случаев самое главное — любовь к мужчине и материнство, к которому они предназначены природой. В биологии нет никаких оснований для всей этой современной женской кутерьмы из-за работы и политических прав.

— Но есть основания экономические, — возразил Креллин.

— Несомненно, — согласился Форрест и продолжал: — Наш

промышленный строй не дает женщинам возможности выйти замуж и заставляет их работать. Но не забудьте, что промышленные системы приходят и уходят, а законы биологии вечны.

— В наше время одной семейной жизнью молодых женщин не удовлетворишь, — продолжал настаивать Креллин.

Дик Форрест недоверчиво засмеялся.

— Ну не знаю! — сказал он. — Возьмем хотя бы вашу жену: получила диплом, да еще университетский по факультету древних языков! А зачем ей это нужно? У нее два мальчика и три девочки, если не ошибаюсь. А вашей невестой она стала — помните, вы говорили? — еще за полгода до окончания курса...

— Так-то так, но... — настаивал Креллин, хотя в его глазах мелькнуло что-то, показывавшее, что он согласен со своим хозяином, — во-первых, это было пятнадцать лет назад, а во-вторых, мы отчаянно влюбились друг в друга. Чувство было сильнее нас. Тут, я не спорю, вы правы. Она мечтала о великих деяниях, а я мог в лучшем случае рассчитывать на деканство в сельскохозяйственном колледже. И все-таки чувство пересилило, и мы поженились. Но ведь с тех пор прошло целых пятнадцать лет, а за эти годы в жизни, в стремлениях, в идеалах нашей женской молодежи изменилось очень многое.

— Не верьте этому, мистер Креллин, не верьте! Посмотрите статистику. То, о чем вы говорите, случайно и очень относительно. Каждая женщина была и останется женщиной прежде всего. Пока наши девочки будут играть в куклы и любоваться на себя в зеркало, женщина будет тем, чем была всегда: во-первых, матерью, во-вторых, подругой мужчины, женой. Это, повторяю, подтверждается статистикой. Я следил за судьбой женщин, окончивших учительский институт. Не забудьте, что те из них, кто выходит замуж до окончания курса, исключаются из института. Но и те, кто успевает окончить его, преподают в среднем не больше двух лет. А если принять во внимание, что многие из кончающих некрасивы или незадачливы и обречены судьбою оставаться старыми девами и всю жизнь преподавать, то срок работы тех, кто выходит замуж, еще сократится.

— И все-таки женщина, даже девочка, всегда сделает все по-своему, наперекор мужчине, — пробормотал Креллин, пасуя перед цифрами, приведенными Форрестом, и решив на досуге изучить их.

— Значит, ваша дочка поступит в университет, — рассмеялся Форрест, готовясь пустить лошадь галопом, — а вы, и я, и все мужчины до скончания века будут позволять женщинам делать все, что им вздумается?

Провожая взглядом быстро уменьшавшуюся фигуру хозяина и его

лошади, Креллин улыбнулся. Он подумал: «А где же ваши собственные ребята, мистер Форрест?» — и решил за утренним кофе рассказать жене об этом разговоре.

Прежде чем вернуться к Большому дому. Дик Форрест остановился еще раз.

Человека, которого он окликнул, звали Менденхоллом; это был управляющий конюшнями и специалист по пастбищам. Про него говорили, что он знает в имении не только каждую травинку с той минуты, как появился росток, но и высоту травинки.

По знаку Форреста Менденхолл остановил пару трехлеток, которых он объезжал в пароконной двуколке.

Окликнул же его Форрест после того, как внимательно взгляделся в северный конец долины Сакраменто: там на много миль тянулась волнистая линия холмов, озаренных солнцем и уже покрытых яркой, свежей зеленью.

Происшедший затем разговор был краток и свелся к немногосложным вопросам и ответам. Они давно научились понимать друг друга. Речь шла о травах, о зимних дождях и возможности поздних весенних дождей. Упоминались речки — Литтл Койот и Лос-Кватос, холмы Йоло и Миримар, а также Биг Бэзин, Раунд Валлей и горные кряжи Сан-Ансельмо и Лос-Банос. Обсуждались теперешние, прошлые и будущие передвижения стад и гуртов, надежды на травы, посеянные на горных пастбищах, производился приблизительный подсчет сена, оставшегося в отдаленных сараях, укрытых в горных долинах, где скот зимовал и кормился.

Под дубами, у коновязи, Форресту не пришлось самому возиться с Фурией. Подбежавший конюх принял ее. Форрест на ходу бросил несколько слов относительно Дадди, выездной лошади, и вскоре его шпоры зазвенели на крыльце дома.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Открыв тяжелую тесовую дверь, обитую железными гвоздями, Форрест вошел в один из флигелей Большого дома. И дверь и помещение за ней, с бетонным полом и многочисленными дверями, напоминали средневековую тюремную башню. Одна из них распахнулась, на пороге показался китаец в белом фартуке и крахмальном колпаке, а за ним следом вырвался глухой гул динамо-машины. Этот гул и отвлек Форреста от его цели. Он остановился и, придерживав дверь, заглянул в освещенную электрическими лампами прохладную бетонированную комнату, где стоял длинный стеклянный холодильник со стеклянными полками, соединенный с машиной для изготовления искусственного льда и с динамо. На полу в засаленном рабочем комбинезоне сидел на корточках весь измазанный грязью человек. Форрест кивнул ему.

— Что-нибудь не ладится, Томсон?

— Не ладилось, — последовал Краткий исчерпывающий ответ.

Форрест закрыл дверь и пошел по длинному, словно туннель, коридору. Узкие окна, похожие на бойницы средневекового замка, пропускали скудный свет. Другая дверь привела его в длинную низкую комнату с бревенчатым потолком; камин был так велик, что в нем можно было бы зажарить целого быка. На рдеющих углях ярко пылал толстый пень. В комнате стояли два бильярда, несколько карточных столов, небольшая стойка с напитками, а по углам — кресла и диваны. Два молодых человека, натиравшие мелом свои кии, ответили на приветствие Форреста.

— С добрым утром, мистер Нэйсмит, — весело обратился Форрест к одному из них. — Набрали еще материал для «Газеты скотовода»?

Нэйсмит, молодой человек лет тридцати, в пенсне, смущенно улыбнулся и, подмигнув, указал на своего товарища.

— Да вот Уэйнрайт вызвал меня...

— Другими словами. Лют и Эрнестина продолжают сладко спать! — засмеялся Форрест.

Уэйнрайт хотел ответить на шутку хозяина, но не успел: тот уже отошел от него, на ходу бросив Нэйсмиту через плечо:

— Хотите ехать со мной в половине двенадцатого? Мы с Тэйером отправляемся в машине смотреть шропширов. Ему нужны бараны, десять вагонов; и для вас, наверно, найдется подходящий материал по части

вывоза скота в штат Айдахо. Захватите фотоаппарат. Вы с Тэйером нынче утром виделись?

— Он шел завтракать, как раз когда мы уходили из столовой, — вмешался Берт Уэйнрайт.

— Если увидите его, скажите, чтобы он был готов к половине двенадцатого. Тебя, Берт, я не приглашаю... из сострадания: к тому времени девицы наверняка встанут.

— Возьми с собой хоть Риту! — жалобно попросил Берт.

— Боюсь, что не смогу, — ответил Форрест уже в дверях, — мы едем по делам. Да и Риту с Эрнестиной, как тебе известно, водой не разольешь.

— Вот мне и хотелось, чтобы это хоть раз случилось, — усмехнулся Берт.

— Удивительно! Братья почему-то никогда не ценят своих сестер, — заметил Форрест. — Мне всегда казалось, что Рита очень славная сестренка. Чем она тебе не угодила?

Не дожидаясь ответа, он закрыл за собой дверь, и звон его шпор донесся из коридора, а затем с витой лестницы. Поднимаясь по ее широким бетонным ступеням, он услышал наверху звуки рояля и, привлеченный ритмом веселого танца и взрывами смеха, заглянул в светлую комнату, всю залитую солнцем. За роялем сидела молодая девушка в розовом кимоно и утреннем чепчике, а две других, тоже в кимоно, исполняли какой-то фантастический танец: его не изучали ни в каких танцклассах, и он отнюдь не предназначался для мужских глаз.

Девушка, сидевшая за роялем, сразу увидела Форреста, подмигнула ему и продолжала играть. Танцующие заметили его лишь через несколько минут. Они взвизгнули, смеясь, упали друг Другу в объятия, и музыка оборвалась. Все трое были сильные, молодые и здоровые, и при виде их в глазах Форреста засветилось такое же удовольствие, какое светилось в них, когда он смотрел на Принцессу Фозрингтонскую.

Начались взаимные насмешки и поддразнивания, как бывает обычно, когда соберется молодежь.

— Я здесь уже пять минут, — уверял их Дик Форрест.

Обе танцовщицы, желая скрыть свое смущение, заявили, что сильно сомневаются в этом, и стали приводить примеры его будто бы общеизвестной лживости. Сидевшая за роялем Эрнестина, сестра его жены, утверждала, наоборот, что уста его, как всегда, глаголют истину, что она видела его с первой же минуты, как он вошел, и что, по ее расчетам, он смотрел на них гораздо дольше, чем пять минут.

— Ну, как бы там ни было, — прервал он их болтовню, — Берт, этот

невинный младенец, даже не подозревает, что вы уже встали.

— Встали, да... но не для него! — заявила одна из танцевавших девушек, похожая на веселую юную Венеру. — И не для вас тоже! А потому убирайтесь-ка отсюда, мой мальчик, марш!

— Послушайте, Лют, — сурово начал Форрест. — Хотя я и дряхлый старец, а вам только что исполнилось восемнадцать лет — ровно восемнадцать — и вы случайно приходите мне свояченицей, но из этого вовсе не следует, что вам можно надо мной куражиться. Не забудьте, и я должен констатировать этот факт, как сие ни прискорбно для вас, исключительно в интересах Риты, — не забудьте, что за истекшие десять лет мне приходилось награждать вас шлепками гораздо чаще, чем вам теперь хочется признать. Правда, я уже не так молод, как был когда-то, но... — он пощупал мышцы на правой руке и сделал вид, что хочет засучить рукава, — но еще не совсем развалина; и если вы меня доведете...

— Что будет, если доведу? — вызывающе подхватила Лют.

— Если вы меня доведете... — пробормотал он угрожающе. — Если... Кстати, я должен, к моему прискорбию, вам заметить, что у вас чепчик набок. Кроме того, он мне кажется вообще не слишком удачным произведением искусства. Я сшил бы вам чепчик гораздо больше к лицу, даже зажмурившись, даже во сне и даже... если бы у меня была морская болезнь.

Лют задорно качнула белокурой головкой, взглянула на подруг, как бы прося поддержки, и заявила:

— Сомневаюсь!.. Неужели вы воображаете, что мы втроем не справимся с одним пожилым, не в меру тучным и дерзким мужчиной? Как вы думаете, девочки? Давайте-ка возьмемся за него все вместе! Ведь ему не меньше сорока лет, у него аневризм сердца, и — хотя не следует выдавать семейных тайн — в довершение всего меньерова болезнь<sup>[1]</sup>.

Эрнестина, маленькая, но крепкая восемнадцатилетняя блондинка, выскочила из-за рояля, и все три девушки совершили набег на стоявший в амбразуре диван; захватив каждая по диванной подушке и отойдя друг от друга так, чтобы можно было хорошенько размахнуться, они двинулись на врага.

Форрест приготовился, затем поднял руку для переговоров.

— Трусишка! — насмешливо закричали они вразнобой и повторили хором: — Трусишка!

Он упрямо покачал головой.

— Вот за это и за прочие ваши дерзости вы все три будете наказаны по заслугам. Сейчас передо мной с ослепительной ясностью встают все

нанесенные мне в жизни обиды. Через минуту я начну действовать. Но сначала. Льют, как сельский хозяин, со всем смирением, на какое я способен, прошу вас: объясните, ради создателя, что это за штука — меньерова болезнь. Овцы могут заразиться ею?

— Меньерова болезнь — это, — начала Льют, — это... как раз то, что у вас. И единственные живые существа, которых постигает меньерова болезнь, — бараны.

Враги бросились друг на друга и вступили в яростную схватку. Форрест сразу атаковал противника излюбленным в Калифорнии футбольным приемом, который применялся еще до распространения регби; но девушки, пропустив его, ринулись на него с флангов и обстреляли подушками. Он тут же обернулся, раскинул руки и, согнув пальцы, словно крючком, зацепил всех трех сразу. Теперь это уже был смерч, в центре которого вертелся человек со шпорами, а вокруг него крутились полы шелковых кимоно, летели во все стороны туфли, чепчики, шпильки. Слышались глухие удары подушек, рычание атакуемого, писк, визг и восклицания девушек, неудержимый хохот и треск рвущихся шелковых тканей.

Наконец Дик Форрест оказался лежащим на полу, полузадушенный и оглушенный ударами подушек; в руке он сжимал растерзанный голубой шелковый пояс, затканый красными розами.

На пороге одной из дверей стояла Рита, ее лицо пылало; она насторожилась, как лань, готовая бежать. В другой — не менее разгоряченная Эрнестина застыла в гордой позе матери Гракхов; она стыдливо завернулась в остатки своего кимоно и целомудренно придерживала его локтем. Спрятавшаяся было за роялем Льют пыталась бежать оттуда, но ей угрожал Форрест. Он стоял на четвереньках, изо всей силы ударял ладонями о паркет и свирепо вертел головой, подражая реву разъяренного быка.

— И люди все еще верят в доисторический миф, будто это жалкое подобие человека, распростертое здесь во прахе, когда-то помогло команде Беркли победить Стэнфорд! — торжественно провозгласила Эрнестина, которая находилась в большей безопасности, чем остальные.

Она тяжело дышала, и Форрест с удовольствием заметил трепет ее груди под легким блестящим вишневым шелком. Когда он взглянул на других, то увидел, что и они выбились из сил.

Рояль, за которым спряталась Льют, был небольшой, ярко-белый, с золотом, в стиле этой светлой комнаты, предназначенной для утренних часов; он стоял на некотором расстоянии от стены, и Льют могла бежать в

обе стороны. Форрест вскочил на ноги и потянулся к ней через широкую плоскую деку инструмента. Он сделал вид, что хочет перепрыгнуть, и Льют воскликнула в ужасе:

— Шпоры, Дик! Ведь на вас шпоры!

— Тогда подождите, я их сниму, — отозвался он.

Только он наклонился, чтобы отстегнуть их, как Льют сделала попытку бежать, но он расставил руки и опять загнал ее за рояль.

— Ну смотрите! — закричал он. — Все падет на вашу голову! Если на крышке рояля будут царапины, я пожалуйюсь Паоле.

— А у меня есть свидетельницы, — задышавшись, крикнула Льют, показывая смеющимися голубыми глазами на подруг, стоявших в дверях.

— Превосходно, милочка! — Форрест отступил назад и вытянул руки. — Сейчас я доберусь до вас.

Он мгновенно выполнил свою угрозу: опершись руками о крышку рояля, боком перекинул через него свое тело, и страшные шпоры пролетели на высоте целого фута над блестящей белой поверхностью. И так же мгновенно Льют нырнула под рояль, намереваясь проползти под ним на четвереньках, но стукнулась головой о его дно и не успела еще опомниться от ушиба, как Форрест оказался уже на той стороне и загнал ее обратно под рояль.

— Вылезайте, вылезайте, нечего! — потребовал он. — И получайте заслуженное возмездие.

— Смилуйтесь, добрый рыцарь, — взмолилась Льют. — Смилуйтесь во имя любви и всех угнетенных прекрасных девушек на свете!

— Я не рыцарь, — заявил Форрест низким басом. — Я людоед, свирепый, неисправимый людоед. Я родился в болоте. Мой отец был людоедом, а мать моя — еще более страшной людоедкой. Я засыпал под вопли пожираемых детей. Я был проклят и обречен. Я питался только кровью девиц из Милльского пансиона. Охотнее всего я ел на деревянном полу, моим любимым кушаньем был бок молодой девицы, кровлей мне служил рояль. Мой отец был не только людоедом, он занимался и конокрадством. А я еще свирепее отца, у меня больше зубов. Помимо людоедства, моя мать была в Неваде агентом по распространению книг и даже подписке на дамские журналы! Подумайте, какой позор! Но я еще хуже моей матери: я торговал безопасными бритвами!

— Неужели ничто не может смягчить и очаровать ваше суровое сердце? — молила Льют, в то же время готовясь при первой возможности к побегу.

— «Только одно, несчастная! Только одно на небе, на земле и в



морской пучине».

"Эрнестина прервала его легким возгласом негодования — ведь это был плагиат.

— Знаю, знаю, — продолжал Форрест. — Смотри Эрнст Досон, страница двадцать седьмая, жиденская книжонка с жиденскими стихотворениями для девиц, заключенных в Милльский пансион. Итак, я возвестил, до того как меня прервали: единственное, что способно смягчить и успокоить мое лютое сердце, — это «Молитва девы». Слушайте, несчастные, пока я не отгрыз ваши уши порознь и оптом! Слушайте и вы, глупая, толстая, коротконогая и безобразная женщина — вы там, под роялем! Можете вы исполнить «Молитву девы»?

Ответа не последовало. В это время из обеих дверей раздались восторженные вопли, и Льют крикнула из-под рояля входившему Берту Уэйнрайту:

— На помощь, рыцарь, на помощь!

— Отпусти деву сию! — приказал Берт.

— А ты кто? — спросил Форрест.

— Я король Джордж, то, есть святой Георгий.

— Ну что ж! В таком случае я твой дракон, — с должным смирением признал Форрест. — Но прошу тебя, пощади эту древнюю, достойную и несравненную голову, ибо другой у меня нет.

— Отрубите ему голову! — скомандовали его три врага.

— Подождите, о девы, молю вас! — продолжал Берт. — Хоть я и ничтожество, но мне страх неведом. Я схвачу дракона за бороду и удушю его же бородой, а пока он будет медленно издыхать, проклиная мою жестокость и беспощадность, вы, прекрасные девы, бегите в горы, чтобы долины не поднялись на вас. Иоло, Петалуме и Западному Сакраменто грозят океанские волны и огромные рыбы.

— Отрубите ему голову! — кричали девушки. — А потом надо его заколоть и зажарить целиком.

— Они не знают пощады. Горе мне! — простонал Форрест. — Я погиб! Вот они, христианские чувства молодых девиц тысяча девятьсот четырнадцатого года! А ведь они в один прекрасный день будут участвовать в голосовании, если еще подрастут и не повыскачат замуж за иностранцев! Бери, святой Георгий, мою голову! Моя песенка спета! Я умираю и останусь навсегда неведом потомству!

Тут Форрест, громко стеная и всхлипывая, лег на пол, начал весьма натурально корчиться и брыкаться, отчаянно звеня шпорами, и наконец

испустил дух.

Льют вылезла из-под рояля и исполнила вместе с Ритой и Эрнестиной импровизированный танец — это фурии плясали над телом убитого.

Но мертвец вдруг вскочил. Он сделал Льют тайный знак и крикнул:

— А герой-то! Героя забыли! Увенчайте его цветами! И Берт был увенчан полуувядшими ранними тюльпанами, которые со вчерашнего дня стояли в вазах. Но когда сильной рукой Льют пучок намокших стеблей был засунут ему за ворот, Берт бежал. Шум погони гулко разнесся по холлу и стал удаляться вниз по лестнице, в сторону бильярдной. А Форрест поднялся, привел себя, насколько мог, в порядок и, улыбаясь и позванивая шпорами, продолжал свой путь по Большому дому.

Он прошел по двум вымощенным кирпичом и крытым испанской черепицей дворикам, которые утопали в ранней зелени цветущих кустарников, и, все еще тяжело дыша от веселой возни, вернулся в свой флигель, где его поджидал секретарь.

— С добрым утром, мистер Блэйк, — приветствовал его Форрест. — Простите, что опоздал. — Он взглянул на свои часы-браслет. — Впрочем, только на четыре минуты. Вырваться раньше я не мог.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

С девяти до десяти Форрест и его секретарь занимались перепиской со всякими учеными обществами, питомниками и сельскохозяйственными организациями.

У рядового дельца, работающего без секретаря, это отняло бы весь день. Но Дик Форрест поставил себя в центре некоей созданной им системы, которой он втайне очень гордился. Важные письма и бумаги он подписывал собственноручно; на всем остальном мистер Блэйк ставил его штамп. В течение часа секретарь стенографировал подробные ответы на одни письма и готовые формулировки ответов на другие. Мистер Блэйк считал в душе, что он работает гораздо больше своего хозяина и что последний просто феномен по части откапывания работы для своих служащих.

Ровно в десять вошел Питтмен — консультант по выставочному скоту, и Блэйк удалился в свою контору, унося лотки с письмами, пачки бумаг и валики от диктофонов.

С десяти до одиннадцати непрерывно входили и выходили управляющие и экононы. Все они были вышколены, умели говорить кратко и экономить время. Дик Форрест приучил их к тому, что когда они являются с докладом или предложением — колебаться и размышлять уже поздно: надо думать раньше. В десять часов Бланка сменял помощник секретаря Бонбrait, садился рядом с хозяином, и его неутомимый карандаш, летая по бумаге, записывал быстрые, как беглый огонь, вопросы и ответы, отчеты, планы и предложения. Эти стенографические записи, которые потом расшифровывались и переписывались на машинке в двух экземплярах, были прямо кошмаром для управляющих и экономов, а иногда играли и роль Немезиды. Форрест и сам обладал удивительной памятью, однако он любил доказывать это, ссылаясь на записи Бонбрайта.

Нередко после пяти — или десятиминутного разговора с хозяином служащий выходил от него весь в поту, вымотанный, разбитый, словно пропущенный через мясорубку. В этот короткий, но чрезвычайно напряженный час Форрест брался за каждого по-хозяйски, вникая во все детали его особой, сложной области. Так, Томпсону, механику, он за четыре быстролетных минуты указал, почему динамо при холодильнике Большого дома работает неправильно, подчеркнув, что виноват сам Томпсон; заставил Бонбрайта записать страницу и главу той книги из библиотеки,

которую должен был по этому случаю прочесть Томпсон; сообщил ему, что Паркмен, управляющий молочной фермой, недоволен работой доильных машин и что холодильник на бойне работает с перебоями.

Каждый из его служащих был в своей области специалистом, но Форрест, по общему признанию, знал все. Так, Полсон — агроном, ответственный за пахоту, жаловался Досону — агроному, ответственному за уборку урожая:

— Я служу здесь двенадцать лет и не замечал, чтобы Форрест когда-нибудь прикоснулся к плугу, а вместе с тем он, черт бы его побрал, на этом деле собаку съел! Знаете, он просто гений! Вот такой случай: он был занят чем-то другим и притом ему надо было следить, чтобы Фурия не выкинула какое-нибудь опасное коленце, а на следующий день он в разговоре заметил, будто мимоходом, что поле, мимо которого он проезжал, вспахано на глубину стольких-то дюймов — и притом с точностью до полдюйма — и что пахали его плугом такой-то системы... А возьмите запашку Поппи Мэдоу — знаете, над Литтл Мэдоу, на Лос-Кватос... Я просто не знал, что с ней делать, — мне пришлось вывернуть и подзол. Ну, думаю, как-нибудь сойдет! Когда все было кончено, он проехал мимо. Я глаз с него не спускал, а он даже как будто и не взглянул на поле, но на следующее утро я получил в конторе такой нагоняй!.. Нет, мне не удалось провести его. С тех пор я никогда и не пытаюсь...

Ровно в одиннадцать Уордмен, ученый овцевод, ушел от Форреста, получив приказание отправиться к половине двенадцатого в машине вместе с Тэйером, покупателем из Айдахо, смотреть шропширских овец; удалился и Бонбrait, чтобы разобраться в сделанных сегодня заметках. Форрест наконец остался один. Из проволочного лотка, где хранились неоконченные дела, — таких лотков было множество, и они были поставлены один на другой по пять штук, — он извлек изданную в штате Айова брошюру о свиной холере и стал ее просматривать.

В свои сорок лет Форрест выглядел весьма внушительно. Высокий рост, большие серые глаза, темные ресницы и брови, прямой, не очень высокий лоб, светло-каштановые волосы, слегка выступающие скулы и под ними обычные для такого строения черепа легкие впадины; челюсти крепкие, но не массивные, тонкие ноздри, нос прямой, не слишком крупный, подбородок не раздвоенный, крутой, но без тяжести; губы почти женственные и мягко очерченные, но чувствуется, что они могут принимать очень твердое выражение. Кожа на лице гладкая, покрытая загаром, и только над бровями — там, куда падала тень широкополой шляпы, — лоб оставался белым.

В уголках рта и глаз таился смех, и самые морщинки вокруг губ казались следом только что исчезнувшей улыбки. Вместе с тем каждая черта в лице этого человека говорила о спокойной силе и уверенности. Да, Дик Форрест был уверен в себе: уверен, что когда он протянет руку к столу за нужной вещью, то безошибочно и мгновенно найдет эту вещь — ни на дюйм правее или левее, а именно там, где ей быть надлежит; уверен, пробегая брошюру о свиной холере, что его ясный и внимательный ум не пропустит ничего существенного; уверен в своем сильном теле, когда, сидя перед письменным столом на вращающемся кресле, он откидывался на его крепкую спинку; уверен в своем сердце и уме, в своей жизни и работе, в самом себе и во всем, что ему принадлежит.

И он имел право на такую уверенность: его тело, мозг и жизненный путь выдержали немало испытаний. Сын богатых родителей, он никогда не мотал отцовских денег. Рожденный и воспитанный в городе, он вернулся к земле и так преуспел, что где бы скотоводы ни встретились, они непременно упоминали его имя. Огромное имение его было свободно от долгов и закладных. Он был владельцем двухсот пятидесяти тысяч акров земли стоимостью от тысячи до ста долларов за акр и от ста долларов до десяти центов, причем была даже такая земля, которая не стоила и пенни. Местное сельское население и не представляло себе, какие суммы он затрачивал на обработку и улучшение этих угодий, на осушку лугов и болот, прокладывание дорог и оросительных каналов, возведение построек и содержание Большого дома.

В его хозяйстве все до последней мелочи было поставлено на широкую ногу и вместе с тем вполне отвечало последнему слову науки. Его управляющие пользовались бесплатными квартирами в домах, стоивших от пяти до десяти тысяч долларов, а жалованье они получали в зависимости от своих качеств; это были лучшие специалисты, собранные со всего материка, от Атлантического до Тихого океана. Если ему нужны были бензиновые тракторы для вспашки низменностей, он покупал сразу большую партию. А если он запруживал воду в горах, то строил огромные плотины, создавал целые озера вместимостью чуть не в миллиард галлонов воды. Если Дик осушал болота, то, вместо того чтобы поручать это специальным предприятиям, он сам выписывал мощные землечерпалки; когда же в его имении не было такой работы, он брал подряды на осушение болотистых земель у соседних крупных фермеров и заключал договоры с земельными компаниями и корпорациями за сотни миль от Большого дома, вверх и вниз по реке Сакраменто.

Он был достаточно умен и понимал, что без чужого ума не

обойдешься и что, покупая эти чужие умы, приходится платить самым способным значительно больше обычной рыночной цены, — достаточно умен, чтобы направлять эти купленные им умы на служение его интересам.

И вот ему стукнуло сорок лет; его взгляд был ясен, сердце билось ровно, он чувствовал себя здоровым и в расцвете сил. Однако до тридцати он вел жизнь беспорядочную и сумасбродную. Тринадцати лет он убежал из дома, оставленного ему отцом-миллионером; окончил университет, когда ему еще не было двадцати одного года, а затем решил изведать соблазны всех сказочных гаваней и сказочных морей. С трезвой головой и пылающим сердцем шел он, смеясь, на любой риск, только бы получить желанное, и окунулся в тот бурный мир приключений, который буквально у него на глазах все же вынужден был покориться закону и порядку.

В былые дни имя отца Форреста имело в Сан-Франциско магическую силу. Дом Форрестов на Ноб-Хилле, где жили такие люди, как Флуды, Маккейи, Крокеры и О'Брайены, был одним из первых воздвигнутых здесь дворцов. Ричард Форрест, прозванный «Счастливым», отец Дика, прибыл сюда из Новой Англии через Панамский перешеек в поисках почвы для смелых торговых предприятий; перед отъездом он интересовался быстроходными судами и строительством быстроходных судов, в Калифорнии же стал интересоваться земельными участками в районе порта и речными пароходами, потом, конечно, рудниками, а позднее — осушкой Комстока в Неваде и постройкой Южно-Тихоокеанской железной дороги.

Он делал только крупные ставки — крупно проигрывал и крупно выигрывал; но выигрывал он всегда больше, чем проигрывал, — ибо то, что он терял в одной игре, в другой возвращалось ему сторицей. Деньги, нажитые им на осушке Комстока, были спущены целиком в бездонные Даффодилские рудники в округе Эльдorado. Все, что ему удалось спасти от краха на Бениша-Лайн, он вложил в ртутные месторождения «Напа Консолидейтед», которые принесли ему пять тысяч процентов прибыли. А потерянное в стоктонском буме он вернул с лихвой, скупив земельные участки в Сакраменто и Окленде.

И когда в довершение всех авантур «Счастливым»

Форрест потерял после целого ряда неудач все свое состояние и дело дошло до того, что в Сан-Франциско уже обсуждали, за какую цену дворец на Ноб-Хилле пойдет с молотка, он снабдил некоего Дела Нелсона всем необходимым для экспедиции в Мексику. О результатах этой экспедиции, даже по трезвым данным истории, известно, что Дел Нелсон открыл такие богатейшие месторождения золота, как «Группа Харвест» с неистощимыми рудниками Тэттлснейк, Войс, Сити, Дездемона, Буллфрэг и Йеллоу-Бой.

Ошарашенный этим успехом, Дел Нелсон спился в один год, поглотив целое море дешевого виски; и так как наследства никто не оспаривал, ибо он был совершенно одинок, то его долю в предприятии получил «Счастливчик» — Ричард Форрест.

Дик Форрест был истинный сын своего отца — «Счастливчика» Ричарда, человека неутомимой энергии и предприимчивости. Хотя отец был дважды женат и дважды овдовел, бог не благословил его потомством. В третий раз Ричард женился в 1872 году, когда ему было уже пятьдесят восемь лет, а в 1874 году родился мальчик — здоровяк и крикун, двенадцати фунтов весом, — правда, он стоил жизни своей матери. Новорожденный поступил на попечение десятка кормилиц и нянек, водворившихся во дворце на Ноб-Хилле.

Маленький Дик развился рано. «Счастливчик» Ричард был демократом. Мальчику взяли учителя, и он за год выучился всему тому, на что в школе потратил бы три года, а освободившееся таким образом время посвящал играм на открытом воздухе. Способности Дика и демократизм его отца были причиной того, что старик отдал сына в последний класс обычной народной школы: пусть мальчик потрется там среди детей рабочих и торговцев, доморощенных политиков и трактирщиков.

В школе он был просто учеником среди прочих учеников, и все миллионы отца не могли изменить того факта, что не он, а сын подносчика кирпича Пэтси Хэллорэна показал себя вундеркиндом в математике, а Мона Сангвинетти, мать которой содержала зеленую, была рекордсменкой по части правописания. Не помогли ему также ни отцовские миллионы, ни дворец на Ноб-Хилле, когда он, сбросив куртку, голыми кулаками, без всяких раундов и правил, дрался из последних сил то с Джимми Батсом, то с Джаном Шоияским и другими мальчиками, представителями того мужественного и крепкого поколения, которое могло вырасти только в Сан-Франциско в период его бурной и воинственной, мощной и здоровой юности, — того поколения, из которого вышло затем столько боксеров, рассеявшихся по свету в поисках славы и денег.

Самым умным, что «Счастливчик» Форрест мог сделать для сына, было дать ему эту демократическую закваску. В глубине души Дик никогда не забывал того, что он живет во дворце с десятками слуг и что отец его — могущественный и влиятельный миллионер, но вместе с тем он научился уважать демократию и людей, которые должны рассчитывать только на самих себя и на свои руки. Он научился этому тогда, когда на классном состязании по орфографии победила Мона Сангвинетти, а Берни Миллер обогнал его на состязаниях в беге.

И когда Тим Хэгэн в сотый раз разбил ему нос и губам и после ряда ударов под ложечку повалил его, ослепленного, задыхающегося, и Дик сопел и не мог пошевелить распухшими губами, то никакие дворцы и чековые книжки не могли ему помочь. Он сам, своими кулаками, должен был отстоять себя. Именно тут, весь в поту и в крови. Дик научился упорной борьбе и умению не сдаваться, даже когда битва проиграна. Удары, которые ему наносил Тим, были ужасны, но Дик выдержал. Он крепился до тех пор, пока они не решили, что одному другого не побороть. Но к этому решению они пришли, только когда оба в изнеможении лежали на земле, всхлипывая от боли и тошноты, от бешенства и упрямства. После этого они подружились и вместе верховодили на школьном дворе.

«Счастливчик» Ричард Форрест умер в том же месяце, в каком Дик окончил школу. Дику исполнилось тринадцать лет; у него было двадцать миллионов и ни одного родственника, который бы мог вмешиваться в его жизнь. У него были, кроме того, дворцы, толпа слуг, паровая яхта, конюшни и летняя вилла у моря, на южном конце полуострова, в Мэнло, колонии набобов. Один только стеснительный придаток ко всему этому получил он, — и это были его опекуны.

И вот в летний день в большой библиотеке Дик присутствовал на их первом совещании. Их было трое, все пожилые, богатые, юристы и дельцы; все — бывшие компаньоны его отца. Когда они изложили Дику положение дел, он почувствовал, что, несмотря на их самые благие намерения, у него нет с ними решительно ни одной точки соприкосновения. Ведь их юность была уже так далека от них. Кроме того, ему стало совершенно ясно, что именно его, вот этого мальчика, судьбой которого они так озабочены, эти пожилые мужчины совершенно не понимают. Поэтому Дик с присущей ему категоричностью решил, что только он один в целом мире знает, что для него самое лучшее.

Мистер Крокетт произнес длинную речь, и Дик выслушал ее с подобающим и настороженным вниманием, кивая головой всякий раз, когда говоривший обращался прямо к нему. Мистер Дэвидсон и мистер Слокум также высказали свои соображения, и он отнесся к ним не менее почтительно. Между прочим. Дик узнал из их слов, какой прекрасный и благородный человек был его отец, а также, какую программу выработали его опекуны, чтобы сделать из него столь же прекрасного и благородного человека.

Когда они кончили свои объяснения, слово взял Дик.

— Я все обдумал, — заявил он, — и прежде всего — я отправлюсь путешествовать.



— Путешествия — это потом, мой мальчик, — мягко пояснил мистер Слокум. — Когда... ну... когда вы приготовитесь в университет... вам будет очень полезно — да, да, чрезвычайно полезно... провести годик за границей.

— Разумеется, — торопливо вмешался мистер Дэвидсон, заметив, что в глазах мальчика вспыхнуло недовольство и он с бессознательным упорством сжал губы, — разумеется, можно будет и до этого совершать небольшие поездки, например, во время каникул... Мои коллеги, наверное, согласятся, что подобные поездки — разумеется, при соответствующем руководстве и должном надзоре, — что такие поездки во время каникул могут быть поучительны и даже желательны.

— А сколько, вы сказали, у меня денег? — спросил Дик ни с того ни с сего.

— Двадцать миллионов по самому скромному подсчету... да, примерно эта сумма, — не задумываясь, ответил мистер Крокетт.

— А если я скажу вам, что мне сейчас нужно сто долларов? — продолжал Дик.

— Но... это... гм... — и мистер Слокум вопросительно посмотрел на своих коллег.

— Мы были бы поставлены в необходимость спросить вас, на что вам нужны эти деньги, — ответил мистер Крокетт.

— А что, если я... — очень медленно проговорил Дик, глядя в упор на мистера Крокетта, — если я отвечу вам, что очень сожалею, но объяснять, зачем они мне нужны, не хочу?

— В таком случае вы бы их не получили, — ответил мистер Крокетт весьма решительно, и в его ответе послышалось даже некоторое раздражение и досада.

Дик задумчиво кивнул головой, как бы стараясь запомнить этот ответ.

— Ну, конечно, мой друг, — поспешно вмешался мистер Слокум, — вы же слишком молоды, чтобы распоряжаться своими деньгами, сами понимаете. И пока мы призваны это делать вместо вас.

— Значит, я без вашего разрешения не могу взять ни одного пенни?

— Ни одного! — отрезал мистер Крокетт.

Дик снова задумчиво покачал головой и пробормотал:

— О да, понимаю...

— Конечно, вполне естественно и даже справедливо, чтобы вы получали небольшие карманные деньги на ваши личные траты, — добавил мистер Дэвидсон. — Ну, скажем, доллар или два доллара в неделю. По мере того как вы будете становиться старше, эту сумму можно будет

увеличивать. А когда вам минет двадцать один год, вы, без сомнения, окажетесь в состоянии управлять своими делами самостоятельно; разумеется, и мы вам поможем советами...

— И хотя у меня двадцать миллионов, я до двадцати одного года не смогу взять даже сто долларов и истратить их как мне хочется? — спросил Дик очень смиренно.

Мистер Дэвидсон решил было ответить утвердительно, но подбирал выражения помягче; однако Дик заговорил снова:

— Насколько я понимаю, мне можно тратить деньги только после вашего общего решения?

Опекуны закивали.

— И все то, на чем мы согласимся, будет иметь силу? И опять опекуны кивнули.

— Ну вот, я хотел бы сейчас же получить сто долларов, — заявил Дик.

— А для чего? — осведомился мистер Крокетт.

— Пожалуй, я скажу вам, — ответил мальчик спокойно и серьезно. — Я отправлюсь путешествовать.

— Сегодня вы отправитесь в постель ровно в восемь тридцать, и больше никуда, — резко отчеканил мистер

Крокетт. — Никаких ста долларов вы не получите. Дама, о которой мы вам говорили, придет сюда к шести часам. Вы будете ежедневно и ежечасно состоять на ее попечении. В шесть тридцать вы, как обычно, сядете с нею за стол, а потом она позаботится о том, чтобы вы легли в надлежащее время. Мы уже говорили вам, что она должна заменить вам мать и смотреть за вами... Ну... чтобы вы мыли шею и уши...

— И чтобы я по субботам брал ванну, — с глубочайшей кротостью закончил Дик.

— Вот именно.

— Сколько же вы... то есть я буду платить этой даме за ее услуги? — продолжал расспрашивать Дик с той раздражающей непоследовательностью, которая уже входила у него в привычку и выводила из себя учителей и товарищей.

Впервые мистер Крокетт ответил не сразу и сначала откашлялся.

— Ведь это же я плачу ей, не правда ли? — настаивал Дик. — Из моих двадцати миллионов? Верно?

«Вылитый отец», — заметил про себя мистер Слокум.

— Миссис Соммерстон — «эта дама», как вам угодно было выразиться, — будет получать полтора ста долларов в месяц, что составит в год ровно тысячу восемьсот долларов, — пояснил мистер Крокетт.

— Выброшенные деньги, — заявил со вздохом Дик. — Да еще считайте стол и квартиру!

Дик поднялся — тринадцатилетний аристократ не по рождению, но потому, что он вырос во дворце на Ноб-Хилле, — и стоял перед опекунами так гордо, что все трое тоже невольно поднялись со своих кожаных кресел. Но он стоял перед ними не так, как стоял, быть может, некогда маленький лорд Фаунтлерой<sup>[2]</sup>, ибо в Дике жили две стихии. Он знал, что человеческая жизнь многолика и многогранна: недаром Мона Сангвинетти оказалась сильнее его в орфографии и недаром он дрался с Тимом Хэгэном, а потом дружил с ним, деля власть над товарищами.

Он был сыном человека, пережившего золотую лихорадку сорок девятого года. Дома он рос аристократом, а школа воспитала в нем демократа. И его преждевременно развившийся, но еще незрелый ум уже улавливал разницу между привилегированными сословиями и народными массами. Помимо того, в нем жили твердая воля и спокойная уверенность в себе, совершенно непонятная тем трем пожилым джентльменам, в руки которых была отдана его судьба и которые взяли на себя обязанность приумножать его миллионы и сделать из него человека сообразно их собственному идеалу.

— Благодарю вас за вашу любезность, — обратился Дик ко всем трем. — Надеюсь, мы поладим. Конечно, эти двадцать миллионов принадлежат мне, и, конечно, вы должны сохранить их для меня, ведь я в делах ничего не смыслю...

— И поверьте, мой мальчик, что мы ваши миллионы приумножим, бесспорно приумножим, и притом самыми безопасными и испытанными способами, — заявил мистер Слокум.

— Только, пожалуйста, без спекуляций, — предупредил их Дик. — Папе везло, но я часто слышал от него, что теперь другие времена и уже нельзя рисковать так, как прежде рисковали все.

На основании всего этого можно было, пожалуй, решить, что у Дика мелочная и корыстная душонка. Нет! Именно в эти минуты он меньше всего думал о своих двадцати миллионах. Его занимали мечты и планы, столь далекие от всякой корысти и стяжательства, что они скорее роднили его с любым пьяным матросом, который расшвыривает на берегу свое жалованье, заработанное за три года.

— Правда, я только мальчик, — продолжал Дик, — но вы меня еще не очень хорошо знаете. Со временем мы познакомимся ближе, а пока — еще раз спасибо...

Он смолк и отвесил легкий поклон, полный достоинства: к таким

поклонам привыкают очень рано все лорды во всех дворцах на Ноб-Хилле. Его молчание говорило о том, что аудиенция кончена. Опекуны это поняли, и они, товарищи его отца, с которыми тот вел крупнейшие дела, удалились сконфуженные и озадаченные.

Спускаясь по широкой каменной лестнице к ожидавшему их экипажу, мистер Дэвидсон и Слокум были готовы дать волю своему гневу, но Крокетт, только что возражавший мальчику так сердито и резко, пробормотал с восхищением:

— Ах, стервец! Ну и стервец!

Экипаж отвез их в старый Тихоокеанский клуб, где они еще с час озабоченно обсуждали будущность Дика Форреста и жаловались на ту трудную задачу, которую на них взвалил «Счастливчик» Ричард Форрест.

А в это время Дик торопливо спускался с горы по слишком крутым для лошадей и экипажей, заросшим травой мощеным улицам. Едва он оставил за собой живописные холмы, виллы и пышные сады миллионеров и спустился вниз, как тут же попал в узкие улочки с деревянными лачугами, где жил рабочий люд. В 1887 году Сан-Франциско еще представлял собой такую же беспорядочную смесь дворцов и трущоб, как и любой старый европейский город; и Ноб-Хилл, подобно средневековому замку, вырастал из нищеты и грязи обыденной жизни, которая ютилась у его подножия.

Дик наконец остановился на углу, возле бакалейной лавки, над которой жил Тимоти Хэгэн-старший; Тимоти мог позволить себе эту роскошь — жить над головой своих сограждан, содержавших семью на сорок — пятьдесят долларов в месяц, так как служил в полиции и получал сто.

Но тщетно Дик свистел под открытыми, не защищенными от солнца окнами: Тима Хэгэна-младшего не было дома. Наконец Дик смолк и принялся перебирать в уме все те места неподалеку, где мог находиться его приятель; но в это время тот и сам появился из-за угла, бережно неся жестянку из-под лярда, полную пенящегося пива. Он пробурчал какое-то приветствие, и Дик также грубо буркнул ему что-то в ответ, точно всего час назад не он так смело и надменно отпустил трех некоронованных королей огромного города. Он говорил, как обычный мальчишка, и ничто в его тоне не показывало, что он — будущий владелец двадцати миллионов, а со временем и большего богатства.

— Я не видел тебя после смерти твоего старика, — заметил, поравнявшись с ним, Тим Хэгэн.

— Зато видишь теперь. Верно? — отозвался Дик. — Знаешь, Тим, я к тебе по делу.

— Ладно, подожди, сначала отдам пиво моему старику, — сказал Тим,

следуя опытным глазом за вздымающейся у краев жестянки пеной. — Раскритичится, если подашь без пены.

— А ты встряхни жестянку, вот и будет пена, — посоветовал Дик. — Мне только на минутку. Дело в том, что я нынче ночью удираю. Хочешь со мной?

Голубые ирландские глазки Тима загорелись любопытством.

— А куда? — спросил он.

— Не знаю. Так хочешь? Если да, можно будет обсудить потом, когда будем уже в пути. Ты знаешь все лучше меня. Ну как? Согласен?

— Старик-то с меня шкуру спустит, — пробормотал Тим.

— Да ведь он колотил тебя и раньше, а твоя шкура, кажется, еще цела, — последовал бессердечный ответ. — Только скажи «да», и мы встретимся сегодня вечером в девять часов у перевоза. Ну как? Идет? Словом, в девять я там буду.

— А если я не явлюсь? — спросил Тим.

— Все равно, уеду один. — И Дик отвернулся, делая вид, что собирается уходить; потом приостановился и бросил небрежно: — Лучше, если бы вместе...

Тим встряхнул жестянку с пивом и отвечал так же небрежно:

— Да уж ладно. Приду.

Расставшись с Тимом, Дик принялся разыскивать некоего Марковича, словенца, тоже бывшего школьного товарища; его отец содержал дешевый ресторан, где можно было за двадцать центов получить очень приличный обед. Молодой Маркович взял как-то у Дика в долг два доллара, но Дик поладил с ним на одном долларе сорока центах, остальную же часть долга простил Марковичу.

Затем Дик не без робости и волнения прошелся по Монтгомери-стрит, мимо украшавших эту оживленную улицу многочисленных ломбардов и ссудных касс. С отчаянной решимостью он наконец выбрал одну из них и обменял там на восемь долларов и квитанцию часы, стоившие, как он знал, по меньшей мере пятьдесят.

Обед во дворце на Ноб-Хилле подавался в половине седьмого. Дик явился домой без четверти семь и сразу налетел на миссис Соммерстон. Это была полная пожилая дама, из некогда знаменитой, а теперь обедневшей семьи Портер-Рингтон, финансовый крах которой потряс в семидесятых годах все Тихоокеанское побережье. Несмотря на свой полноту, она страдала, по ее словам, «расстройством нервов».

— Нет, нет, это невозможно, Ричард, — возмущенно изрекла она. — Обед ждет уже целых четверть часа, а вы еще не вымыли лицо и руки.

— Простите, миссис Соммерстон, — извинился Дик. — Я больше никогда не буду опаздывать. Да и вообще не причиню вам впредь никакого беспокойства.

Они обедали вдвоем в огромной столовой, и Дик старался занимать свою воспитательницу, ибо, хотя он и платил ей жалованье, она все-таки была для него гостьей.

— Когда вы устроитесь, вам будет здесь очень хорошо. Это уютный старый дом, да и слуги живут здесь уже много лет.

— Но, Ричард, — возразила она с улыбкой, — ведь не от слуг зависит то, как я буду чувствовать себя здесь, а от вас.

— Я сделаю все, что могу, — любезно ответил он, — и даже сверх того. Я очень сожалею, что сегодня опоздал. Пройдут многие-многие годы, и я ни разу не опоздаю. Я решил совсем не беспокоить вас. Вот увидите. Будет так, словно меня и нет в доме.

Затем он пожелал ей спокойной ночи и, уходя, прибавил, как бы что-то вспомнив:

— Насчет одного я должен вас предупредить: это касается повара, его зовут О-Чай. Он у нас в доме очень давно, я даже не помню, сколько лет, — может быть, двадцать пять, а то и тридцать; он готовил отцу, когда меня еще не было на свете и когда не было этого дома. Он у нас на особом положении и так привык все делать по-своему, что вам придется с ним обращаться довольно осторожно. Но если он вас полюбит, то себя не пожалеет, чтобы вам угодить. Меня он очень любит. Сделайте так, чтобы он и вас полюбил, и вам будет здесь очень хорошо. А я, право же, не причиню вам больше никакого беспокойства. Я сделаю так, будто меня нет в доме.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

В девять часов, минута в минуту. Дик, одетый в свое самое старое платье, встретился с Тимом Хэгэном у перевоза.

— На север идти не стоит, — сказал Тим, — Скоро зима, и спать будет холодно. Хочешь, пойдем на восток, в сторону Невады и пустыни?

— А еще куда можно? — спросил Дик. — Что, если мы выберем юг и пойдем на Лос-Анджелес, Аризону, Новую Мексику и Техас? — предложил он.

— Сколько ты раздобыл денег? — спросил Тим.

— А тебе зачем? — возразил Дик.

— Важно уйти из этих мест как можно скорее, а чтобы двигаться быстро, надо платить. Мне-то наплевать. Вот ты — другое дело. Твои опекуны сейчас же поднимут шум, наймут ораву сыщиков; а те как пойдут по следу — не отвяжешься. Надо скорее смыться.

— Ну что ж, раз иначе нельзя... — отозвался Дик. — Несколько дней мы будем петлять, путать их, скрываться и за все платить, пока не доберемся до Трэйси. А потом платить перестанем и повернем на юг.

Вся эта программа была ими выполнена в точности. Трэйси они проехали в качестве платных пассажиров; через шесть часов после того, как местный шериф перестал обыскивать поезда. Дик из осторожности заплатил еще до станции Модесто, а там платить перестал, и, следуя советам Тима, мальчики продолжали путь «зайцами» в багажных и товарных вагонах, а также на тендерах. Дик покупал газеты и пугал Тима, читая ему трагические описания того, как был похищен юный наследник форрестовских миллионов.

В Сан-Франциско опекуны дали объявление, что нашедшему и доставившему домой их подопечного будет выплачена премия в тридцать тысяч долларов. Тим Хэгэн, читавший эти сообщения, когда мальчики отдыхали на траве у какой-нибудь водокачки, навсегда внушил своему товарищу ту мысль, что честность и честь не являются достоянием какой-нибудь отдельной касты и могут обитать не только во дворце на вершине горы, но и в убогой квартирке над бакалейной лавкой.

— Ах черт! — обратился Тим не столько к Дику, сколько к лежавшему перед ними ландшафту. — Мой старик не стал бы шуметь оттого, что я удрал, если бы я выдал тебя за тридцать тысяч! Даже подумать страшно!

Раз Тим так открыто об этом заговорил, значит, с этой стороны Дику опасаться нечего, — сын полисмена не донесет на него.

Только шесть недель спустя, уже в Аризоне, Дик опять коснулся этого вопроса.

— Понимаешь ли, Тим, — сказал Дик, — я получил кучу денег, и мой капитал все время растет, а я из него не трачу ни одного цента, как ты видишь сам... хотя миссис Соммерстон и выжимает из меня тысячу восемьсот долларов в год, да кроме того, — стол, квартиру и экипаж, а мы с тобой живем, как бродяги, и рады подобрать за каким-нибудь кочегаром его объедки. И все-таки мой капитал растет! Сколько это выходит — десять процентов с двадцати миллионов долларов? Сосчитай!

Тим Хэгэн уставился на струи горячего воздуха, волновавшиеся над пустыней, и попытался решить предложенную ему задачу.

— Ну, сколько будет одна десятая от двадцати миллионов? — нетерпеливо спросил Дик.

— Сколько? Два миллиона, конечно.

— А пять процентов — половина десяти. Сколько же это составит в год, если считать двадцать миллионов из пяти процентов?

Тим нерешительно молчал.

— Да половину, половину двух миллионов! — крикнул Дик. — Значит, я каждый год становлюсь на один миллион богаче. Запомни это и слушай дальше. Когда я соглашусь вернуться домой, — а это будет только через много-много лет, мы с тобой решим когда, — я тебе скажу, и ты напишешь отцу. Он нагрянет в условленное место, заберет меня и доставит куда следует. А потом получит от опекунов обещанные тридцать тысяч, бросит службу в полиции и откроет пивную.

— Тридцать тысяч, это знаешь, сколько денег? — небрежно проговорил Тим, выразив таким образом свою благодарность.

— Только не для меня, — заявил Дик, стараясь умалить свою щедрость. — Тридцать тысяч в миллионе содержится тридцать три раза, а мои деньги за один год приносят миллион.

Однако Тиму не суждено было дожить до тех времен и увидеть, как его отец станет владельцем пивной. Два дня спустя после этого разговора не в меру ретивый кондуктор выставил мальчиков из пустого товарного вагона, когда поезд стоял на мосту, перекинутом через высохший каменистый овраг. Дик взглянул вниз: дно оврага лежало на глубине семидесяти футов, — и он невольно содрогнулся.

— Место здесь есть, — сказал он, — но что, если поезд тронется?

— Не тронется. Удирайте, пока можно, — настаивал кондуктор. —



Паровоз на той стороне набирает воду. Он тут всегда набирает.

Но именно в этот раз паровоз не стал брать воду. Следствие потом выяснило, что воды в водокачке не оказалось и машинист решил ехать дальше. Едва мальчики успели соскочить наземь из боковой двери вагона и пройти несколько шагов по узкому пространству между рельсами и обрывом, как поезд начал двигаться. Дик, всегда быстро соображавший и действовавший, стал на четвереньки. Это дало ему возможность крепче уцепиться за мост и удержаться, ибо выступавшие части вагона проходили над его головой, не задевая его.

Но Тим, соображавший гораздо медленнее и еще ослепленный чисто кельтским бешенством, вместо того чтобы лечь на мост, продолжал стоять и крайне образно, в духе своих родичей, выражаться по адресу кондуктора.

— Ложись! Скорее! — крикнул ему Дик.

Но Тим уже пропустил удобную минуту: поезд шел под уклон и быстро ускорял ход. Стоя лицом к бегущим вагонам и чувствуя, что за спиной у него нет опоры, а под ногами — пропасть, Тим наконец решил последовать примеру Дика. Но едва он повернулся, как ударился плечом о бегущие вагоны и чуть не потерял равновесие. Каким-то чудом он все же удержался и продолжал стоять. Поезд шел все быстрее. Лечь было уже нельзя.

Дик следил за всем этим, но не мог двинуться. Поезд набирал скорость. Однако Тим не терял присутствия духа: стоя спиной к пропасти, а лицом к бегущим вагонам и упираясь ногами в узкие доски моста, он качался и балансировал. Чем быстрее шел поезд, тем сильнее Тим качался; наконец, сделав над собой усилие, он нашел устойчивое положение и перестал раскачиваться. — Все могло бы еще окончиться благополучно, если бы не последний вагон. Дик понял это и с ужасом следил за его приближением. Это был «усовершенствованный вагон для лошадей» — на шесть дюймов шире, чем все остальные. Дик видел, что и Тим его заметил; видел, как товарищ напряг все силы, чтобы удержаться на том пространстве, которое теперь еще сократилось чуть не на полфута; видел, как Тим откидывается назад все дальше, дальше, до последней возможности, и все же недостаточно далеко. Катастрофа была неизбежна. Если бы вагон оказался уже всего на один дюйм, Тим устоял бы. Один дюйм — и он упал бы на рельсы позади поезда, а вагон прошел бы мимо. Но именно этот дюйм и погубил его. Вагон толкнул Тима, мальчик несколько раз перевернулся в воздухе и рухнул головой на камни.

Там, внизу, он уже не шевелился. Упав с высоты семидесяти футов, он сломал себе шею и размозжил череп.

Тут Дик впервые познал смерть — не упорядоченную и благопристойную смерть, какой она бывает среди цивилизованных людей, когда и врачи, и сиделки, и наркотики облегчают человеку переход в вечную ночь, а его близкие пытаются пышными обрядами, цветами и торжественными проводами скрасить его путешествие в царство теней, — но смерть внезапную и простую, грубую и неприкрашенную; смерть, подобную смерти быка или жирной свиньи, убитых на бойне.

И еще многое открылось Дику: превратности жизни и судьбы; враждебность вселенной к человеку; необходимость быстро соображать и действовать, быть решительным и уверенным в себе, уметь мгновенно приспособляться к неожиданным переменам в соотношении сил, властвующих над всем живым. И, стоя над изуродованными останками того, кто всего несколько минут назад был его товарищем. Дик понял, что нельзя доверяться иллюзиям — за них всегда приходится расплачиваться, и что только действительность никогда не лжет.

В Новой Мексике Дик случайно лопал на одно ранчо под названием Джингл-Боб, расположенное к северу от Росуэлла, в долине Пикос. Дику еще не было четырнадцати лет, но он скоро сделался всеобщим любимцем; это, однако, не помешало ему стать настоящим ковбоем, подобным тем, которые даже в официальных бумагах именовали себя: «Дикий Конь», «Вилли-Олень», «Большой Карман», или «Вырви глаз».

Здесь за полгода, проведенных на ранчо. Дик в совершенстве узнал лошадей и, будучи сильным и ловким, сделался отличным наездником, а также узнал людей, как они есть, — и это драгоценное знание сберег на всю жизнь. Но он узнал и многое другое. Вот, например, Джон Чайзом, владелец Джингл-Боба, Bosque grande и еще многих других скотоводческих ферм до самой Черной речки и за ней; Джон Чайзом, «Коровий король», предвидя возникновение мелких фермерских хозяйств, скупил кругом все свободные участки, на которых имелась вода, поставил ограды из колючей проволоки и стал полновластным хозяином над миллионами акров прилегавшей к ним земли, которая без орошения не имела никакой цены. А из бесед у ночного костра, сидя возле фургона с продовольствием, среди ковбоев, получавших в месяц не более сорока долларов (они не предусмотрели того, что предусмотрел их хозяин). Дик отчетливо понял, почему Джон Чайзом сделался «коровьим королем», а сотни его соседей нанимались к нему в качестве сельскохозяйственных рабочих.

Но у Дика был горячий нрав. Его кровь кипела. В нем жила пылкая мужская гордость. Готовый иногда разрыдаться после двадцати часов, проведенных в седле, он сдерживал себя, научился презирать жестокую

боль, терзавшую его еще полудетское тело, и молча терпеть, не мечтая о постели, пока закаленные гуртовщики не лягут первыми. С той же терпеливой выдержкой он садился на любую лошадь, какую ему давали, требовал, чтобы и его посылали в ночное, и в развевающемся непромокаемом плаще уверенно мчался наперерез разбегающемуся стаду. Он готов был подвергнуть себя любому риску и любил рисковать, но даже в такие минуты никогда не забывал о трезвой действительности. Дику отлично было известно, что люди — существа весьма хрупкие, они легко гибнут, разбиваясь о камни или затоптанные лошадиными копытами. И если он иной раз отказывался садиться на лошадь, у которой на галопе заплетались ноги, то делал это не из страха, а потому что, как он заявил однажды самому Джону Чайзому, «если уж падать, так хоть за хорошие деньги».

Только отсюда, из этого имения. Дик решил написать своим опекунам. Но и тут был настолько осторожен, что отдал письмо проезжему торговцу скотом из Чикаго и адресовал его на имя повара О-Чай. Хотя Дик и не пользовался своими миллионами, однако всегда о них помнил; опасаясь, как бы его состояние не досталось каким-нибудь отдаленным родственникам, которые могли найтись в Новой Англии, он известил своих опекунов о том, что жив и здоров и через несколько лет непременно вернется домой. Он приказал им также не отпускать миссис Соммерстон и аккуратно выплачивать ей жалованье.

Но ему не сиделось на месте. И наконец он решил, что полгода на ранчо Джингл-Боб — это больше чем достаточно. Тогда Дик стал бродягой и исколесил всю территорию Соединенных Штатов, причем ему довелось познакомиться во время своих скитаний с мировыми судьями, полицейскими чиновниками, законами о бродяжничестве и даже тюрьмами. И он узнал настоящих бродяг, странствующих рабочих и мелких преступников. Кроме того, он знакомился с фермами и фермерами и изучал земледелие, а однажды в штате Нью-Йорк целую неделю работал по сбору ягод у одного фермера-датчанина, который производил эксперименты с первой силосной установкой в Соединенных Штатах. Он учился всему этому не потому, что ставил себе учение как цель: в нем жила огромная, чисто мальчишеская любознательность и интерес решительно ко всему. Благодаря этому он приобрел много сведений о человеческой природе и жизни общества. Эти знания, когда он их впоследствии переварил и систематизировал при помощи книг, сослужили ему неоценимую службу.

Приключения не повредили Дику. Даже когда ему приходилось встречаться с острожниками в их лесных убежищах и узнавать их взгляды

на жизнь и нравственность, эти взгляды на него не действовали. Он был точно путешественник среди туземных племен. Уверенный в том, что у него есть двадцать миллионов, он не испытывал желания красть и грабить, — да в этом и не было необходимости. Все на свете интересовало его, но он ни разу не попадал в такое положение или место, в котором хотел бы остаться навсегда. В нем жила жажда видеть все больше, без конца наблюдать действительность.

Прошло три года; ему минуло шестнадцать. Это был крепкий и закаленный подросток, весивший сто тридцать фунтов. Тогда Дик решил, что пора вернуться домой и взяться за книги. Так он совершил свое первое большое морское путешествие, поступив юнгой на судно, которое шло из Делавера в Сан-Франциско, огибая мыс Горн. Это было трудное плавание, оно продолжалось сто восемьдесят дней, но в результате Дик прибавил десять фунтов.

Когда в один прекрасный день он вошел в комнату и направился к миссис Соммерстон, она вскрикнула и послала за поваром О-Чаем: пусть скажет — действительно ли это Дик. Она вскрикнула во второй раз, когда протянула ему руку и его огрубевшая от канатов мозолистая ладонь сжала ее нежные пальцы.

Во время первой встречи с опекунами, которые спешно собрались, узнав о его приезде. Дик держался застенчиво, почти конфузился. Но это не помешало ему высказаться вполне определенно.

— Вот как обстоит дело, — начал он. — Я не дурак, знаю, чего хочу; и как я захочу — так и будет. Я совсем один на свете, не считая, конечно, таких добрых друзей, как вы; и у меня есть свои взгляды на жизнь и на то, что я в ней намерен делать. Вернулся я домой вовсе не из чувства долга перед кем-то, а потому что пришло время; скорее — из чувства долга перед самим собой. Три года странствий принесли мне большую пользу, и теперь я хочу продолжать образование — я разумею, уже по книгам.

— Белмонтское училище, — подсказал мистер Слокум, — подготовит вас в университет.

Дик решительно покачал головой:

— И отнимет у меня три года, как и любая средняя школа. Нет, я намерен поступить в Калифорнийский университет не позднее чем через год. Конечно, придется поработать. Но мозг у меня вроде кислоты: так и въедается в книги. Я возьму себе преподавателей — десяток преподавателей, если понадобится, — и начну готовиться. Нанимать их я буду сам и выгонять — тоже сам. А для этого мне понадобятся деньги.

— Сто долларов в месяц достаточно? — спросил мистер Крокетт.

Дик покачал головой.

— Я странствовал три года и не истратил ни гроша из своего капитала. Надеюсь, я сумею с толком распорядиться его частью здесь, в Сан-Франциско. Я еще не берусь управлять своими делами, но хочу иметь на руках чековую книжку, и на приличную сумму. Деньги я буду тратить на то, что сочту нужным и как сочту нужным.

Опекуны в ужасе переглянулись.

— Это нелепо, это невозможно, — начал мистер Крокетт возмущенно. — Вы такой же сорвиголова, как и до вашего ухода.

— Уж какой есть, — вздохнул Дик. — И та размолвка вышла у нас из-за денег. А ведь тогда я хотел получить всего-навсего сто долларов.

— Но войдите же в наше положение. Дик, — принялся его увещевать мистер Дэвидсон. — Ведь мы ваши опекуны... Что скажут люди, если мы позволим вам, шестнадцатилетнему мальчику, свободно распоряжаться вашими деньгами?

— А что стоит теперь моя яхта «Фрида»? — неожиданно спросил Дик.

— Думаю, за нее в любое время дадут тысяч двадцать, — отозвался мистер Крокетт.

— Так продайте ее. Она для меня велика и вдобавок с каждым годом теряет в цене. Мне нужна небольшая яхточка, чтобы я мог сам управлять ею и плавать в нашей бухте, и стоять она должна не больше тысячи. А эту продайте и положите деньги на мое имя. Я знаю ведь, чего вы, все трое, боитесь: что я растрянжирю свои деньги на кутежи да на лошадей и на певичек. Так я вот что вам предложу: пусть на эти деньги будет иметь право каждый из нас четверых. И в ту минуту, когда кто-либо из вас решит, что я трачу деньги зря, пусть он снимет со счета всю сумму. Могу также вам сообщить, что наряду с преподавателями, которые будут готовить меня в университет, я намерен пригласить специалиста из коммерческого колледжа: пусть научит меня тому, как дельцы ведут дела, пусть вбивает мне в голову всю эту механику.

Дик не стал ждать их согласия и продолжал, как будто это уже было решено:

— А как с лошадьми в Мэнло? Впрочем, я посмотрю их и тогда подумаю, что с ними делать. Миссис Соммерстон останется здесь и будет вести дом и хозяйство. Я и без того буду слишком занят. Вы не раскаетесь, дав мне полную волю в моих личных делах, обещаю. А теперь, если хотите послушать, как я жил эти три года, я вам, пожалуй, расскажу.

Дик Форрест не ошибся, заявив своим опекунам, что его мозг въедается в книги, точно кислота. Никогда еще, кажется, ни один юноша не

получал столь необычного образования, — причем он руководил им сам, не отвергая порой и чужих советов. Умению использовать чужие мозги он, видимо, научился у отца и у Джона Чайзома из Джингл-Боба. Там, в степи, он привык подолгу сидеть молча и размышлять, в то время как ковбои вели неторопливую беседу у костра и фургона с продовольствием. Теперь благодаря своему имени и состоянию он легко добивался знакомства и бесед с профессорами, директорами школ, всевозможными специалистами и дельцами; он мог слушать их долгие часы, лишь изредка вставляя слово, почти не спрашивая, а только впитывая в себя то, что они ему рассказывали, — и был доволен, если ему удавалось из этой многочасовой беседы извлечь хотя бы одну мысль, один факт, которые помогли бы ему решить вопрос, какое именно образование ему нужно и как его получить.

Затем он начал выбирать себе преподавателей; и уж тут пошли такие приглашения и увольнения, такие вызовы и отказы, что все только диву давались. Молодой Форрест не стеснялся. С одними Дик занимался месяц, два или три, но с большинством расставался в первый же день или в первую неделю; и неизменно платил в таких случаях за целый месяц вперед, даже если их попытка чему-то научить его продолжалась не больше часа. Он всегда был в этих делах щедр и великодушен, — оттого что имел возможность позволить себе щедрость и великодушие.

Этот мальчик, который не раз подбирал объедки после кочегаров, запивая их водой из колонки, узнал на своей шкуре цену деньгам и что покупать самое лучшее в конце концов выгоднее всего. Для поступления в университет надо было прослушать годичный курс физики и химии. Покончив с алгеброй и геометрией, он обратился к видным профессорам физики и химии при Калифорнийском университете. Вначале профессор Кэйри рассмеялся ему в лицо.

— Мой милый мальчик... — сказал он.

Дик терпеливо дал ему высказаться, затем спокойно заявил:

— Поверьте, профессор, что я не дурак. Ученики средней школы и подготовительного училища — просто младенцы. Они жизни не знают. И еще не знают, чего хотят или почему хотят того, чем их напичкали. Я знаю жизнь. Знаю, чего хочу и почему. Они занимаются физикой два часа в неделю в течение двух полугодий, что составляет вместе с каникулами целый год. Вы лучший преподаватель физики на всем Тихоокеанском побережье. Учебный год как раз кончается. Если вы посвятите мне всю первую неделю каникул, каждую минуту вашего времени, я пройду этот годичный курс физики. Во сколько цените вы такую неделю?

— Вы не купите ее и за тысячу долларов, — отозвался профессор

Кэйри и решил, что вопрос исчерпан.

— Я знаю размеры вашего жалованья... — начал Дик.

— Ну, и сколько же я, по-вашему, получаю? — резко спросил профессор.

— Во всяком случае, не тысячу долларов в неделю, — так же резко возразил Дик, — и не пятьсот, и не двести пятьдесят... — Он поднял руку, ибо профессор хотел прервать его. — Вы сейчас сказали, что не можете продать мне свою неделю и за тысячу долларов. А я и не собираюсь покупать ее за эту цену. Я вам предлагаю две тысячи. Господи! Ведь жить-то мне считанные годы!..

— А разве годы жизни можно купить? — насмешливо спросил профессор.

— Безусловно можно. Ради этого я здесь. Я покупаю за год три года, и ваша неделя — часть этого года.

— Но я же еще не дал согласия, — заметил профессор Кэйри.

— Может быть, сумма вам кажется недостаточной? — холодно настаивал Дик. — Скажите, какую вы считаете справедливой?

И профессор Кэйри сдался. Так же сдался профессор Барсдейл — самый видный химик в городе.

Своих преподавателей по алгебре и геометрии Дик уже возил охотиться на болота Сакраменто и СанХоакина и провел с ними там больше месяца. Покончив с физикой и химией, он отправился с историком и преподавателем литературы на охоту в округ Карри, в юго-западной части Орегона. Он следовал примеру своего отца: учился и развлекался, жил на свежем воздухе — и в результате прошел без особого напряжения обычный трехлетний курс средней школы в один год. Он стрелял дичь, ловил рыбу, плавал, тренировался и вместе с тем готовился в университет. И он стоял на верном пути. Он мог его избрать потому, что миллионы отца сделали его хозяином жизни. Деньги были для него всегда только средством. Он не умалял, но и не преувеличивал их значения. Он только покупал на них все, что ему было нужно.

— Странная разновидность мотовства, я ничего подобного не встречал! — заметил мистер Крокетт, показывая остальным опекунам представленный Диком годовой отчет. — Шестнадцать тысяч долларов ушло на учение, причем он сюда включил все расходы: стоимость железнодорожных билетов, чаевых, порохов и патроны для преподавателей.

— Ну, экзамены он все-таки выдержал, — сказал мистер Слокум.

— Да, и приготовился за один год, — проворчал мистер Дэвидсон. — А мой внук, в то время как Дик начал готовиться, поступил в Белмонтское

училище, и дай бог, если ему через два года удастся добраться до университета.

— Что ж, одно могу сказать, — заявил мистер Крокетт, — отныне, сколько бы мальчик ни потребовал на свои расходы, ему можно доверить какую угодно сумму.

— Теперь я сделаю маленькую передышку, — заявил Дик своим опекунам. — Я опять иду голова в голову со своими сверстниками, а уж насчет знания жизни — им до меня далеко. Я встречал немало мужчин и женщин, я узнал жизнь и видел так много хорошего и дурного, высокого и ничтожного, что сам иногда не верю — неужели это правда? Но я все видел своими глазами.

Отныне я уже не буду спешить. Я догнал других и пойду ровным шагом. Главное — не задерживаясь, переходить с курса на курс. И когда я окончу университет, мне будет всего двадцать один год. На учение денег теперь пойдет гораздо меньше, репетиторы уже не понадобятся, и можно будет тратить больше на развлечения.

Мистер Дэвидсон насторожился:

— А что вы разумеете под словом «развлечения»?..

— О, разные там студенческие общества, футбол... Не отставать же мне от других, сами понимаете. Кроме того, меня очень интересуют моторы, работающие на бензине. Я намерен построить первую в мире океанскую яхту с бензиновым двигателем...

— Еще взорветесь, — покачал головой мистер Крокетт. — Все это вздор, все теперь помешались на бензине.

— Нет, не взорвусь, я приму меры, — ответил Дик, — а для этого нужны эксперименты и деньги, и потому я прошу выдать мне новую чековую книжку, на тех же правах, что и раньше.



## ГЛАВА ШЕСТАЯ

В университете Дик Форрест ничем не выделялся, разве только тем, что пропустил на первом курсе больше лекций, чем другие студенты. Но лекции, которые он пропускал, были ему не нужны, и он знал это. Преподаватели, готовя его к вступительным экзаменам, прошли с ним вперед также и большую часть первого курса. Между прочим, он организовал футбольную команду первокурсников, впрочем, такую слабую, что ее побеждали все, кому не лень.

Все же Дик работал, хотя это и не было заметно. Он много читал, и читал с толком; и когда летом он отправился на своей океанской яхте в экскурсию, то пригласил с собой не компанию веселых сверстников, а профессоров литературы, права, истории и философии с их семьями. В университете долго потом вспоминали об этой «ученой» поездке. Профессора, вернувшись, рассказывали, что провели время чрезвычайно приятно. Дик вынес из этого путешествия более широкое представление о ряде научных дисциплин, чем если бы слушал из года в год университетские курсы. А то, что он опять сэкономил на этом время, дало ему возможность по-прежнему пропускать многие лекции и усиленно заниматься в лабораториях.

Не пренебрегал он и чисто студенческими развлечениями. Профессорские вдовы усиленно за ним ухаживали, профессорские дочери влюблялись в него; он был неутомимым танцором, не пропустил ни одного студенческого сборища, ни одной товарищеской пирушки, объехал все побережье с клубом банджо и мандолинистов.

И все-таки он не блистал никакими особыми талантами, ничем среди других не выделялся. Четыре-пять товарищей играли на мандолине и на банджо искуснее его и с десятков танцевали лучше. На втором курсе он помог своей футбольной команде одержать победу, считался хорошим, надежным игроком, но и только. Ему ни разу не удавалось пройти с мячом всю длину поля, хотя он видел, что голубые с золотом лезут из кожи и трибуны неистовствуют. Победу ему удалось одержать лишь в конце мучительно трудного матча, в грязи, под дождем, когда кончился уже второй полутайм, — тогда только голубые с золотом попросили Форреста бить в центр, и бить крепко.

Да, он никогда и ни в чем не достигал совершенства. Верзила Чарли Эверсон всегда мог перепить его. Гаррисон Джексон кидал молот дальше

его по меньшей мере на двадцать футов. Каррузерс побеждал его в боксе. Энсон Бардж клал его на обе лопатки два раза из трех — правда, с большим трудом. В английском сочинении пятая часть курса была сильнее его. Эдлин, русский еврей, победил его в диспуте на тему: «Собственность есть кража». Шульц и Дебрэ опередили его и весь курс в высшей математике, а японец Отсуки несравненно лучше усваивал химию.

Но если Дик Форрест ничем не выделялся, то он ни в чем и не отставал от товарищей. Не обладая особой силой, он никогда не выказывал слабости или неуверенности. Однажды Дик заявил своим опекунам, восхищенным его неизменным прилежанием и благонравием и возмечтавшим, что его ждет великое будущее:

— Ничего особенного я не достигну. Буду просто всесторонне образованным человеком. Мне ведь и незачем быть специалистом. Оставив мне деньги, отец освободил меня от этой необходимости. Да я и не мог бы стать специалистом, даже если бы захотел. Это не по мне!

Итак, строй его ума был столь ясен, что определял весь строй его жизни. Он ничем чрезмерно не увлекался. Это был редкий образец среднего, нормального, уравновешенного и всесторонне развитого человека.

Когда мистер Дэвидсон в присутствии своих коллег высказал удовольствие по поводу того, что Дик, вернувшись домой, больше не совершает никаких безрассудств, Дик ответил:

— О, я могу держать себя в руках, если захочу.

— Да, — торжественно отозвался мистер Слокум. — Это вышло очень удачно, что вы так рано перебесились и умеете владеть собой.

Дик хитро посмотрел на него.

— Ну, — сказал он, — это детское приключение не в счет. Я еще и не начинал беситься. Вот увидите, что будет, когда я начну! Знаете вы киплинговскую «Песнь Диего Вальдеса»? Если позволите, я вам кое-что процитирую из нее. Дело в том, что Диего Вальдес получил, как и я, большое наследство. Ему предстояло сделаться верховным адмиралом Испании — и некогда было беситься. Он был силен и молод, но слишком торопился стать взрослым, — безумец воображал, что сила и молодость останутся при нем навсегда и что, лишь сделавшись адмиралом, он получит право наслаждаться радостями жизни. И всегда он потом вспоминал:

На юге, на юге, за тысячи миль,  
Друг с другом мы там побратались,

Мы жемчуг скупали у островитян,  
Годами по морю шатались.  
Каких тогда не было в мире чудес!  
В какие мы плавали дали!  
В те дни был неведом великий Вальдес,  
Но все моряки меня знали.  
Когда в тайниках попадалось вино,  
Мы вместе вино это пили,  
А если добыча в пути нас ждала,  
Добычу по-братски делили.  
Мы прятали меж островов корабли,  
Уйдя от коварной погони,  
На перекатах и мелях гребли, —  
К веслу прикипали ладони.  
Мы днища смолили, костры разведя,  
В огне обжигали мы кили,  
На мачтах вздымали простреленный флаг  
И снова в поход уходили.  
Как в белые гребни бушующих вод  
Врезается якорь с размаха,  
Так мы, капитаны, вперед и вперед  
Летели, не ведая страха!  
О, где мы снимали и шпагу и шлем?  
В каких пировали тавернах?  
Где наших нежданных набегов гроза?  
Удары клинков наших верных?  
О, в знойной пустыне холодный родник!  
О, хлеба последняя корка!  
О, буйного ястреба яростный крик!  
О, смерть, стерегущая зорко!  
Как девушки грезят и ждут жениха,  
Тоскуют по прошлому вдовы,  
Как узник на синее небо в окно  
Глядит, проклиная оковы, —  
Так сетую я, поседевший моряк:  
Все снятся мне юг и лагуны,  
Былые походы, простреленный флаг  
И сам я — отважный и юный!  
Вы, трое почтенных людей, поймите его, поймите

так, как понял я! Послушайте, что он говорит дальше:  
Я думал — и сила, и радость, и хмель  
С годами взыграют все краше,  
Увы, я бесславно весну упустил,  
Я выплеснул брагу из чаши!  
Увы, по решению коварных небес  
Отмечен я жребием черным, —  
Я, вольный бродяга Диего Вальдес,  
Зовусь адмиралом верховным!

— Слушайте, опекуны мои! — вскричал Дик, и лицо его запылало. — Не забывайте ни на миг, что жажда моя вовсе не утолена. Нет, я весь горю. Но я сдерживаюсь. Не воображайте, что я ледышка, только потому, что веду себя, как полагается пай-мальчику, пока он учится, я молод. Жизнь во мне кипит. Я полон непочатых сил. Но я не повторю ошибки, которую делают другие. Я держу себя в руках. Я не накинусь на первую попавшуюся приманку. А пока я готовлюсь. Но своего не упущу. И не расплескаю чаши, а выпью ее до дна. Я не собираюсь, как Диего Вальдес, оплакивать упущенную молодость:

О, если б по-прежнему ветер подул,  
По-прежнему волны вскипели,  
Смолили бы днища друзья вокруг костров  
И песни разгульные пели!  
О, в знойной пустыне холодный родник!  
О, хлеба последняя корка!  
О, буйного ястреба яростный крик!  
О, смерть, стерегущая зорко!<sup>[3]</sup>.

Слушайте, опекуны мои! Знаете вы, каково это — ударить врага, дать ему по челюсти и видеть, как он падает, холодея? Вот каких чувств я хочу. И я хочу любить, и целовать, и безумствовать в избытке молодости и сил. Я хочу изведать счастье и разгул в молодые годы, но не теперь, — я еще слишком юн. А пока я учусь и играю в футбол, готовлюсь к той минуте, когда смогу дать себе волю, — и уж тут я возьму свое! И не промахнусь! О, поверьте мне, я не всегда сплю спокойно по ночам!

— То есть? — испуганно спросил мистер Крокетт.

— Вот именно. Я как раз об этом и говорю. Я еще держу себя в узде, я еще не начал, но если начну, тогда берегитесь...

— А вы «начнете», когда окончите университет? Странный юноша покачал головой.

— После университета я поступлю по крайней мере на год в сельскохозяйственный институт. У меня, видите ли, появился конек — это сельское хозяйство. Мне хочется... хочется что-нибудь создать. Мой отец наживал, но ничего не создал. И вы все тоже. Вы захватили новую страну и только собирали денежки, как матросы вытряхивают самородки из мха, наткнувшись на девственную россыпь...

— Я, кажется, кое-что смыслю, дружок, в сельском хозяйстве Калифорнии, — обиженным тоном прервал его мистер Крокетт.

— Наверное, смыслите, но вы ничего не создали, вы — что поделаешь, факты остаются фактами, — вы... скорее разрушали. Вы были удачливыми фермерами. Ведь как вы действовали? Брали, например, в долине реки Сакраменто сорок тысяч акров лучшей, роскошнейшей земли и сеяли на ней из года в год пшеницу. О многопольной системе вы и понятия не имели. Вы понятия не имели, что такое севооборот. Солому жгли. Чернозем истощали. Вы вспахивали землю на глубину каких-нибудь четырех дюймов и оставляли нетронутым лежащий под ними грунт, жесткий, как камень. Вы истощили этот тонкий слой в четыре дюйма, а теперь не можете даже собрать с него на семена.

Да, вы разрушали. Так делал мой отец, так делали все. А я вот возьму отцовские деньги и буду на них созидать. Накуплю этой истощенной пшеницей земли, — ее можно приобрести за бесценок, — все перевероршу и буду в конце концов получать с нее больше, чем получали вы, когда только что взялись за нее!

Приблизилось время окончания курса, и мистер Крокетт вспомнил об испугавшем опекунов намерении Дика начать «беситься».

— Теперь уже скоро, — последовал ответ, — вот только окончу сельскохозяйственный институт; тогда я куплю землю, скот, инвентарь и создам поместье, настоящее поместье. А потом уеду. И уж тут держись!

— А какой величины имение хотите вы приобрести для начала? — спросил мистер Дэвидсон.

— Может быть, в пятьдесят тысяч акров, а может быть, и в пятьсот тысяч, как выйдет. Я хочу добиться максимальной выгоды. Калифорния — это, в сущности, еще не заселенная страна. Земля, которая идет сейчас по десять долларов за акр, будет стоить через пятнадцать лет не меньше пятидесяти, а та, которую я куплю по пятьдесят, будет стоить пятьсот, и я

для этого пальцем не пошевелил.

— Но ведь полмиллиона акров по десять долларов — это пять миллионов, — с тревогой заметил мистер Крокетт.

— А по пятьдесят — так и все двадцать пять, — рассмеялся Дик.

Опекуны в душе не верили в его обещанные безумства. Конечно, он может потерять часть своего состояния, вводя все эти сельскохозяйственные новшества, но чтобы он мог закутить после стольких лет воздержания, казалось им просто невероятным.

Дик окончил курс без всякого блеска. Он был двадцать восьмым и ничем не поразил университетский мир. Его главной заслугой оказалась та стойкость, с какой он выдерживал осаду очень многих милых девиц и их мамаш, и та победа, которую он помог одержать футбольной команде своего университета над стэнфордцами, — впервые за пять лет. Это происходило в те времена, когда о высокооплачиваемых инструкторах еще и не слыхали и особенно ценились хорошие игроки. Но для Дика на первом плане стояли интересы всей команды, поэтому в Благодарственный день голубые с золотом торжественно шествовали по всему СанФранциско, празднуя свою славную победу над гораздо более сильными стэнфордцами.

В сельскохозяйственном институте Дик совсем не посещал лекций и весь отдался лабораторной работе. Он приглашал преподавателей к себе и истратил пропасть денег на них и на разъезды с ними по Калифорнии.

Жак Рибо, считавшийся одним из мировых авторитетов по агрономической химии и получавший во Франции две тысячи долларов в год, перебрался в Калифорнийский университет, прельстившись окладом в шесть тысяч; потом перешел на службу к владельцам сахарных плантаций на Гавайских островах на десять тысяч; и наконец соблазненный пятнадцатью тысячами, которые ему предложил Дик Форрест, и перспективой жить в более умеренном и приятном климате Калифорнии, заключил с ним контракт на пять лет.

Господа Крокетт, Слокум и Дэвидсон в ужасе воздели руки, решив, что это и есть обещанное Диком безрассудство.

Но это было только своего рода повторение пройденного. Дик переманил к себе с помощью чудовищного оклада лучшего специалиста по скотоводству, состоявшего на службе у правительства, таким же предосудительным способом отнял у университета штата Небраска прославленного специалиста по молочному хозяйству и наконец нанес удар декану сельскохозяйственного института при Калифорнийском университете, отняв у него профессора Нирденхаммера, мага и волшебника в вопросах фермерского хозяйства.

— Дешево, поверьте мне, дешево, — уверял Дик своих опекунов. — Неужели вам было бы приятнее, если бы я вместо профессоров покупал лошадей и актрис? Вся беда в том, что вы, господа, не понимаете, как это выгодно — покупать чужие мозги. А я понимаю. Это моя специальность. И я буду на этом зарабатывать деньги, а главное — у меня вырастет десять колосьев там, где у вас и одного бы не выросло, ибо свою землю вы ограбили.

После этого опекунам, конечно, трудно было поверить, что он пустится во всякие авантюры, будет «рисковать и целовать», а мужчинам давать в зубы.

— Еще год... — предупреждал, он их, погруженный в книги по агрономической химии, почвоведению и сельскому хозяйству и занятый постоянными разъездами по Калифорнии со всей своей свитой высокооплачиваемых экспертов.

Опекуны боялись только, что, когда Дик достигнет совершеннолетия и сам будет распоряжаться своим состоянием, отцовские миллионы быстро начнут таять, уходя на всякие нелепые сельскохозяйственные затеи.

Как раз в день, когда ему исполнился двадцать один год, была совершена купчая на огромное ранчо; оно простиралось к западу от реки Сакраменто вплоть до вершин тянувшейся там горной цепи.

— Невероятно дорого, — сказал мистер Крокетт.

— Наоборот, невероятно дешево, — возразил Дик. — Вы бы видели, какие я получил сведения о качестве почвы! И об источниках! Послушайте, опекуны мои, что я вам спою! Я сам и песня и певец!

И он запел тем своеобразным вибрирующим фальцетом, каким обычно поют североамериканские индейцы, эскимосы и монголы:

Ху-тим йо-ким кой-оди!

Уи-хи йан-нинг кой-о-ди!

Ло-хи йан-нинг кой-о-ди!

Йо-хо най-ни, хал-юдом йо най, йо-хо, най-ним!

— Ну, музыка моего сочинения, — смущенно пробормотал он, — я пою так, как, мне кажется, эта песня должна была звучать. Видите ли, нет ни одного человека, который бы слышал, как ее поют. Нишинамы получили ее от майду, а те от канкау, которые и сочинили ее. Но все эти племена вымерли. А уголья их остались. Вы истощили эти земли, мистер Крокетт, вашей хищнической системой земледелия. Песню эту я нашел в одном этнологическом отчете, помещенном в третьем томе «Обзора географии и геологии Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов». Вождь по имени Багряное Облако, сошедший с неба в первое утро мира, спел эту

песню звездам и горным цветам. А теперь я спою ее вам по-английски.

Он опять запел фальцетом, подражая индейцам, и голос его был полон весеннего, ликующего торжества; он хлопал себя по бедрам и притопывал в такт песне. Дик пел:

Желуди падают с неба!

Я сажаю маленький желудь в долине!

Я сажаю большой желудь в долине!

Я расту, я — желудь темного дуба, я даю ростки!

Имя Дика Форреста все чаще упоминалось в газетах. Он сразу стал знаменит, ибо первый в Калифорнии заплатил за одного производителя пять тысяч гиней. Его специалист-скотовод, которого ему удалось сманить у правительства, перебил у английских Ротшильдов и приобрел для фермы Форреста великолепное животное, вскоре ставшее известным под именем Каприз Форреста.

— Пусть смеются, — говорил Дик своим опекунам. — Я выписал сорок маток. В первый же год этот бык вернет мне половину своей стоимости. Он станет отцом, дедом и прадедом целого потомства, и калифорнийцы будут отрывать у меня с руками его детей и внуков по три и даже по пять тысяч долларов за голову.

В эти первые месяцы своего совершеннолетия Дик Форрест натворил еще ряд таких же безрассудств. Но самым непостижимым оказалось последнее, когда он, вложив столько миллионов в свои сельскохозяйственные предприятия, вдруг передал все дело специалистам, поручив им вести и развивать его дальше по намеченному плану, установил между ними взаимный надзор, чтобы они не слишком зарывались, а затем купил себе билет на остров Таити и уехал, чтобы пожить как ему вздумается.

Изредка до опекунов доходили вести о нем. Он вдруг оказался владельцем и капитаном четырехмачтового угольщика, который шел под английским флагом и вез уголь из Ньюкасла. Они узнали об этом потому, что им пришлось заплатить за покупку судна, а также потому, что имя Форреста, хозяина судна, было упомянуто в газетах в связи с тем, что он спас жизнь пассажирам с потерпевшего кораблекрушение «Ориона»; кроме того, они же получили страховку, когда судно Форреста погибло почти со всей командой во время свирепого урагана у берегов островов Фиджи. В 1896 году он оказался в Клондайке. В 1897 году — на Камчатке, где заболел



цингой. Затем неожиданно появился под американским флагом на Филиппинах. Однажды — они так и — не узнали, как и почему, — он стал владельцем обветшавшего пассажирского парохода, давно вычеркнутого из списков Ллойда и теперь плававшего под флагом Сиама.

Время от времени между ними и Форрестом завязывалась деловая переписка, — он писал им из многих сказочных гаваней сказочных морей. Был и такой случай, когда им пришлось ходатайствовать перед правительством штата, чтобы оно оказало давление на Вашингтон и вызволило Дика из какой-то запутанной истории в России; впрочем, о ней в печать не проникло ни одной строчки, но она вызвала злорадное ликование во всех европейских министерствах.

Потом они случайно узнали, что он лежит раненый в Мэйфкинге; потом, что он перенес в Гваякиле желтую лихорадку и что его судили в Нью-Йорке за безжалостное обращение с матросами в открытом море. Газеты трижды печатали извещение о его смерти: один раз он будто бы умер, сражаясь в Мексике, и два раза — казнен в Венесуэле. После всех этих ложных слухов и тревог опекуны решили больше не волноваться; они уже спокойно принимали вести о том, что он будто бы переплыл Желтое море на сампане, и что он умер от бери-бери, и что в числе русских военнопленных взят японцами под Мукденом и теперь" находится в японской военной тюрьме...

Только раз еще вызвал он их волнение, когда, верный своему обещанию, нагулявшись по свету, вернулся домой и привез с собой жену. Ему было тогда тридцать лет, он женился на ней, по его словам, несколько лет назад, и, как потом оказалось, все три опекуна знали ее раньше. Ее отец потерял все свое состояние после нашумевшей катастрофы в рудниках Лос-Кокос в Чихуахуа, когда правительство изъяло серебро из обращения. Мистер Слокум тоже потерял тогда восемьсот тысяч. Мистер Дэвидсон выкачал миллион из «Последней заявки» — высохшего русла реки в Амадорском округе, а отец ее — восемь миллионов. Мистер Крокетт еще юношей «выскребал» с ее отцом дно реки Мерсед, был его шафером, когда он женился на ее матери, и в Грантс-Пассе играл в покер с ним и с лейтенантом Грантом<sup>[4]</sup>: запад знал тогда об этом человеке лишь то, что он успешно сражается с индейцами и очень плохо играет в покер.

А теперь Дик Форрест женился на дочери Филиппа Дестена! Тут нечего было желать ему счастья. Тут можно было, наоборот, только доказывать, что он еще не понимает, какое счастье ему послала судьба. Опекуны простили Дику все его грехи и безрассудства. Женился он удачно и наконец-то поступил вполне благоразумно. Мало того, он поступил

гениально. Паола Дестен! Дочь Филиппа Дестена! Кровь Дестенов! Союз Дестенов и Форрестов! Это искупало все! И престарелые товарищи Форреста и Дестена, некогда пережившие с ними, теперь уже ушедшими, золотые дни прошлого, заговорили с Диком даже сурово. Они напомнили ему о высокой ценности доставшегося ему сокровища, об обязательствах, которые на него накладывает такой брак, и обо всех прекрасных традициях и добродетелях Дестенов и Форрестов; они наговорили ему столько, что в конце концов Дик рассмеялся и прервал их, заявив, что они рассуждают, как коннозаводчики или чудаки, помешанные на евгенике. И это была чистейшая правда, хотя им такое заявление и не доставило удовольствия.

Достаточно было того, что он женился на девушке из рода Дестенов, и они одобрили и план Большого дома и все связанные с этим сметы. Благодаря Паоле Дестен они на этот раз признали, что его траты благоразумны и целесообразны. Что же до его сельскохозяйственных затей, то, поскольку рудники «Группы Харвест.» процветают, — пусть забавляется! Он имел полное право разрешить себе кое-какие причуды.

Все же мистер Слокум заявил:

— Платить двадцать пять тысяч за рабочего жеребца — это безумие. Потому что рабочая лошадь — это рабочая лошадь. Я еще понимаю, если бы вы купили скакового жеребца...

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В это время как Дик Форрест просматривал выпущенную штатом Айова брошюру о свиной холере, с дальнего конца двора в открытое окно стали доноситься звуки, говорившие о пробуждении той, которая смеялась в рамке над его постелью и всего лишь несколько часов тому назад оставила на полу его спальни свой розовый кружевной чепчик, подобранный заботливым слугой.

Дик слышал ее голос, ибо просыпалась она с песней, точно птичка. Она пела, и ее звонкие трели вырывались то из одного, то из другого окна и звучали по всему ее длинному флигелю. Он услышал затем ее голос в садике посреди двора, но она вдруг прекратила пение, чтобы побранить своего щенка колли", соблазнившегося мелькавшими в бассейне фонтана японскими оранжевокрасными веерохвостками с пестрыми плавниками.

Форрест обрадовался пробуждению жены; это удовольствие было для него всегда новым, и хотя он сам вставал много раньше. Большой дом казался ему не совсем проснувшимся, пока через двор не доносилась утренняя песнь Паолы.

Но, испытав радость от ее пробуждения. Дик, как обычно, тут же забыл о жене, — его поглотили дела. Он снова погрузился в цифровые данные о вспышке свиной холеры в Айове, и Паола исчезла из его сознания.

— С добрым утром, веселый Дик! — приветствовал его через некоторое время всегда сладостный для его слуха голос, и Паола впорхнула к нему в легком утреннем кимоно, стройная и живая, обвила его шею рукой и уселась на услужливо подставленное им колено. Форрест прижал ее к себе, показывая, что весьма дорожит ее присутствием и близостью, хотя его взгляд еще с полминуты не отрывался от выводов, сделанных профессором Кенили относительно свиной холеры и опытов, произведенных на ферме Саймона Джонса в Вашингтоне, штат Айова.

— Вот вы как! — возмутилась она. — Вам слишком везет, сударь! Вы пресытились счастьем! К вам пришла ваша жена, ваш мальчик, ваша «маленькая гордая луна», а вы ей даже не сказали: «С добрым утром, милый мальчик, был ли ваш сон тих и сладок?»

Дик оторвался от цифр, приведенных профессором Кенили, крепко прижал к себе жену, поцеловал ее, но указательным пальцем правой руки упорно придерживал нужное место в брошюре.

Однако после ее слов он уже не спросил, как хотел раньше, хорошо ли она спала после того, как оставила свой чепчик возле его постели. Он захлопнул брошюру, продолжая придерживать пальцем страницу, и обеими руками обнял Паолу.

— О! О! Послушай! — закричала она вдруг. — Слышишь?

В открытые окна доносились певучие зовы перепелов.

Затрепетав, она прижалась к нему, — ее радовали эти мелодичные звуки.

— Начинается токование, — сказал он.

— Значит, весна! — воскликнула Паола.

— И знак, что будет хорошая погода.

— И любовь!

— Да, и птицы будут вить гнезда, нести яйца, — засмеялся Дик.

— Никогда я так не чувствовал плодородие мира, как сегодня, — продолжал он. — Леди Айлтон принесла одиннадцать поросят. Ангорских коз тоже сегодня пригнали с гор, им пора котиться. Ты бы видела их! И дикие канарейки бог знает сколько времени обсуждают во дворе свои брачные дела: можно подумать, что какой-нибудь поклонник свободной любви пытается разрушить их мирное единобрачие, проповедуя всякие модные теории. Удивительно, как это их диспуты не мешали тебе спать. Вот они начали снова... Что они — выражают сочувствие или бунтуют?

Опять послышалось трепетное, тонкое щебетание канареек, но взволнованное и переходящее в пронзительный писк. Паола и Дик слушали их с восхищением, как вдруг в этот хор крошечных золотистых любовников, с внезапностью судьбы, мгновенно заглушив его и поглотив, ворвался другой звук, не менее дикий, певучий и страстный, но потрясающий своей мощью и широтой.

Мужчина и женщина тотчас устремили жадные взоры через застекленные двери на дорожку, обсаженную сиренью, и, затаив дыхание, ждали, когда на ней появится огромный жеребец, — ибо это он трубил свой любовный призыв. Все еще невидимый, он затрубил вторично, и Дик сказал:

— Я спою тебе песню, моя гордая луна. Не я сложил ее. Это песнь нашего Горца. Это он ее трубит. Слышишь, опять! И вот что он поет: «Внемлите мне! Я — Эрос. Я попираю холмы, моим голосом полны широкие долины. Кобылицы на мирных пастбищах слышат меня и вздрагивают, ибо они знают мой голос. Травы становятся все пышнее и выше, земля жирна, и деревья полны соков. Это весна. Весна — моя. Я царь в моем царстве весны. Кобылицы помнят мой голос, ведь он жил до

них в крови их матерей. Внемлите мне! Я — Эрос. Я попираю холмы; и, словно герольды, долины разносят мое ржание, возвещая мой приход».

Паола теснее прижалась к мужу, и он крепче обнял ее; она коснулась губами его лба. Оба смотрели на дорогу, на которой вдруг, как величественное и прекрасное видение, появился Горец. Сидевший на его спине человек казался до смешного маленьким; глаза Горца, подернутые, как обычно у породистых жеребцов, синеватым блеском, горели страстью; он то опускал голову и, роняя пену, терся вздрагивавшими от волнения губами о шелковистые колени, то закидывал ее и, сотрясая воздух, бросал в небо свой властный призыв.

И, почти как эхо, издалека донеслось в ответ певучее, нежное ржание.

— Это Принцесса, — прошептала Паола.

Снова Горец протрубил свой призыв, и Дик, вторя ему, запел:

— «Внемлите мне! Я — Эрос! Я попираю холмы...»

И вдруг Паола, сжатая кольцом его ласковых рук, ощутила вспышку ревности к великолепному животному, которым он так любовался. Но вспышка тут же погасла, и, чувствуя себя виноватой, она весело воскликнула:

— А теперь. Багряное Облако, спой про желудь!

Дик, уже снова увлеченный брошюрой, рассеянно посмотрел на Паолу, затем опомнился и с тем же веселым азартом запел:

Желуди падают с неба!

Я сажаю маленький желудь в долине!

Я сажаю большой желудь в долине!

Я расту, я — желудь темного дуба, я расту, расту!

Пока он пел, Паола сидела, крепко прижавшись к нему, но, когда он кончил, почувствовала нетерпеливое движение его руки, все еще державшей брошюру о свиньях, и заметила быстрый взгляд, невольно скользнувший по циферблату часов на письменном столе: они показывали 11.25. И снова она попыталась удержать его, и опять в ее словах невольно прозвучал мягкий упрек.

— Ты странное, удивительное создание. Багряное Облако, — медленно проговорила она. — Иногда мне кажется, что ты в самом деле Багряное Облако — сажаешь свои желуди, а потом славить первобытную радость труда. А иногда ты представляешься мне ультрасовременным человеком, последним словом в царстве двуногих, мужчиной, для которого статистические таблицы — это целая Троянская война, вооруженным пробирками и шприцами, при помощи которых он, как гладиатор, борется с разными таинственными микроорганизмами. Минутами я готова даже

признать, что тебе следовало бы носить очки, обзавестись лысиной и что...

— И что я при своей дряхлости уже не имею права держать в объятиях женщину, — закончил он, обнимая ее еще крепче. — И что я всего-навсего дурацкая ученая обезьяна и не заслужил это «легкое облачко нежнорозовой пылицы». Слушай, у меня есть план. Через несколько дней...

Но он так и не досказал, в чем состоит его план: за их спиной раздалось сдержанное покашливание, и, повернув одновременно головы, они увидели Бонбрайта, помощника секретаря, с пачкой желтых листков в руке.

— Четыре телеграммы, — сказал он смущенно. — И мистер Блэйк находит, что две из них очень важные. Одна по поводу отправки быков в Чили...

Паола медленно соскользнула с колен мужа и стала на ноги: она почувствовала, что он опять уходит от нее, возвращается к этим статистическим таблицам, накладным, секретарям и управляющим.

— Эй, Паола, — крикнул Дик, когда она была уже в дверях. — Я дал имя новому бою, он будет называться О-Хо. Тебе нравится?

В ее ответе прозвучали нотки уныния, но она тут же улыбнулась:

— Вечно ты играешь именами наших боев... Если продолжать в этом духе, тебе скоро придется называть их: «О-Кот», «О-Конь», «О-Бык».

— Зато я никогда не позволю себе этого по отношению к моему племенному скоту, — ответил он торжественно, хотя лукавый блеск его глаз говорил, что он шутит.

— Я не то хотела сказать, — возразила она. — Но ведь у языка ограниченные возможности. Зря у тебя все начинается с "О".

Они оба весело рассмеялись. Паола исчезла, а через секунду Форрест, вскрыв телеграмму, погрузился в подробности отправки на скотоводческое ранчо в Чили трехсот годовалых племенных быков, по двести пятьдесят долларов каждый, франко-пароход. Все же пение Паолы, уходившей через двор в свой флигель, доставило ему, как всегда, удовольствие, — он и не заметил, что ее голос чуть-чуть менее весел, чем обычно.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ровно через пять минут после того, как ушла Паола, Дик покончил с телеграммами, вышел и сел в машину.

С ним вместе сели Тэйер, покупатель из Айдахо, и Нэйсмит, корреспондент «Газеты скотовода». Уордмен, заведующий овцеводством, присоединился к ним возле большого загона, где было собрано несколько тысяч молодых шропширских баранов, подлежащих осмотру.

Форрест молчал, считая, что разговаривать особенно не о чем, и Тэйер был этим явно огорчен, так как ему казалось, что о покупке десяти вагонов дорогого скота не мешало бы и потолковать.

— Да ведь они сами за себя говорят, — успокоил его Дик и повернулся к Нэйсмиту, чтобы сообщить ему некоторые данные для его статьи о разведении шропширской породы в Калифорнии и на северо-западе.

— Я бы вам не советовал возиться с отбором, — обратился Дик через несколько минут к Тэйеру. — Они все одинаково хороши, даже «самые лучшие». Вы можете целую неделю отбирать свои десять вагонов, и они будут такие же, как если бы выбрали подряд.

Спокойная уверенность Форреста в том, что сделка уже состоялась, и совершенно очевидный для Тэйера факт, что таких баранов он еще не видел, заставили его решиться, и он вместо десяти вагонов заказал двадцать.

Когда они вернулись в дом, Тэйер, доигрывая с Нэйсмитом партию на бильярде, прерванную осмотром баранов, сказал своему партнеру:

— Я первый раз у Форреста. Он волшебник. Я много раз покупал и ввозил скот из Восточных Штатов, но эти бараны пленили меня. Вы заметили, что я удвоил заказ? Мои клиенты в Айдахо прямо с ума сойдут от них. Мне было поручено закупить, говоря по совести, только шесть вагонов и прибавить еще два — по моему усмотрению. Но если каждый покупатель не удвоит своего заказа, увидев этих баранов, и если за оставшихся не поднимется форменная драка, то я в скоте ничего не понимаю. Они превосходны. И если эти бараны не вызовут переворота в Айдахо, значит, я не купец, а Форрест не скотовод.

Когда, призывая к завтраку, зазвонил большой бронзовый гонг, купленный Форрестом в Корее (в него били, только если было известно, что Паола не спит). Дик вышел в большой внутренний двор и присоединился к молодежи, собравшейся около фонтана с золотыми

рыбками. Берт Уэйнрайт, покорно следуя указаниям своей сестры Риты, а также Паолы и ее сестер. Льют и Эрнестины, пытался выловить сачком из бассейна необыкновенно красивую рыбку, похожую на золотистый цветок; ее размеры и цвет, а также плавники и хвост пленили Паолу, и она решила отсадить ее в особый бассейн в своем собственном внутреннем дворе.

Под оживленный смех, визг и споры редкостная рыба была наконец изловлена, посажена в банку и отдана итальянцу садовнику, который ее и унес.

— Ну, что ты можешь сказать в свое оправдание? — задорно спросила Эрнестина, когда Дик подошел к ним.

— Ничего, — ответил он уныло. — Имение пустеет.

Завтра триста восхитительных молодых бычков отбывают в Южную Америку, а Тэйер — вы видели его вчера вечером — увозит с собой двадцать вагонов баранов. Одно могу сказать: я поздравляю Айдахо и Чили с таким приобретением.

— Сажай побольше желудей, — рассмеялась Паола; она стояла, обняв своих двух сестер, и все три казались улыбающимися грациями.

— О Дик, спой твою песню про желудь, — попросила Льют.

Он покачал головой:

— Я знаю теперь песню, которая еще лучше. Но только она в божественном плане. Что в сравнении с ней и Багряное Облако и его песня! Слушайте! Маленькая девочка из беднейших кварталов Нью-Йорка первый раз попадает за город, вместе со своей воскресной школой. Она совсем маленькая. Обратите особое внимание на то, как она картавит:

В плуду-иглают жолотые лыбки,  
И волобей чиликает на ветке.  
Кто научил их плавать и чиликать?  
Кто птичкам лазукласил глудь?  
Господь, господь — он это сделал!

— Украдено, — заявила Эрнестина, когда смех наконец умолк.

— Конечно, — согласился Дик. — Я нашел ее в «Фермере и скотоводе», а эта газета перепечатала песенку из «Журнала свиновода», который взял ее у «Западного юриста», а «Западный юрист» взял ее из «Голоса общества», «Голос общества», бесспорно, получил ее от самой девочки или, вернее, от учителя воскресной школы. А поэтому, мне кажется, она должна была быть впервые напечатана в журнале «Наши



бессловесные животные».

Звуки гонга раздались вторично, и Паола, обняв одной рукой Риту, другой Форреста, направилась в дом, а Берт, шедший позади с Льют и Эрнестиной, показывал им на ходу новые на танго.

— Еще одно, Тэйер, — сказал Дик вполголоса, освободившись от дам, которые, встретив на лестнице в столовую уже поджидавших их Тэйера и Нэйсмита, поспешили вниз. — Прежде чем уехать, взгляните на мериносов. Я действительно могу похвастаться ими, и нашим американским овцеводам придется с ними ознакомиться. Начал я, конечно, с привозным скотом, но теперь добился особого калифорнийского вида. Французы прямо с ума сойдут. Возьмите-ка пяток в свой товарный поезд, и пусть ваши скотоводы полюбуются.

Они сели за стол, который, видимо, можно было раздвигать до бесконечности. Длинная и низкая столовая была точной копией со столовых мексиканских земельных королей старой Калифорнии. Пол состоял из больших коричневых плит, балки потолка и стены были выбелены, а огромный камин без всяких украшений мог служить образцом массивности и простоты. В окна с глубокими амбразами видны были деревья и цветы, и вся комната производила впечатление строгости, чистоты и свежести.

Стены украшало несколько картин, писанных масляными красками; на почетном месте висела работа Ксавье Мартинеса, в печальных сумеречных тонах: на ней был изображен пеон, проводивший борозду по бесконечной и унылой мексиканской равнине с помощью первобытной деревянной сохи и запряженных в нее двух волов. Здесь же висели и более красочные полотна из прежней мексикано-калифорнийской жизни: пастель Реймерса, с тонущими в сумерках эвкалиптами и далекой, тронутой закатом вершиной, пейзаж «При лунном свете» Петерса и «Летний день» Гриффина, где на первом плане желтело жнивье, а вдали тянулись мягкие, туманные очертания Калифорнийских гор с коричневатыми лесистыми ущельями, подернутыми лиловой дымкой.

— Знаете, что, — вполголоса обратился Тэйер к сидевшему рядом с ним Нэйсмиту, в то время как Дик острил и шутил с девицами, — вот вам богатый материал, если вы будете писать о Большом доме. Я видел столовую для прислуги. Там за стол садятся, считая садовников, шоферов и поденщиков, не меньше сорока человек. Настоящая гостиница. Чтобы все это наладить, нужна система, нужна голова. Поверьте мне, этот их китаец О-Пой — прямо маг и волшебник; он не то дворецкий, не то домоправитель. И вся жизнь в этом заведении — уж не знаю, как и назвать

его, — идет без сучка, без задоринки.

— Маг и волшебник сам Форрест, — сказал Нэйсмит. — Он умеет выбирать людей, у него светлая голова. Он мог бы командовать целой армией, править государством и даже... заведовать цирком с тремя аренами.

— Вот это действительно комплимент! — рассмеялся Тэйер.

— Знаешь, Паола, — обратился Дик через стол к жене, — я сейчас получил известие, что завтра утром здесь будет Грэхем. Скажи О-Пою, пусть поместит его в сторожевой башне. Там просторно, и, может быть, Грэхем выполнит свою угрозу и начнет работать над книгой.

— Грэхем... Грэхем... — стала припоминать Паола. — Я его знаю или нет?

— Ты встретила с ним раз, два года назад, в Сантьяго, в кафе «Венера». Он тогда обедал с нами.

— А-а, один из этих морских офицеров! Дик покачал головой.

— Штатский. Неужели ты не помнишь? Такой высокий блондин... Вы еще с ним полчаса говорили о музыке, а нам капитан Джойс изо всех сил доказывал, что Соединенные Штаты должны бронированным кулаком расправиться с Мексикой.

— Теперь, кажется, вспоминаю, — проговорила неуверенно Паола. — Ты с ним познакомился где-то в Южной Африке? Или на Филиппинских островах?..

— Вот, вот! В Южной Африке. Ивэн Грэхем. Вторая наша встреча произошла в Желтом море, на специальном судне «Таймса». А потом раз десять наши пути Пересекались, йо нам все как-то не удавалось встретиться, — до того вечера в кафе «Венера».

Помню, он отплыл из Бор-Бора на восток за два дня до того, как я там бросил якорь по пути на Самоа. Потом я покинул Апию с письмами для него от американского консула, а он явился туда через день. Затем мы разминулись на три дня в Левуке, — я плавал тогда на «Дикой утке», а он выехал из Сувы в качестве гостя на британском крейсере. Верховный британский комиссар Океании, сэр Эверард Им Турн, дал мне еще несколько писем для Грэхема. Я прозевал его в Порт Резолюшен и в Виле, на Новых Гебридах; они совершали на крейсере увеселительную поездку. Мы с ним все время играли в прятки в архипелаге Санта-Крус. То же самое повторилось на Соломоновых островах. Однажды вечером крейсер обстрелял несколько туземных деревень возле Ланга-Ланга, а утром отплыл. Я же прибыл туда после обеда. Так я тех писем ему из рук — в руки и не передал и увиделся с ним вторично только два года тому назад, в

кафе.

— Но кто он такой и что это за книга, которую он пишет? — спросила Паола.

— Ну, если начать с конца, то прежде всего он разорен, — то есть относительно: он получает несколько тысяч годового дохода, но все, что оставил ему отец, пошло прахом. Нет, не думай, не спустил: к сожалению, он влип во время этой «тихой паники», которая стольких погубила несколько лет тому назад. И потерял все. Но ничего, не жалуется.

Грэхем хорошего старинного рода, чистокровный американец, окончил Йейлский университет. А книга?.. Он думает, что она будет иметь успех. Он описывает в ней свое прошлогоднее путешествие через Южную Америку, от западного побережья к восточному. Это в значительной мере неизведанный край. Бразильское правительство по собственной инициативе предложило ему гонорар в десять тысяч долларов за доставленные им сведения о неисследованных областях страны. О, Грэхем — это человек. Настоящий мужчина. На него можно положиться. Знаешь этот тип: великодушный, сильный, простой, чистый сердцем; везде побывал, все видел, изведаль многое — и вместе с тем такой искренний, смотрит прямо в глаза. Ну — мужчина в лучшем смысле слова!

Эрнестина захлопала в ладоши и, бросив дразнящий, вызывающий и победоносный взгляд на Берта Уэйнрайта, воскликнула:

— И он завтра приезжает?

Дик с упрёком покачал головой.

— О нет, Эрнестина, тут ничего не выйдет. Многие милые девушки вроде тебя пытались поймать Ивэна Грэхема в свои сети. И — между нами — я их вполне понимаю. Но у него отличные легкие и длинные ноги, и никому еще не удавалось загнать его в угол, где бы он, ошалев и обессилев, наконец машинально пробормотал роковое «да» и опомнился бы только уже в плену, связанный по рукам и ногам, заклеянный и женатый. Забудь о своих намерениях, Эрнестина! Остайся верна золотой молодости, срывай ее золотые яблоки, делая при этом вид, что они тебя несколько не интересуют. А Грэхема оставь. Он почти одних лет со мной, он, как и я, бродил нехоженными дорогами и видал виды. И он умеет вовремя удрать. Он прошел огонь, и воду, и медные трубы. Он кроток, но неуловим. К тому же молодые девушки его не интересуют. Конечно, вы можете заподозрить его в моральной трусости, но я заверяю вас, что он просто закален жизнью, стар и очень мудр.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Где же мой мальчик? — кричал Дик, топая и звеня шпорами по всему Большому дому в поисках его маленькой хозяйки.

Наконец он дошел до двери, которая вела во флигель Паолы.

Это была тяжелая, крытая панелью дверь в такой же крытой панелью стене. У нее не было ручки, но Дик, знавший секрет, нажал пружинку, и дверь распахнулась.

— Где мой мальчик? — крикнул он опять и затопал по длинному коридору.

Он заглянул в ванную с вделанным в пол римским бассейном и мраморными ступеньками, затем в гардеробную и в будуар — но все напрасно. По широким ступеням он поднялся к любимому дивану Паолы в оконной амбразуре ее спальни, прозванной ею «Башней Джульетты», и улыбнулся при виде изящных и воздушных кружевных принадлежностей дамского туалета, которые она, по обыкновению, тут разбросала, ибо их созерцание доставляло ей особое, чувственное удовольствие. На миг он остановился перед мольбертом и посмотрел на этюд. Готовый сорваться с его губ возглас недоумения сменился довольной усмешкой, когда он узнал в беглом наброске очертания неуклюжего голенастого жеребенка, с отчаянием призывающего мать.

— Да где же мой мальчик? — крикнул он уже у двери спальни веранды; там оказалась только китаянка, скромная женщина лет тридцати, которая, приподняв брови, смущенно и растерянно ему улыбнулась.

Это была горничная Паолы, Ой-Ли, названная так Диком много лет назад, потому что она постоянно поднимала тонкие брови и лицо ее всегда казалось удивленным, точно она восклицала: «Ой ли?» Дик взял ее к Паоле почти девочкой из рыбацкой деревушки на берегу Желтого моря, где ее мать, потеряв мужа, едва перебивалась тем, что плела сети для рыбаков и зарабатывала, когда год был удачный, до четырех долларов. Ой-Ли поступила к Паоле, когда та плавала на трехмачтовой шхуне «Все забудь», а О-Пой, еще служивший юнгой, стал выказывать ту сообразительность, благодаря которой сделался через несколько лет дворецким Большого дома.

— Где ваша госпожа, Ой-Ли?

Ой-Ли испуганно отпрянула, охваченная неодолимой застенчивостью. Дик подождал.

— Может быть, она с молодыми барышнями? Я не знаю, —

пролепетала служанка.

Дик из жалости отвернулся и пошел к двери.

— Где мой мальчик? — кричал он, проходя под воротами как раз в ту минуту, когда, огибая кусты сирени, подъехал лимузин.

— Черт меня побери, если я знаю, — ответил сидевший в машине высокий белокурый человек в светлом летнем костюме; и через мгновение Дик Форрест и Ивэн Грэхем пожимали друг другу руки.

О-Дай и О-Хо внесли ручной багаж, и Дик проводил своего гостя в приготовленное для него помещение в так называемой «Башне».

— Вам придется еще попривыкнуть к нашим порядкам, дружище, — говорил Дик. — Жизнь у нас здесь идет по часам, и прислуга образцовая; но себе мы разрешаем всякие вольности. Если бы вы приехали на две минуты позже, вас встретили бы только наши китайские слуги: я намеревался выехать верхом, а Паола — миссис Форрест — уже куда-то исчезла.

Грэхем был почти одного роста с Фор ростом, может быть, выше на какой-нибудь дюйм, но зато уже в плечах и груди и волосы светлее; глаза у обоих были почти одинаковые — серые, с голубоватым белком, и лица их покрывал одинаковый здоровый бронзовый загар. Черты лица у Грэхема казались несколько крупнее, чем у Форреста, разрез глаз чуть удлиннее, что, однако, скрадывалось более тяжелыми веками. И нос его был как будто прямее и крупнее, чем у Дика, и губы алее и точно слегка припухли.

Волосы Форреста были ровного светло-каштанового оттенка, а волосы Грэхема, без сомнения, отливали бы золотом, если бы они так не выгорели на солнце, что казались песочного цвета. Скулы у обоих слегка выступали, но впадины на щеках у Форреста обозначались резче; носы были с широкими нервными ноздрями, рты крупные, по-женски красивые и чисто очерченные; вместе с тем в них чувствовались затаенная сила воли и суровость, так же как и в крепких, крутых подбородках.

Но чуть более высокий рост и менее широкая грудь и плечи придавали фигуре и движениям Грэхема ту стройность и гибкость, которых не хватало Дику Форресту. Благодаря особенностям своей внешности каждый только выигрывал от присутствия другого. Грэхем был светел и легок, в нем таилось неуловимое обаяние, что-то от сказочного принца. Форрест производил впечатление более сильного и сурового человека, чем Грэхем, более опасного для других, более крепкой хватки.

Взгляд Форреста бегло скользнул по циферблату часов на руке. Этот взгляд как бы на лету отметил время.

— Одиннадцать тридцать, — сказал Дик. — Поедьте сейчас со мной,

Грэхем, мы ведь завтракаем не раньше половины первого! Я отправляю партию быков, целых триста голов, и, должен сознаться, очень горжусь ими. Вы непременно должны взглянуть на них. Это ничего, что вы не одеты для верховой езды. О-Хо, принеси-ка пару моих краг; а ты. О-Пой, прикажи оседлать Альтадену. Какое седло вы предпочитаете, Грэхем?

— Все равно, дружище!

— Английское? Австралийское? Мексиканское? Шотландское? — настаивал Дик.

— Тогда шотландское, если это не сложно, — сказал Грэхем.

Они стали со своими лошадьми на краю дороги, пропуская мимо себя все стадо, начинавшее далекое путешествие в Чили, и следили за быками, пока те не скрылись за поворотом дороги.

— Я теперь вижу, насколько замечательно то, что вы делаете! — воскликнул Грэхем, и глаза его блеснули. — В молодости я и сам, когда был в Аргентине, увлекался скотоводством. Если бы я начал дело с быками таких кровей, я, может быть, и не прогорел бы.

— Но тогда ведь еще не мыло ни люцерны, ни артезианских колодцев, — сказал Дик, стараясь его утешить. — Шортхорны там не выжили бы. Засуху выдерживает только мелкий скот. Он обладает достаточной силой, но легок на вес. Пароходов с холодильниками тоже еще не существовало. А это изобретение, конечно, вызвало в скотоводстве целую революцию.

— Кроме того, я был еще очень молод, — добавил Грэхем. — Хотя это, конечно, не всегда имеет значение.

Одновременно со мной начал дело некий молодой немец, и притом имея приблизительно одну десятую моего капитала. Он выдержал и годы засухи и все неудачи. Теперь он миллионер, его состояние выражается в семизначных числах.

Они повернули к Большому дому, и Дик снова взглянул на часы.

— Времени еще пропасть, — сказал он. — Я рад, что вы видели моих годовалых бычков. А знаете, почему этот немчик выдержал: у него не было другого выхода. А вас ожидали отцовские деньги, и хотелось пошляться по свету, причем ваш главный минус заключается в том, что у вас были средства, чтобы этот зуд унять...

— Вон там, — Дик кивнул вправо, указывая рукой на что-то, еще скрытое зарослями сирени, — там рыбные пруды, и вы можете наловить сколько угодно форели, морских окуней и даже морских котов. У каждой породы свои садки. Видите, какой я скопидом: люблю, чтобы все работало. Пусть вводят восьмичасовой рабочий день, может быть, это и правильно,

но вода у меня работает двадцать четыре часа. Вода начинает свою работу уже в горах. Сначала она орошает горные луга, потом сбегает в долину и, пройдя несколько миль, очищается до кристальной чистоты; водопад же, образующийся при ее падении с гор, дает половину всей энергии, нужной для ирригации, и полностью обеспечивает нас светом. Затем вода разделяется, течет по каналам в пруды и, вытекая оттуда, орошает площадь в несколько миль, засеянную люцерной. И поверьте, если бы она потом не разливалась по долине реки Сакраменто, я бы опять воспользовался ею для орошения.

— Ах, голубчик, голубчик, — смеясь, сказал Грэхем, — да вы могли бы написать целую поэму о чудесах, которые совершает вода. Я встречал огнепоклонников, но теперь я впервые вижу водопоклонника. И живете вы не на песках, а на водах, — простите мне неудачный каламбур...

Грэхему не пришлось досказать свою мысль до конца. Справа, неподалеку от них, раздался звонкий стук копыт, затем оглушительный всплеск воды, возгласы и взрыв женского смеха. Однако смех быстро оборвался, раздались тревожные крики, сопровождаемые таким фырканием и барахтаньем, точно тонуло какое-то чудовище. Дик наклонил голову и заставил лошадь проскочить сквозь заросли сирени, Грэхем на своей Альтадене последовал за ним. Они выехали на залитую ярким солнцем лужайку, и Грэхему открылось необыкновенное зрелище.

Середину обсаженной деревьями лужайки занимал большой квадратный бетонированный бассейн. Один его конец, служивший водосливом, был широк и отлог, и на нем, мягко поблескивая, плескалась струя. Боковые стены были отвесны. Другой конец был тоже пологий и слегка рифленый для упора. И тут, охваченный ужасом, то приседая, то выпрямляясь, стоял ковбой в кожаных штанах и растерянно восклицал с мольбой и отчаянием: «Господи! Господи!»

Против него, на дальнем конце бассейна, сидели, свесив ноги, три испуганные нимфы в купальных костюмах.

В самом бассейне, как раз посередине, огромный гнедой жеребец, мокрый и блестящий, взвившись на дыбы, бил над водой копытами, и мокрая сталь подков блестела в солнечных лучах. А на его хребте, соскальзывая и едва держась, белела фигура, которую Грэхем в первую минуту принял за прекрасного юношу. И только когда жеребец, вдруг опустившийся в воду, снова вынырнул благодаря мощным ударам своих копыт, Грэхем понял, что на нем сидит женщина в белом шелковом купальном костюме, облегавшем ее так плотно, что она казалась изваянной из мрамора. Мраморной казалась ее спина, и только тонкие крепкие мышцы, натягивая шелк, извивались и двигались при ее усилиях держать

голову над водой. Ее стройные руки зарылись в длинные пряди намокшей лошадиной гривы, белые округлые колени скользили по атласному мокрому крупу, а пальцами белых ног она сжимала мягкие бока животного, тщетно стараясь опереться на его ребра.

В одно мгновение — нет, в полмгновения — Грэхем охватил взглядом представившееся, его глазам зрелище, понял, что сказочное существо — женщина, и удивился миниатюрности и нежности всей ее фигурки, делавшей столь героические усилия. Она напомнила ему статуэтку дрезденского фарфора, легкую и хрупкую, попавшую в силу какой-то нелепой случайности на спину тонущего чудовища; в сравнении с огромным жеребцом она казалась крошечным созданием, маленькой феей из волшебной сказки.

Когда она, чтобы не сползти со спины жеребца, прижалась щекой к его выгнутой шее, ее распустившиеся мокрые золотисто-каштановые волосы переплелись и смешались с его черной гривой. Но больше всего поразило Грэхема ее лицо: это было лицо мальчика-подростка — и лицо женщины, серьезное и вместе с тем возбужденное и довольное игрой с опасностью; это было лицо белой женщины, притом очень современной, и все же оно показалось Грэхему языческим. Такие женщины, да и такие положения едва ли встречаются в двадцатом веке. Сцена была словно выхвачена из жизни Древней Греции — и вместе с тем напоминала иллюстрации к сказкам «Тысячи и одной ночи». Казалось, вот-вот из взбаламученных глубин и вынырнут джинны или с голубых небес спустятся на крылатых драконах сказочные принцы, чтобы спасти смелую всадницу.

Жеребец снова поднялся над поверхностью и опять погрузился в воду, едва не перевернувшись на спину. Чудесное животное и чудесная всадница исчезли под водой и через секунду вынырнули опять, жеребец вновь забил в воздухе копытами величиной с тарелку, а всадница все еще сидела на нем, прильнув к гладкой мускулистой спине животного. У Грэхема замерло сердце, когда он на миг представил себе, что случилось бы, если бы жеребец перевернулся. Случайным ударом одного из своих могучих копыт он мог навеки погасить огонь жизни, сверкавший в этой великолепной и легкой, ослепительно белой женщине.

— Пересядь к нему на шею! — крикнул Дик. — Схвати его за холку и ляжь на шею, пока он не выплывет!

Она послушалась: упершись пальцами ног в ускользающие мышцы его шеи, она мгновенным усилием подбросила свое тело, вцепилась одной рукой в гриву, протянула другую между ушами лошади, схватилась за холку и опустилась на его шею; а когда жеребец при перемещении тяжести



выпрямился в воде и опустил копыта, она заняла прежнее положение. Все еще держась одной рукой за гриву, она подняла другую и, помахав ею, послала Форресту приветственную улыбку. Эта женщина, как отметил про себя Грэхем, несмотря на грозившую ей опасность, настолько сохраняла хладнокровие, что успела заметить и гостя, чья лошадь стояла рядом с лошадью Форреста. Кроме того, Грэхем почувствовал, что в повороте ее головы и простертой вперед руке, которой она помахивала, было не только бравоирование опасностью; чутье художницы подсказало ей, что эта поза и жест — необходимая часть всей картины, а главное, что они — выражение той жизнерадостности и отваги, которые пронизывали все ее существо.

— Немногие женщины способны на такую проделку, — спокойно заметил Дик, следя взглядом за Горцем, который, сохраняя горизонтальное положение, теперь легко подплыл к более низкому краю бассейна и вскарабкался по его рифленой поверхности навстречу растерявшемуся ковбою.

Тот быстро надел на Горца мундштук, но Паола, все еще сидевшая на лошади, властно взяла из рук ковбоя уздечку, круто повернула Горца к Форресту и приветствовала его.

— А теперь вам придется уехать, — крикнула она. — Посторонней публике здесь не место! Остаются одни женщины!

Дик засмеялся, поклонился и опять через заросли сирени выбрался вместе с Грэхемом на дорогу.

— Кто... кто это? — спросил Грэхем.

— Паола, миссис Форрест, женщина-мальчик, вечное дитя и вместе с тем очаровательная женщина, своевольное облачко розовой пыли...

— У меня даже дух захватило, — сказал Грэхем. — Здесь часто дают такие представления?

— Эту штуку она затеяла впервые, — отозвался Форрест. — Она сидела на Горце и съехала на нем, как на санках, по спуску в бассейн, но санки-то весят две тысячи двести сорок фунтов.

— Рисковала и себе и ему сломать шею, — заметил Грэхем.

— Да, его шея оценена в тридцать тысяч долларов, — улыбнулся Дик. — Эту сумму мне предлагал в прошлом году некий союз коннозаводчиков, после того как Горец взял на побережье Тихого океана все призы за резвость и красоту. А Паола каждый день рискует сломать себе шею; и если бы это стоило каждый раз тридцать тысяч, она разорила бы меня, — но с ней никогда ничего не случается.

— Однако сейчас опасность была очень велика: ведь Жеребец мог опрокинуться на спину.

— А вот все-таки не опрокинулся, — возразил Дик спокойно. — Паоле всегда везет. Она точно заговоренная. Однажды она угодила со мной под артиллерийский обстрел — и была потом разочарована, что ни один наряд в нее не попал, не убил и даже не ранил. Четыре батареи на расстоянии мили открыли огонь, нам Предстояло пройти полмили по гребню холма до ближайшего укрытия. Я даже рассердился, что она, будто нарочно задерживает шаг. И она созналась, что, пожалуй, да — чуточку. Мы женаты уже десять — двенадцать лет, но, как ни странно, мне и теперь кажется, что я совсем ее не знаю, и никто ее не знает, да и она сама себя не знает, — так иногда смотришь на себя в зеркало и думаешь: что за черт, кто это смотрит на тебя? У нас с Паолой есть такая магическая формула: «Не стой за ценой, коли вещь тебе нравится». И все равно, чем платить — долларами или собственной шкурой. Так мы и живем, это наше правило. И знаете: судьба еще ни разу нас не надула.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В столовой собрались одни мужчины. Дамы, по словам Форреста, решили завтракать у себя.

— Думаю, что вы не увидите никого из них до четырех часов, — сказал Дик, — а в четыре Эрнестина, одна из сестер моей жены, постарается обыграть меня в теннис; так она по крайней мере мне заявила.

Во время завтрака, на котором присутствовали одни мужчины, Грэхем, участвуя в разговоре о скоте и скотоводстве, узнал много нового, да и сам поделился частицей своего опыта, но никак не мог отогнать неотразимое видение прелестной белой фигурки, прильнувшей к темной мокрой спине плывущего жеребца. И все последующие часы, когда он осматривал премированных мериносов и беркширских поросят, этот образ неотступно продолжал жечь ему веки. Даже когда в четыре часа начался теннис и Грэхем играл против Эрнестины, он мазал не раз, так как летящий мяч вдруг заслоняла все та же картина: белая женская фигура на спине великолепной лошади.

Хотя Грэхем родился не в Калифорнии, он отлично знал ее обычаи, ибо сроднился с ней, — и потому нисколько не удивился, когда за обедом женщины, которых он видел в купальных костюмах, оказались в вечерних туалетах, а мужчины — в своем более или менее обычном виде; он и сам предусмотрительно последовал их примеру и, невзирая на роскошь и элегантность жизни в Большом доме, оделся скромно и просто.

Между первым и вторым зовом гонга все гости перешли в длинную столовую. Сейчас же после второго явился Форрест и потребовал коктейли. Грэхем с нетерпением ожидал появления той, чей образ стоял перед ним с утра. Вместе с тем он приготовился и к возможным разочарованиям: слишком часто видел он, как много теряют атлеты и борцы, скованные обычным платьем; и теперь, когда сказочное существо, пленившее его в белом шелковом трико, должно было появиться в модном туалете современной женщины, он не ждал от этого зрелища ничего особенного.

Но она вошла, и у Грэхема захватило дух. На миг она остановилась под аркой двери, выделяясь на черном фоне, озаренная падавшим на нее спереди мягким светом. От удивления Грэхем невольно раскрыл рот, ошеломленный ее красотой, пораженный превращением этого эльфа, этой маленькой феи в прелестную женщину. Перед ним была теперь не фея, не ребенок и не мальчик верхом на лошади, а светская женщина с той

благородной осанкой, какую нередко умеют придать себе именно маленькие женщины.

Она была несколько выше ростом, чем показалась ему в воде, но и в вечернем туалете поражала той же стройностью и пропорциональностью сложения. Он отметил золотисто-каштановый цвет ее высоко зачесанных волос, здоровую белизну упругой чистой кожи, как бы созданную для пения лебединую шею, переходившую в красивую грудь, и наконец ее платье жемчужноглубого цвета и какого-то средневекового покроя, — оно обтягивало ее стан, широкие рукава спадали свободными складками, отделкой служила кайма из золотой вышивки с драгоценными камнями.

Паола улыбнулась гостям в ответ на их приветствия, и Грэхему эта улыбка напомнила ту, которую он видел на ее лице утром, когда она сидела верхом на жеребце. Она подошла к столу, и он не мог не восхититься той неподражаемой грацией, с какой ее стройные колени приподнимали тяжелые складки платья, — те самые округлые колени, которыми она отчаянно сжимала мускулистые бока Горца. Грэхем заметил, что на ней нет корсета, — да она и не нуждалась в нем. И в то время как она шла через всю комнату к столу, он видел перед собой двух женщин: одну — светскую даму и хозяйку Большого дома, другую — восхитительную статуэтку всадницы, хоть и скрытую под этим голубоватым с золотом платьем, но забыть которую не могли его заставить никакие одежды и покровы.

И вот она была здесь, среди своих домашних и гостей; ее рука на мгновение коснулась его руки, когда Форрест представил его, и она сказала ему свое «добро пожаловать» таким певучим голосом, который мог родиться только в недрах этого горла и этой высокой, несмотря на общую миниатюрность, груди.

Сидя за столом наискось от нее, Грэхем невольно втайне наблюдал за ней. Хотя он участвовал в общем шутовском и веселом разговоре, но его взоры и его мысли были заняты только хозяйкой.

Не часто приходилось Грэхему сидеть за столом в такой странной и пестрой компании. Покупатель овец и корреспондент «Газеты скотовода» все еще находились здесь. Перед самым обедом на трех машинах приехала компания мужчин, дам и девиц — всего четырнадцать человек: они предполагали пробыть до вечера, чтобы возвращаться верхом при луне.

Их имен Грэхем не запомнил, но понял из разговора, что они приехали за тридцать миль, из городка Уикенберга, расположенного в долине, — по-видимому, какие-то местные банковские служащие, врачи и богатые фермеры. Гости были чрезвычайно веселы, жизнерадостны и сыпали шутками и новейшими анекдотами на самом модном жаргоне.

— В одном я убедился, — сказал Грэхем, обращаясь к Паоле, — если ваш дом всегда служит караван-сараем, то мне и пытаться нечего запомнить имена и лица всех, с кем я знакомлюсь.

— Я вас понимаю, — засмеялась она в ответ. — Но ведь это соседи. Они могут заехать в любое время. Вон та дама, рядом с Диком, миссис Уатсон, принадлежит к старой местной аристократии. Ее дед Уикен перешел через Сьерру в тысяча восемьсот сорок шестом году, и Уикенберг назван по его имени. А хорошенькая черноглазая девушка — ее дочь...

Паола давала ему краткие характеристики гостей, но Грэхем, неотступно занятый тем, чтобы разгадать это обаятельное существо, не слышал и половины того, что она говорила. Сначала он подумал, что основная ее черта — естественность; через минуту решил, что жизнерадостность. Но ни то, ни, другое определение не удовлетворило его, — нет, не в этом дело! И вдруг его осенило: гордость! Основное в ней — гордость. Гордость была в ее глазах, в посадке головы, в нежных завитках волос, в трепете тонко очерченных ноздрей, в подвижных губах, в форме круглого подбородка, в маленьких сильных руках с голубыми жилками, в которых можно было сразу узнать руки пианистки, проводящей много часов за роялем. Да, гордость! В каждой мышце, в каждой линии, в каждом жесте — непоколебимая, настороженная, жгучая гордость.

Паола могла быть радостной и непринужденной, женственно-нежной и мальчишески-зазорной, готовой на всякую шалость; но гордость жила в ней всегда — трепетная, неистребимая, неискоренимая гордость, она как бы лежала в основе всего ее существа. Паола была демократкой, открытой, искренней и честной женщиной, прямой, без предрассудков, и ни в каком случае не безвольной игрушкой. Минутами в ней точно вспыхивало что-то подобное блеску стали — драгоценной, чудесной стали. Она производила впечатление силы, но в ее самых изощренных и сдержанных формах! И он связывал образ Паолы с представлением о серебряной струне, о тонкой дорогой коже, о шелковистой сетке из девичьих волос, какие плетут на Маркизских островах, о перламутровой раковине или наконечнике из слоновой кости на дротиках эскимосов.

— Хорошо, Аарон, — донесся сквозь общий говор голос Дика с другого конца стола. — Вот кое-что специально для вас, поразмыслите-ка. Филипп Брукс говорит: «Истинно великий человек всегда в какой-то мере чувствует, что его жизнь принадлежит его народу и что все данное ему богом дано не только ему, но через него всему человечеству».

— С каких это пор вы верите в бога? — отозвался с добродушной насмешкой тот, кого Форрест назвал Дароном. Это был стройный,

узколицый, смуглый человек с блестящими глазами и черной, как уголь, длинной бородой.

— Не знаю, хоть убейте, — отозвался Дик. — Все равно, берите мои слова иносказательно, называйте это, как хотите, — Моралью, Добром, Эволюцией.

— Чтобы быть великим, вовсе не нужно мыслить по законам логики, — вмешался в разговор тихий длиннолицый ирландец с потертыми рукавами, — наоборот, очень многие люди, мыслившие весьма логично о жизни и о вселенной, так и не стали великими.

— Bravo, Терренс! — похлопал ему Дик.

— Все дело в том, какой смысл мы вкладываем в это понятие, — медленно проговорил еще один из гостей, несомненно индус, крошивший хлеб маленькими, необычайно изящными руками, — что мы разумеем под словом «великий».

— Не сказать ли вместо «бога» «красота»? — нервно и застенчиво спросил юноша с трагическим выражением лица и растрепанной шевелюрой.

Вдруг Эрнестина поднялась со своего места, оперлась руками о стол и, приняв позу оратора, наклонилась вперед и с притворной горячностью воскликнула:

— Ну вот, опять! Опять в тысячный раз вывернут вселенную наизнанку! Теодор, — обратилась она к юному поэту, — что же вы, язык проглотили? Примите участие в споре. Оседлайте своего конька Эона, может быть, он довезет вас скорее других.

Раздался взрыв смеха, и бедный, смущенный поэт стушевался и спрятался в свою раковину.

Эрнестина повернулась к чернобородому.

— Нет, "Аарон, сегодня он не в форме. Начните вы. Вы уж знаете, что надо. «Как остроумно выразился Бергсон, с присущей ему точностью и меткостью философских определений, соединенных с обширным интеллектуальным кругозором...»

Раздался новый взрыв смеха, заглушивший и конец речи Эрнестины и шутливый ответ чернобородого.

— Нашим философам сегодня не удастся сразиться, — сказала вполголоса Паола Грэхему.

— Философам? — удивился он. — Разве они не из уикенбергской компании? Кто же и что они? Я ничего не понимаю.

— Они... — начала Паола нерешительно. — Они здесь живут и называют себя «лесными птицами». В нескольких милях отсюда у них в

лесу свой лагерь, там они только и делают, что читают и спорят. Держу пари, что вы найдете у них штук пятьдесят книг из библиотеки Дика, которые еще не успели попасть в каталог. Они ведают нашей библиотекой и снуют туда и сюда днем и ночью с охапками книг, а также с последними номерами журналов. Дик уверяет, что благодаря им у него теперь самое полное собрание современной философской литературы на Тихоокеанском побережье. Они как бы переваривают для него весь этот материал... Это очень его занимает, да и время ему экономит. Он ведь, знаете, ужасно много работает...

— Насколько я понимаю, они... то есть Дик содержит их? — спросил Грэхем, с тайным удовольствием глядя прямо в эти голубые глаза, с такой прямокой смотревшие ему в глаза.

Слушая ее ответы, он заметил легчайший бронзовый отблеск (может быть, игра света) на ее длинных темных ресницах. Затем невольно перевел взгляд на брови, тоже темные, точно нарисованные; оказалось, что и в них есть бронзовые отливы. А в ее высоко зачесанных золотисто-каштановых волосах бронза поблескивала уже совершенно явственно. Каждый раз, когда милая улыбка оживляла ее лицо, и вспыхивали глаза и зубы, они ослепляли его, рождая особое волнение. Это не была та сдержанная и загадочная усмешка, которую он видел у стольких женщин. Когда улыбалась Паола, то улыбалась совершенно свободно, щедро, радостно, вкладывая в эту улыбку все богатство своей натуры и все те мысли, которые жили в ее хорошенькой головке.

— Да, — продолжала она. — Пока они здесь, им нечего заботиться о куске хлеба. Дик очень великодушен; это почти безнравственно — поощрять праздность такого рода людей. Если вы не разберетесь во всем и до конца не поймете нас, вам многое будет казаться здесь очень чудным. А они... они вроде придатка какого-то и уж, конечно, останутся с нами, пока мы их не похороним или они нас. Время от времени один из них исчезает. Как кошки, знаете. И Дику стоит иногда больших денег и трудов разыскать беглеца и вернуть его. Вот, например, Терренс Мак-Фейн, он анархист-эпикурец, если вы знаете, что это такое. Он мухи не убьет. У него есть кошка — я ему подарила — чистейшей персидской породы, совсем голубая, и он старательно вылавливает у нее блох, но так, чтобы, боже сохрани, не причинить им вреда, потом сажает их в склянку и выпускает в лесу во время своих долгих прогулок, когда он устает от людей и уходит общаться с природой.

В прошлом году у него вдруг появился пунктик: происхождение азбуки. И он отправился в Египет, конечно, без гроша в кармане, чтобы

докопаться до истоков алфавита на самой его родине и таким образом найти формулу, объясняющую космос. Добрался пешком до Денвера, вмешался в уличную демонстрацию ИРМ<sup>[5]</sup>, требовавшую свободы слова или чего-то в этом роде, и попал в тюрьму. Дику пришлось нанимать адвоката, платить всякие штрафы — словом, приложить очень много усилий, чтобы вызволить его и вернуть домой.

А бородатый — это Аарон Хэнкок. Как и Терренс, он ни за что не станет работать. Он южанин и говорит, что у них в роду никто не работал, а на свете всегда найдется достаточно крестьян и дураков, которых от работы не оторвешь. Поэтому он и бороду носит. Бриться, по его мнению, совершенно лишнее занятие, а значит — и безнравственное. Помню, как он свалился на нас с Диком в Мельбурне... какой-то неистовый бронзовый человек прямо из австралийских зарослей. Он будто бы производил там какие-то самостоятельные исследования не то по антропологии, не то по фольклору. Дик знал Аарона в Париже и заверил его, что, если он вернется в Америку, пища и кров будут ему обеспечены. И вот он здесь.

— А поэт? — спросил Грэхем, радуясь возможности продолжить с ней разговор и следить за играющей на ее лице улыбкой.

— А-а... Тео, или Теодор Мэлкен, хотя мы все зовем его Лео. Он тоже отрицает труд. Он из старинной калифорнийской семьи, его родные страшно богаты; но они отреклись от него, а он от них, когда ему было лет пятнадцать. Они считают его сумасшедшим, он же уверяет, что они могут свести с ума кого угодно. Он и в самом деле пишет замечательные стихи — когда пишет; но он предпочитает мечтать и жить в лесу с Терренсом и Аароном. Он давал уроки приезжим евреям в СанФранциско, откуда Терренс и Аарон и вызволили его, или забрали в плен, — уж не знаю, что вернее. Он у нас два года и, как ни странно, очень поправился за это время. Дик щедр до нелепости и посылает им много припасов; однако они предпочитают разговаривать, читать или грезить, чем стряпать. Они только и обедают по-настоящему, когда сваливаются на нас, как сегодня.

— А тот индус кто?

— Это Дар-Хиал, их гость. Они пригласили его, так же как вначале Аарон пригласил Терренса, а потом оба пригласили Лео. Дик рассчитывает на то, что со временем должны появиться еще трое, и тогда у него будут свои «семь мудрецов» из «Мадроньевой рощи». Дело в том, что их лагерь расположен в роще земляничных деревьев. Это очень красивое место — каньон, где множество родников... Да, я ведь вам начала рассказывать про индуса. Он своего рода революционер. Учился и в наших университетах, и в Швейцарии, Италии, Франции; был в Индии политическим деятелем и



бежал оттуда, а теперь у него два пунктика: первый — новая синтетическая философия, второй — освобождение Индии от тирании англичан. Он проповедует индивидуальный террор и восстание масс. Вот почему здесь, в Калифорнии, запретили его газету «Кадар», или «Бадар», не знаю, и чуть не выслали его из штата; и вот почему он сейчас посвятил себя целиком философии и ищет формулировок для своей системы.

Они с Аароном отчаянно спорят, — впрочем, только на философские темы. Ну вот, — Паола вздохнула и тотчас улыбнулась своей прелестной улыбкой, — теперь я вам, кажется, все рассказала, и вы со всеми знакомы. Да, на случай, если вы сойдетесь поближе с нашими «мудрецами», особенно если встретитесь с ними в их холостой компании, имейте в виду, что ДарХиал — абсолютный трезвенник; Теодор Мэлкен иногда в поэтическом экстазе напивается, причем пьянеет от одного коктейля; Аарон Хэнкок — большой знаток по части спиртного, а Терренс Мак-Фейн, наоборот, в винах ничего не смыслит, но в тех случаях, когда девяносто девять мужчин из ста свалятся под стол, он будет все так же ясно и последовательно излагать свой эпикурейский анархизм.

В течение обеда Грэхем заметил, что «мудрецы» называют хозяина по имени, Паолу же неизменно «миссис Форрест», хотя она и звала их по именам. И это казалось вполне естественным. Эти люди, почитавшие в мире весьма немногое — они не уважали даже труд, — бессознательно чувствовали в жене Форреста какое-то превосходство, и называть ее просто по имени было для них невозможно. Грэхем вскоре убедился, что у Паолы действительно особая манера держаться и что самый непринужденный демократизм сочетается в ней с не менее естественной недостижимостью принцессы.

То же он заметил и после обеда, когда общество сошлось в большой комнате, заменявшей гостиную. Паола позволяла себе смелые выходки, и никто не удивлялся, словно так и быть должно. Пока общество размещалось и усаживалось, ей сразу удалось всех оживить и превзойти своей веселостью. То здесь, то там звенел ее смех. И этот смех очаровывал Грэхема. В нем была особая трепетная певучесть, которая отличала его от смеха всех других женщин, он никогда такого не слышал. Из-за этого смеха он вдруг потерял нить разговора с молодым мистером Уомболдом, утверждавшим, что Калифорния нуждается не в законе об изгнании японцев, а в законе о ввозе по крайней мере двухсот тысяч японских кули и в отмене восьмичасового рабочего дня для сельскохозяйственных рабочих. Молодой Уомболд был, насколько понял Грэхем, потомственным крупным землевладельцем в Уикенбергском округе и хвастался тем, что он не

поддается духу времени и не превращается в помещика только по названию. Возле рояля, вокруг Эдди Мэзон, столпилась молодежь, оттуда доносилась синкопированная музыка и обрывки модных песенок. Терренс Мак-Фейн и Аарон Хэнкок завели яростный спор о футуристической музыке. Грэхема избавил от японского вопроса Дар-Хиал, провозгласивший, что «Азия для азиатов, а Калифорния для калифорнийцев».

Вдруг Паола, шаловливо подобрав юбки, пробежала по комнате, спасаясь от Дика, и была настигнута им в ту минуту, когда пыталась спрятаться за группу гостей, собравшихся вокруг Уомболда.

— Вот злюка! — упрекнул ее Дик с притворным гневом; а через минуту уже вместе с ней упрасивал индуса, чтобы тот протанцевал танго.

И Дар-Хиал наконец уступил, забыв Азию и азиатов, и исполнил, вывертывая руки и ноги, пародию на танго, назвав эту импровизацию «циническим апофеозом современных танцев».

— А теперь. Багряное Облако, спой мистеру Грэхему свою песенку про желудь, — приказала Паола.

Форрест, все еще обнимавший Паолу за талию, чтобы предупредить наказание, которое ему угрожало, мрачно покачал головой.

— Песнь о желуде! — крикнула Эрнестина из-за рояля; и ее требование подхватили Эдди Мэзон и остальные девушки.

— Ну, пожалуйста. Дик, спой, — настаивала Паола, — мистер Грэхем ведь еще не слышал ее.

Дик опять покачал головой.

— Тогда спой ему песню о золотой рыбке.

— Я спою ему песнь нашего Горца, — упрямо заявил Дик, и в глазах его блеснуло лукавство; он затопал ногами, сделал вид, что встает на дыбы, заржал, довольно удачно подражая жеребцу, потряс воображаемой гривой и начал: — «Внемлите! Я — Эрос! Я попираю холмы!..»

— Нет. Песнь о желуде! — тут же спокойно прервала его Паола, причем в звуке ее голоса чуть зазвенела сталь.

Дик послушно прекратил песнь Горца, но все же замотал головой, как упрямый ребенок.

— Ну хорошо, я знаю новую песню, — заявил он торжественно. — Она о нас с тобой, Паола. Меня научили ей нищинами.

— Нищинами — это вымершие первобытные племена Калифорнии, — быстро проговорила, обернувшись к Грэхему, Паола.

Дик сделал несколько па, не сгибая колен, как танцуют индейцы, хлопнул себя ладонями по бедрам и, не отпуская жену, начал новую песню.

— «Я — Ай-Кут, первый человек из племени нишинамов. Ай-Кут — сокращенное Адам. Отцом мне был койот, матерью — луна. А это Йо-то-то-ви, моя жена, первая женщина из племени нишинамов. Отцом ей был кузнечик, а матерью — мексиканская дикая кошка. После моих они были самыми лучшими родителями. Койот очень мудр, а луна очень стара: но никто не слышал ничего хорошего про кузнечика и дикую кошку. Нишинамы правы всегда. Должно быть, матерью всех женщин была дикая кошка — маленькая, мудрая, грустная и хитрая кошка с полосатым хвостом».

На этом песня о первых мужчине и женщине прервалась, так как женщины возмутились, а мужчины шумно выразили свое одобрение.

— «Йо-то-то-ви — сокращенное Ева, — запел Дик опять, грубо прижав к себе Паолу и изображая дикаря. — Йо-то-то-ви у меня невелика. Но не браните ее за это. Виноваты кузнечик и дикая кошка. Я — Ай-Кут, первый человек, не браните меня за мой дурной вкус. Я был первым мужчиной и увидел ее — первую женщину. Когда выбора нет, берешь то, что есть. Так было с Адамом, — он выбрал Еву! Йо-то-то-ви была для меня единственной женщиной на свете, — и я выбрал Йо-тото-ви».

Ивэн Грэхем, прислушиваясь к этой песне и не сводя глаз с руки Форреста, властно обнимавшей Паолу, почувствовал какую-то боль и обиду; у него даже мелькнула мысль, которую он тотчас с негодованием подавил: «Дику Форресту везет, слишком везет».

— "Я — Ай-Кут, — распевал Дик. — Это моя жена, моя росинка, моя медвяная роса. Я вам солгал. Ее отец и мать не кузнечик и не кошка. Это были заря Сьерры и летний восточный ветер с гор. Они любили друг друга и пили всю сладость земля и воздуха, пока из мглы, в которой они любили, на листья вечнозеленого кустарника и мансаниты не упали капли медвяной росы.

Йо-то-то-ви — моя медвяная роса. Внемлите мне! Я — Ай-Кут. Йо-то-то-ви — моя жена, моя перепелка, моя лань, пьяная теплым дождем и соками плодоносной земли. Она родилась из нежного света звезд и первых лучей зари".

И вот, — добавил Форрест, заканчивая свою импровизацию и возвращаясь к обычному тону, — если вы еще воображаете, что старый, милый, синеокий Соломон лучше меня сочинил «Песнь Песней», подпишитесь немедленно на издание моей.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Миссис Мэзон одна из первых попросила Паолу сыграть. Тогда Терренс Мак-Фейн и Аарон Хэнкок разогнали веселую группу у рояля, а смущенный Теодор Мэлкен был послан пригласить Паолу.

— Прошу вас сыграть для просвещения этого язычника «Размышления на воде», — услышал Грэхем голос Терренса.

— А потом, пожалуйста, «Девушку с льняными косами», — попросил Хэнкок, которого называли язычником. — Сейчас моя точка зрения блестяще подтвердится. Этот дикий кельт проповедует идиотскую теорию музыки пещерного человека и настолько туп, что еще считает себя сверхсовременным.

— А-а, Дебюсси! — засмеялась Паола. — Все еще спорите о нем? Да? Хорошо, я доберусь и до него, только не знаю, с чего начать.

Дар-Хиал присоединился к трем мудрецам, усаживавшим Паолу за большой концертный рояль, не казавшийся, впрочем, слишком большим в этой огромной комнате. Но едва она уселась, как три мудреца скользнули прочь и заняли, видимо, свои любимые места. Молодой поэт растянулся на пушистой медвежьей шкуре, шагах в сорока от рояля, и запустил обе руки в волосы. Терренс и Аарон уютно, устроились на подушках широкого дивана под окном, впрочем, так, чтобы иметь возможность подталкивать друг друга локтем, когда тот или другой находил в исполнении Паолы оттенки, подтверждавшие именно его понимание.

Девушки расположились живописными группами, по две и по три, на широких диванах и в глубоких креслах из дерева коа, кое-кто даже на ручках.

Ивэн Грэхем хотел было подойти к роялю, чтобы иметь честь перевертывать Паоле ноты, но вовремя заметил, что Дар-Хиал предупредил его. Неторопливо и с любопытством окинул он взглядом комнату. Концертный рояль стоял на возвышении в самом дальнем ее конце; низкая арка придавала ему вид сцены. Шутки и смех сразу прекратились: видимо, маленькая хозяйка Большого дома требовала, чтобы к ней относились, как к настоящей, серьезной пианистке. Грэхем решил заранее, что ничего исключительного не услышит.

Эрнестина, сидевшая рядом, наклонилась к нему и прошептала:

— Когда она хочет, она может всего добиться. А ведь она почти не работает... Вы знаете, она училась у Лешетицкого и у мадам Карреньо, и у

нее до сих пор остался их стиль игры. И она играет совсем не поженски. Вот послушайте!

Грэхем продолжал относиться скептически к ее игре, даже когда уверенные руки Паолы забегали по клавишам и зазвучали пассажи и аккорды, против чистоты которых он ничего не мог возразить; как часто слышал он их у пианистов, обладавших блестящей техникой и совершенно лишенных музыкальной выразительности! Он ждал услышать от нее все что угодно, но не мужественную прелюдию Рахманинова, которую, по мнению Грэхема, мог хорошо исполнять только мужчина.

С первых же двух тактов Паола уверенно, по-мужски, овладела роялем; она словно поднимала его клавиатуру и поющие струны обеими руками, вкладывая в свою игру зрелую силу и твердость. А затем, как это делали только мужчины, соскользнула, или перекинулась — он не мог найти более точного определения для этого перехода — в уверенно-чистое, несказанно нежное анданте.

Она продолжала играть со спокойствием и силой, которых меньше всего можно было ожидать от такой маленькой, хрупкой женщины; и он с удивлением смотрел сквозь полузакрытые веки на нее и на огромный рояль, которым она владела так же, как владела собой и замыслом композитора. Прислушиваясь к замирающим аккордам прелюдии, в которых еще жила, как далекое эхо, только что прозвучавшая мощь, Грэхем вынужден был признать, что удар у Паолы точен, чист и тверд.

В то время как Терренс и Аарон взволнованно спорили шепотом на своем подоконнике, а Дар-Хиал искал для Паолы ноты, она взглянула на Дика, и он начал один за другим гасить свет в матовых шарах под потолком, так что в конце концов одна Паола осталась как бы среди оазиса мягкого света, в котором особенно заметно поблескивало золото ее волос и золотое шитье на платье.

Грэхем наблюдал, как высокая комната становится от набегающих теней как будто еще выше. Она была длиной в восемьдесят футов и высотой в два с половиной этажа. Точно хоры под потолком была перекинута галерея, с которой свешивались шкуры диких зверей, домотканые покрывала, привезенные из Окасаки и Эквадора, циновки с острова Океании, сплетенные женщинами и выкрашенные растительными красками. И Грэхем понял, что напоминает ему эта комната: праздничный зал в средневековом замке; и он вдруг пожалел, что в ней нет длинного стола с оловянной посудой, солью в серебряной солонке и огромных собак, дерущихся тут же из-за брошенных им костей.

Позднее, когда Паола сыграла Дебюсси, чтобы дать Терренсу и Аарону

материал для новых споров, Грэхему удалось в течение нескольких волнующих минут поговорить с ней о музыке. И она обнаружила такое понимание философии музыки, что Грэхем, сам того не замечая, принялся излагать, ей свою любимую теорию.

— Итак, — закончил он, — понадобилось почти три тысячи лет, чтобы музыка оказала свое истинное воздействие на душу западного человека. Дебюсси больше чем кто-либо из его предшественников достиг той высокой созерцательной ясности, порождающей великие идеи, которая предощущалась, скажем, во времена Пифагора...

Тут Паола прервала его, подозревая сражавшихся у окна Терренса и Аарона.

— Ну и что же? — продолжал Терренс, когда оба подошли. — Попробуйте, Аарон, попробуйте найти у Бергсона суждение о музыке более ясное, чем в его «Философии смеха»<sup>[6]</sup>, которая тоже, как известно, ясностью не отличается.

— О, послушайте! — воскликнула Паола, и глаза ее заблестели. — У нас появился новый пророк — мистер Грэхем. Он стоит вашей шпаги, обеих ваших шпаг. Он согласен с вами, что музыка — это отдых от железа, крови и будничной прозы. Что слабые, чувствительные и возвышенные души бегут от тяжелой и грубой земной жизни в сверхчувственный мир ритмов и звучаний...

— Атавизм! — фыркнул Аарон Хэнкок. — Пещерные люди, полуобезьяны и все гнусные предки Терренса делали то же самое.

— Позвольте, — остановила его Паола. — Но ведь к этим выводам мистер Грэхем пришел на основании собственных переживаний и умозаключений. А кроме того, он коренным образом расходится с вашей точкой зрения, Аарон. Он опирается на положение Патера: «Все искусства тяготеют к музыке...»

— Все это относится к предыстории, к химии микроорганизма, — опять вмешался Аарон. — Все эти народные песни и синкопированные ритмы — простое реагирование клетки на световые волны солнечного луча. Терренс попадает в заколдованный круг и сам сводит на нет свои заумные рассуждения. А теперь послушайте, что я вам скажу...

— Да подождите же! — остановила его Паола. — Мистер Грэхем говорит, что английский пуританизм сковал музыку — настоящую музыку — на многие века...

— Верно... — согласился Терренс.

— И что Англия вернулась к эстетическому наслаждению музыкой только через ритмы Мильтона и Шелли...

— Который был метафизиком, — прервал ее Аарон.

— Лирическим метафизиком, — тотчас же вернул Терренс. — Это-то уж вы должны признать, Аарон.

— А Суинберн? — спросил Аарон, очевидно, возвращаясь еще к одной теме из давнишних споров.

— Аарон уверяет, что Оффенбах — предшественник Артура Сюлливена, — вызываяще воскликнула Паола, — и что Обер — предшественник Оффенбаха. А относительно Вагнера... Нет, спросите-ка его, спросите, что он думает о Вагнере...

Она ускользнула, предоставив Грэхема его судьбе. А он не спускал с нее глаз, любуясь пластичными движениями ее стройных колен, приподнимавших тяжелые складки платья, когда она шла через всю комнату к миссис Мэзон, чтобы устроить для нее партию в бридж; он едва мог заставить себя вслушаться в то, что опять бубнил Терренс.

— Установлено, что все искусства Греции родились из духа музыки...

Много позднее, когда оба мудреца самозабвенно углубились в жаркий спор о том, кто выказал в своих произведениях более возвышенный интеллект — Берлиоз или Бетховен, Грэхему удалось улизнуть. Ему опять хотелось побеседовать с хозяйкой. Но она под села к двум девушкам, забравшимся в большое кресло, и шаловливо шепталась с ними; большая часть гостей была погружена в бридж, и Грэхем попал в группу, состоявшую из Дика Форреста, мистера Уомболда, Дар-Хиала и корреспондента «Газеты скотовода».

— Жаль, что вы не можете съездить туда со мной, — говорил Дик корреспонденту. — Это задержало бы вас только на один день. Я завтра же и повез бы вас.

— Очень сожалею, — ответил тот. — Но я должен быть в Санта-Роса. Бербанк обещал посвятить мне целое утро, а вы понимаете, что это значит. С другой стороны, для нашей газеты было бы очень важно получить материал о вашем опыте. Вы не могли бы изложить его... кратко... ну совсем кратко? Вот и мистера Грэхема, я думаю, это заинтересует.

— Опять что-то по части орошения? — осведомился Грэхем.

— Нет, нелепая попытка превратить безнадежно бедных фермеров в богатых, — отвечал Уомболд за Форреста. — А я утверждаю, что если фермеру не хватает земли, то это доказывает, что он плохой фермер.

— Наоборот, — возразил Дар-Хиал, взмахнув для большей убедительности своими прекрасными азиатскими руками. — Как раз наоборот. Времена изменились. Успех больше не зависит от капитала. Попытка Дика — замечательная, героическая попытка. И вы увидите, что

она удастся.

— А в чем дело. Дик? — спросил Грэхем. — Расскажите нам.

— Да ничего особенного. Так, одна затейка, — ответил Дик небрежно. — Может быть, из этого ничего и не выйдет, хотя я все же надеюсь...

— Затейка! — воскликнул Уомболд. — Пять тысяч акров лучшей земли в плодороднейшей долине! И он хочет посадить на нее кучу неудачников — пожалуйста, хозяйничайте! — платить им да еще питать.

— Только тем хлебом, который вырастет на этой же земле, — поправил его Форрест. — Придется объяснить вам всем, в чем дело. Я выделил пять тысяч акров между усадьбой и долиной реки Сакраменто...

— Подумайте, сколько там может вырасти люцерны, которая вам так нужна... — прервал его опять Уомболд.

— Мои машины осушили в прошлом году вдвое большую площадь, — продолжал Дик. — Я, видите ли, убежден, что наш Запад, да и весь мир, должен стать на путь интенсивного хозяйства, и я хочу быть одним из первых, прокладывающих дорогу. Я разделил эти пять тысяч акров на участки по двадцати акров и считаю, что каждый такой участок может не только свободно прокормить одно семейство, но и приносить по меньшей мере шесть процентов чистого дохода.

— Это значит, — высчитывал корреспондент, — что, когда участки будут розданы, землю получат двести пятьдесят семейств, или, считая в среднем по пять человек на семью, тысяча двести пятьдесят душ.

— Не совсем так, — возразил Дик. — Все участки уже заняты, а у нас только около тысячи ста человек. Но надежды на будущее... надежды на будущее большие, — добродушно улыбнулся он. — Несколько урожайных лет — и в каждой семье окажется в среднем по шесть человек.

— А кто это «мы»? Почему «у нас»? — спросил Грэхем.

— У меня есть комитет, состоящий из сельскохозяйственных экспертов, — все свои же служащие, кроме профессора Либа, которого мне уступило на время федеральное правительство. Дело в том, что фермеры будут хозяйничать на свой страх и риск, пользуясь передовыми методами, рекомендованными в наших инструкциях. Земля на всех участках совершенно одинаковая. Эти участки, как горошины в стручке, один к одному. И плоды работы на каждом участке через некоторое время должны сказаться. А когда мы сравним между собой результаты, полученные на двухстах пятидесяти участках, то фермер, отстающий от среднего уровня из-за тупости или лени, должен будет уйти.

Условия созданы вполне благоприятные. Фермер, взяв такой участок,



ничем не рискует. Кроме того, что он соберет со своей земли и что пойдет на пищу ему и его семье, он получит еще тысячу долларов в год деньгами; поэтому все равно — умен он или глуп, урожайный год или неурожайный — около ста долларов в месяц ему обеспечено. Лентяи и глупцы будут естественным образом вытеснены теми, кто умен и трудолюбив. Вот и все. И это послужит особенно очевидным доказательством всех преимуществ интенсивного хозяйства. Впрочем, этим людям обеспечено не только жалование. После его выплаты мне как владельцу должно очиститься еще шесть процентов. А если доход окажется больше, то фермеру поступает и весь излишек.

— И поэтому, — сказал корреспондент, — каждый сколько-нибудь дельный фермер будет работать день и ночь — это понятно. Сто долларов на улице не валяются. В Соединенных Штатах средний фермер на собственной земле не вырабатывает и пятидесяти, в особенности если вычесть плату за надзор и за его личный труд. Конечно, способные люди уцепятся руками и ногами за такое предложение и постараются, чтобы так же поступили и члены их семьи.

— У меня есть возражение, — заявил Терренс МакФейн, подходя к ним. — Везде и всюду только и слышишь: работа, труд... А меня просто зло берет, когда я представляю себе, что каждый такой фермер на своих двадцати акрах весь день с утра до вечера будет гнуть спину, и ради чего? Неужели кусок хлеба да мяса и, может быть, немного джема — это и есть смысл жизни, цель нашего существования? Ведь человек этот все равно умрет, как рабочая кляча, которая только и знала, что трудиться! Что же сделано таким человеком? Он обеспечил себя хлебом и мясом? Чтобы брюхо было сыто и крыша была над головой? А потом его тело будет гнить в темной, сырой могиле!

— Но ведь и вы, Терренс, умрете, — заметил Дик.

— Зато я живу волшебной жизнью бродяги, — последовал быстрый ответ. — Эти часы наедине со звездами и цветами, под сенью деревьев, с легким ветром и шорохом трав! А мои книги! Мои любимые философы и их думы! А красота, музыка, радости всех искусств! Когда я сойду в могилу, я буду знать по крайней мере, что пожил и взял от жизни все, что она могла мне дать. А эти ваши двуногие выючные животные на своих двадцати акрах так и будут ковырять весь день землю, пока рубашка на спине не взмокнет от пота, а потом присохнет коркой, — ради одного сознания, что живот набит хлебом и мясом и крыша не протекает; народят выводок сыновей, которые тоже будут жить, как рабочий скот, набивать желудок хлебом и мясом, гнуть спины в заскорузлых от пота рубашках — и

наконец уйдут в небытие, только и получив от жизни, что хлеб да мясо и, может быть, немного джема?..

— Но ведь кто-то должен же работать, чтобы вы могли лодырничать? — с негодованием возразил Уомболд.

— Да, это верно. Печально, но верно, — мрачно согласился Терренс; затем его лицо вдруг просияло. — И я благодарю господу за то, что есть на свете рабочий скот, — одни таскают плуг по полям, другие — незримые кроты — проводят жизнь в шахтах, добывая уголь и золото; благодарю за то, что есть дураки крестьяне, — иначе разве у меня были бы такие мягкие руки; и за то, что такой славный парень, как Дик, улыбается мне и делится со мной своим добром, покупает мне новые книги и дает местечко у своего стола, заставленного пищей, добытой двуногим рабочим скотом, и у своего очага, построенного тем же рабочим скотом, и хижину в лесу под земляничными деревьями, куда труд не смеет сунуть свое чудовищное рыло...

Иван Грэхем долго не ложился в тот вечер. Большой дом и его маленькая хозяйка невольно взволновали его. Сидя на краю кровати, полураздетый, и куря трубку, он видел в своем воображении Паолу в разных обликах и настроениях — такой, какой она прошла перед ним в течение этого первого дня. То она говорила с ним о музыке и восхищала его своим исполнением, чтобы затем, втянув в спор «мудрецов», ускользнуть и заняться устройством бриджа; то сидела, свернувшись калачиком, в кресле, такая же юная и шаловливая, как примостившиеся рядом с нею девушки; то со стальными нотками в голосе укрощала мужа, когда он непременно хотел спеть песнь Горца, или бесстрашно правила тонущим жеребцом, — а несколько часов спустя выходила в столовую, к гостям своего мужа, напоминая платьем и осанкой принцессу из сказки.

Паола Форрест занимала его воображение не меньше, чем Большой дом со всеми его чудесами и диковинками. Все вновь и вновь мелькали перед Грэхемом выразительные руки Дар-Хиала, черные бакенбарды Аарона Хэнкока, вещавшего об откровениях Бергсона, потертая куртка Терренса Мак-Фейна, благодарившего бога за то, что двуногий рабочий скот дает ему возможность бездельничать, сидеть за столом у Дика Форреста и мечтать под его земляничными деревьями.

Грэхем наконец вытряхнул трубку, еще раз окинул взглядом эту странную комнату, обставленную со всем возможным комфортом, погасил свет и вытянулся между прохладными простынями. Однако сон не приходил к нему. Опять он слышал смех Паолы; опять у него возникало впечатление серебра, стали и силы; опять он видел в темноте, как ее

стройное колено неподражаемо пластичным движением приподнимает тяжелые складки платья. От этого образа Грэхем никак не мог отделаться: он преследовал его неотступно, точно наваждение. Образ этот, сотканный из света и красок, как бы горел перед ним, неизменно возвращаясь, и хотя Грэхем сознавал его иллюзорность, видение все вновь и вновь вставало перед ним в своей обманчивой реальности.

И опять видел он коня и всадницу, которые то погружались в воду, то снова выплывали на поверхность; видел мелькающие среди пены копыта лошади; видел лицо женщины: она смеялась, а пряди ее золотистых волос переплетались с темной гривой животного.

Снова слышал он первые аккорды прелюдии, и те же руки, которые правили жеребцом, теперь извлекали из инструмента всю полноту хрустальных и блистательных рахманиновских гармоний.

Когда он наконец стал засыпать, его последняя мысль была о том, каковы те чудесные и загадочные законы развития, которые могли из первоначального ила и праха создать на вершине эволюции сияющее и торжествующее женское тело и женскую душу.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На следующее утро Грэхем продолжал знакомиться с порядками Большого дома. О-Дай многое сообщил ему еще накануне и узнал от гостя, что тот, выпив при пробуждении чашку кофе, предпочитает завтракать не в постели, а за общим столом. О-Дай предупредил Грэхема, что для этой трапезы нет установленного времени и что завтракают от семи до десяти, кто когда желает; а если ему понадобится лошадь, или автомобиль, или он захочет купаться, то достаточно сказать об этом.

Войдя в столовую в половине восьмого, Грэхем застал там корреспондента и покупателя из Айдахо, которые только что позавтракали и спешили поймать здешнюю машину, чтобы попасть в Эльдorado к утреннему поезду в Сан-Франциско. Грэхем простился с ними и сел за стол один. Безукоризненно вежливый слугакитаец предложил ему заказать завтрак по своему вкусу и тотчас исполнил его желание, подав ледяной грейпфрут в хересе, причем с гордостью пояснил, что это «свой», из «имения». Отклонив предложенные ему различные блюда — каши и овощи, Грэхем попросил дать ему яйца всмятку и ветчину; и только что принялся за еду, как вошел Берт Уэйнрайт с рассеянным видом, который, однако, не обманул Грэхема. И действительно, не прошло и пяти минут, как появилась Эрнестина Дестен в очаровательном халатике и утреннем чепчике и очень удивилась, найдя в столовой столько любителей раннего вставания.

Позднее, когда все трое уже поднимались из-за стола, пришли Льют Дестен и Рита Уэйнрайт. За бильярдом Грэхем узнал от Берта, что Дик Форрест никогда не завтракает со всеми, а просыпается чуть свет, работает в постели, пьет в шесть часов кофе и только в исключительных случаях появляется среди гостей раньше второго завтрака, который бывает в половине первого.

Что касается Паолы, продолжал Берт, то спит она плохо, встает поздно, а живет в той части дома, куда ведет дверь без ручки; это огромный флигель с собственным внутренним двориком, в котором даже он был всего только раз; она тоже приходит лишь ко второму завтраку, да и то не всегда.

— Паола на редкость здоровая и сильная женщина, — сказал он, — но бессонница у нее врожденная. Ей всегда не спалось, даже когда она была совсем маленькая. И это ей не во вред, так как у нее большая сила воли и она изумительно владеет собой. У нее нервы всегда напряжены, но, вместо

того чтобы приходить в отчаяние и метаться, когда сон не идет к ней, она приказывает себе отдыхать — и отдыхает. Она называет это своими «белыми ночами». Иногда она засыпает только на заре или даже в девять-десять часов утра, и тогда спит чуть не двенадцать часов подряд, и выходит к обеду свежая и бодрая.

— Должно быть, это действительно врожденное, — заметил Грэхем.

Берт кивнул.

— Из ста девяносто девять женщин совсем бы раскисли, а она держит себя в руках. Если ей не спится ночью, она спит днем и наверстывает потерянное.

Еще многое рассказывал Берт о хозяйке дома, и Грэхем скоро догадывался, что молодой человек, несмотря на долгое знакомство, все же ее побаивается.

— Она с кем угодно справится, стоит ей только захотеть, — заметил Берт. — Мужчина, женщина, слуга — все равно, какого бы возраста, пола и положения они ни были, — стоит ей только заговорить своим повелительным тоном, и результат всегда один. Я не понимаю, чем она этого достигает. Может быть, в глазах ее вспыхивает что-то, может быть, губы складываются как-то по-особенному, не знаю, но только все ее слушаются и ей подчиняются.

— Да, — согласился Грэхем, — в ней есть что-то особенное.

— Вот именно! — обрадовался Берт. — Что-то особенное! Достаточно ей захотеть! Даже почему-то жутко становится. Может быть, она так научилась владеть собой во время бессонных ночей, когда она постоянно напрягает волю, чтобы оставаться спокойной и бодрой. Вот и сегодня — она, верно, глаз не сомкнула после всех вчерашних событий: понимаете — волнение, люди, тонущая лошадь и все прочее. Хотя Дик говорит, что то, от чего другие женщины потеряли бы сон, действует на нее совсем наоборот: она может спать, как младенец, в городе, который бомбардируют, или на тонущем корабле. Несомненно, она — чудо. Поиграйте-ка с ней на бильярде, тогда увидите.

Немного позднее Грэхем и Берт встретились с девушками в той комнате, где те обычно проводили утро, но, несмотря на пение модных песенок, танцы и болтовню, Грэхема все время не покидало чувство одиночества, какая-то тоска и томительное желание, чтобы к ним вошла Паола в каком-нибудь новом, неожиданном обличье и настроении.

Затем Грэхем на Альтадене и Берт на великолепной чистокровной кобыле Молли два часа разъезжали по имению, осматривали молочное хозяйство и едва успели вовремя на теннисную площадку, где их

поджидала Эрнестина.

Грэхему не терпелось пойти завтракать — конечно, не только из-за вызванного прогулкой аппетита, — но его постигло большое разочарование: Паола не явилась.

— Опять «белая ночь», — сказал Дик, обращаясь к другу, и прибавил несколько слов к тому, что рассказывал Берт относительно неспособности Паолы спать нормально. — Представьте, мы были женаты уже несколько лет, когда я впервые увидел ее спящей. Я знал, что в какие-то часы она спит, но никогда не видел. Однажды она, к моему ужасу, трое суток провела без сна, притом все время оставалась ласковой и веселой, и уснула наконец от изнеможения. Это случилось, когда наша яхта стала на мель возле Каролинских островов и все население помогало нам спихнуть ее. Дело было не в опасности — никакая опасность нам не угрожала, — а в непрерывном шуме, возбуждении. Паола переживала это приключение слишком непосредственно. А когда все кончилось, она впервые у меня на глазах заснула.

Утром приехал новый гость, некто Доналд Уэйр. Грэхем встретился с ним за завтраком. Уэйр был, видимо, хорошо знаком со всеми и часто посещал Большой дом; Грэхем понял также из разговоров, что, несмотря на крайнюю молодость, это скрипач, известный по всему побережью.

— Он до безумия влюблен в Паолу, — сообщила Эрнестина Грэхему, когда они выходили из столовой.

Грэхем удивленно поднял брови.

— Да, но она не обращает на него внимания, — рассмеялась Эрнестина. — Это случается с каждым мужчиной, который приезжает сюда. Она привыкла. У нее ужасно милая манера не замечать их страсти; она с удовольствием проводит время в обществе этих людей, а потом смеется над ними. Дика это забавляет. Не пройдет и недели, как с вами случится то же самое. А нет, так все будут очень удивлены. Да и Дик еще, пожалуй, обидится. Он считает, что это неизбежно. Если любящий муж гордится своей женой и привык к тому, что в нее влюбляются, он может прямо оскорбиться и решить, что его жену не оценили.

— Ну что ж, — вздохнул Грэхем, — если у вас так принято, придется, видно, и мне влюбиться. Правда, ужасно не хочется вести себя, как все, — именно потому, что это все; но раз таков обычай, ничего не поделаешь. Хотя это чертовски трудно, когда кругом так много милых девушек.

В его удлинённых серых глазах блеснуло лукавство, и этот взгляд так подействовал на Эрнестину, что она удивленно уставилась на него и, только поймав себя на этом, опустила взор и вспыхнула.

— Знаете, маленький Лео — молодой поэт, которого вы видели вчера вечером, — затараторила она, пытаясь скрыть свое смущение, — он тоже до безумия влюблен в Паолу. Я слышала, как Аарон Хэнкок дразнил его по поводу какого-то цикла сонетов, и, конечно, нетрудно догадаться, кто его вдохновил. Терренс, ирландец, тоже влюблен в нее, хоть и не так отчаянно. Они ничего не могут поделать с собой, вот и все. Разве их можно винить за это?

— Конечно, она вполне заслуживает поклонения, — пробормотал Грэхем, втайне задетый тем, что ирландец, этот пустоголовый, одержимый алфавитом маньяк, этот анархист-эпикурец, хвастающий тем, что он лодырь и приживальщик, осмелился влюбиться — хоть и не так отчаянно — в маленькую хозяйку.

— Она ведь моя сводная сестра, — сообщила Эрнестина, — но никто бы не сказал, что в нас есть хоть одна капля той же крови. Паола совсем другая. Она не похожа ни на кого из Дестенов, да и вообще ни на кого из моих подруг, ни на одну девушку, которую я знала. Хотя она гораздо старше моих подруг, ведь ей уже тридцать восемь...

— Ах, кис-кис! — прошептал Грэхем.

Хорошенькая блондинка оторопело взглянула на него, удивленная его, казалось бы, необъяснимым восклицанием.

— Кошечка, — повторил он с насмешливым упреком.

— О! — воскликнула она. — Я сказала совсем не в том смысле... Мы здесь привыкли ничего не скрывать. Все отлично знают, сколько Паоле лет. Она и сама говорит. А мне восемнадцать. Вот. Теперь скажите-ка, в наказание за вашу подозрительность, сколько вам лет?

— Столько же, сколько и Дику, — ответил Грэхем без запинки.

— А ему сорок, — торжествующе рассмеялась она. — Вы будете купаться? Вода, наверное, ужасно холодная.

Грэхем покачал головой:

— Я поеду с Диком верхом.

Эрнестина огорчилась со всей непосредственностью своих восемнадцати лет.

— Ну, конечно! Опять он будет показывать свои вечнозеленые пастбища, или пашни на горных склонах, или какие-нибудь оросительные фокусы...

— Он говорил что-то относительно купания в пять.

Ее лицо просияло.

— Ну хорошо, тогда встретимся у бассейна. Наверно, они условились. Паола тоже хотела идти купаться в пять.

Они расстались под аркадой. Грэхем отправился было к себе в башню, чтобы переодеться для верховой езды, но Эрнестина вдруг окликнула его:

— Мистер Грэхем! Он послушно обернулся.

— Знаете, вы вовсе не обязаны влюбляться в Паолу, это я только так сказала.

— Я буду очень, очень остерегаться этого, — вполне серьезно ответил он, хотя глаза его насмешливо блеснули.

Однако, идя в свою комнату, он не мог не признаться, что очарование Паолы Форрест, словно волшебные щупальца, уже коснулось его и обвивалось вокруг сердца. И он знал, что с гораздо большим удовольствием поехал бы кататься с ней, чем со своим давним другом Форрестом.

Направляясь к длинной коновязи под старыми дубами, он жадным взором искал Паолу, но здесь были только Дик и конюх; однако несколько стоявших в тени оседланных лошадей вернули ему надежду. Все же они уехали с Диком одни. Дик только показал ему лошадь жены, — это был резвый породистый гнедой жеребец под небольшим австралийским седлом со стальными стремянами, с двойной уздечкой и мундштуком.

— Я не знаю ее планов, — сказал Дик. — Она еще не выходила, но купаться, во всяком случае, будет. Тогда и встретимся.

Грэхему поездка доставила большое удовольствие, хотя он не ловил себя на том, что поглядывает на часы-браслет — долго ли еще до пяти.

Приближалось время окота. Дик и Грэхем проезжали луг за лугом, где паслись овцы; то один, то другой слезал с лошади, чтобы поставить на ноги великолепную овцу из породы шропширов или мериносов-рамбулье: повалившись на широкие спины и подняв к небу все четыре ноги, эти бедные жертвы отбора были уже не в силах подняться без посторонней помощи.

— Да, я действительно потрудился над тем, чтобы создать американских мериносов, — говорил Дик. — У этой породы теперь сильные ноги, широкая спина, крепкие ребра и большая выносливость. Вывезенным из Европы породам не хватает выносливости: они слишком холеные и изнеженные.

— О, вы делаете большое дело, большое дело, — заявил Грэхем. — Подумайте, вы же отправляете баранов в Айдахо! Это говорит само за себя.

Глаза Дика заблестели, когда он ответил:

— Не только в Айдахо! Хотя это и кажется невероятным, теперешние огромные стада Мичигана и Огайо являются — простите за хвастовство — потомками моих калифорнийских рамбулье. А возьмите Австралию!



Двенадцать лет назад я продал одному тамошнему поселенцу трех баранов по триста долларов за голову. Когда он их туда привез и показал, то сейчас же перепродал, взяв по три тысячи за каждого, и заказал мне целый транспорт. И я, кажется, принес Австралии не вред, а пользу. Там говорят, что благодаря люцерне, артезианским колодцам, судам-холодильникам и баранам Форреста овцеводство и добывание шерсти увеличились втрое.

Возвращаясь, они встретили Менденхолла, заведующего конным заводом, и тот потащил их куда-то в сторону, на обширный выгон с лесистыми оврагами и группами дубов, чтобы показать табун жеребят-однолеток широкой породы, которых отправляли на следующий день на горные пастбища Миримар-Хиллс. Их было около двухсот — ширококостные, мохнатые и очень крупные для своего возраста; они начинали линять.

— Мы не то что откармливаем их, — пояснил Форрест, — но мистер Менденхолл следит за тем, чтобы они получали питательный корм. Там, в горах, куда они пойдут, им будут давать, кроме трав, еще зерно; это заставит их каждый вечер собираться для кормежки, и, таким образом, можно будет делать поверку без особого труда. За последние пять лет я ежегодно отправляю в один только Орегон до пятидесяти жеребцов-двухлеток. Они все более или менее стандартны. Их покупают не глядя, потому что знают мой товар.

— У вас, должно быть, строгий отбор? — спросил Грэхем.

— Да. Бракованных вы можете увидеть на улицах Сан-Франциско, — ответил Дик, — это ломовые лошади.

— И на улицах Денвера тоже, — добавил Менденхолл, — и на улицах Лос-Анджелеса; а два года тому назад, во время падежа лошадей, мы отправили двадцать вагонов четырехлетних мерингов даже в Чикаго и получили в среднем по тысяче семьсот долларов за каждого. За тех, что помельче, мы брали по тысяче шестьсот, но были и по тысяче девятьсот. Боже мой, какие цены на лошадей стояли в тот год!

Едва Менденхолл отъехал, как показался всадник верхом на стройной, взмахивавшей гривой Паломине. Дик представил его Грэхему как мистера Хеннесси, ветеринара.

— Я услышал, что миссис Форрест осматривает жеребят, — пояснил он Дик, — и приехал, чтобы показать ей Лань: не пройдет и недели, как она будет ходить под седлом. А какую лошадь миссис Форрест взяла сегодня?

— Да Франта, — ответил Дик; и было ясно, что он предвидел, как Хеннесси отнесется к этому известию: ветеринар неодобрительно покачал

головой.

— Никто не убедит меня, что женщинам следует ездить на жеребцах, — пробормотал он. — И потом, Франт опасен. Больше того — при всем уважении к его резвости, должен сказать, что он хитер и коварен. Миссис Форрест следовало бы ездить на нем не иначе, как надев на него намордник; но он любит и брыкаться, а к его копытам ведь не привяжешь подушек...

— Пустяки, — ответил Дик, — он на мундштуке, да еще на каком мундштуке; и она умеет обращаться с ним.

— Да, если он в один прекрасный день не подомнет ее под себя, — проворчал Хеннесси. — Во всяком случае, я бы вздохнул спокойнее, если бы ей понравилась Лань. Вот это настоящая дамская лошадь! Сколько огня, и никакого коварства. Чудесная кобылка, чудесная! А что шалунья — это не беда, уgomонится! Но она всегда останется веселой и капризной, не превратится в манежную клячу.

— Поедем посмотреть жеребят, — предложил Дик. — Паоле придется помучиться с Франтом, если она въедет на нем в кучу молодежи. Ведь это ее царство, — повернулся он к Грэхему. — Все выездные и верховые лошади в ее ведении. И она достигает замечательных результатов. Как она добивается их, я и сам не понимаю. Будто маленькая девочка забралась в лабораторию взрывчатых веществ, начала наугад смешивать их — и получила гораздо более мощные соединения, чем те, которые составлялись седобородными химиками.

Они свернули с главной дороги на боковую, проехали полмили, обогнули лесок в ущелье, по которому бежал, подскакивая, ручей, и выехали на покатый склон, где зеленело широкое пастбище. Первое, что увидел Грэхем вдали, — это множество однолеток и двухлеток, с любопытством столпившихся вокруг золотистокоричневого чистокровного жеребца Франта, который, поднявшись на дыбы, бил в воздухе копытами и пронзительно ржал.

Всадники остановили своих лошадей и ждали, что будет дальше.

— Он еще сбросит ее, — сердито пробормотал ветеринар. — Разве на него можно положиться!

Но в эту минуту Паола, не замечая подъехавших зрителей, резко и повелительно выкрикнула какой-то приказ, с уверенностью настоящего кавалериста всадила шпоры в шелковистые бока Франта, и тот опустил передние ноги и беспокойно заплесал на месте.

— Стоит ли так рисковать? — мягко упрекнул Форрест жену, подъезжая к ней со своими спутниками.

— О, я умею справляться с ним... — пробормотала она сквозь стиснутые зубы, в то время как Франт, прижав уши и злобно сверкая глазами, оскалился и, наверное, укусил бы Грэхема за ногу, если бы Паола вовремя не дернула за повод, опять вонзив ему шпоры в бока.

Франт вздрогнул, визгливо заржал и на минуту смирился.

— Старая игра — игра белого человека! — засмеялся Дик. — Она не боится жеребца, и он это знает; он хитрит, неистовствует, она — вдвое; он беснуется, а она ему показывает, что такое настоящая свирепость.

Три раза, пока они были здесь, готовые в любую минуту повернуть своих лошадей и броситься на помощь, если Паола потеряет власть над жеребцом, Франт пытался встать на дыбы, и каждый раз Паола решительно, осторожно и твердо удерживала его с помощью мундштука и шпор, — и он наконец замер на месте, укрошенный и трепещущий, весь в поту и мыле.

— Так белые поступали всегда, — продолжал Дик, в то время как Грэхем весь отдался волнующему до жути восхищению перед маленькой укротительницей. — Белый, борясь с дикарем, превосходил его своей свирепостью. Он превзошел его в упорстве, в разбоях, в скальпировании, в пытках, в людоедстве. В сущности, белые съели гораздо больше людей, чем людоеды.

— Добрый день, — приветствовала Паола гостя, мужа и ветеринара. — Франт, кажется, наконец усмирен. Давайте взглянем на жеребят. Остерегайтесь, мистер Грэхем, его зубов: он ужасный кусака. Держитесь от него подальше: ваши ноги вам еще пригодятся.

Когда представление с Франтом кончилось, жеребята мгновенно разбежались, словно чем-то напуганные, и, резвясь, понеслись галопом по зеленому лугу; но скоро, привлеченные неудержимым любопытством, вернулись и, столпившись возле всадников, внимательно разглядывали их; под предводительством одной, особенно шаловливой гневной кобылки они образовали полукруг и насторожили ушки.

Вначале Грэхем едва ли видел жеребят: он смотрел только на хозяйку в ее новой роли. «Неужели ее изменчивости нет пределов?» — спрашивал он себя, глядя на великолепное, потное, покоренное ею животное. Даже Горец, несмотря на свою массивность, казался кротким и ручным рядом с Франтом, который то и дело становился на дыбы и кусался, силясь сбросить всадницу с присущим ему утонченным коварством норовистого жеребца чистых кровей.

— Взгляни на нее, — прошептала Паола Дику, чтобы не спугнуть

кобылки. — Какая прелесть! Вот чего я добивалась. — Затем она обернулась к Ивэну. — Всегда в них найдется какой-нибудь недостаток, порок, совершенство почти невозможно. Но она — совершенство. Посмотрите на нее. Лучшего мне едва ли удастся добиться. Ее отец — Великий Вождь, если вы знаете наших призовых рысаков. Его продали за шестьдесят тысяч, когда он был уже стариком. Мы получили его на время. Она — единственный его приплод за сезон. Но посмотрите! У нее его грудь и легкие! У меня был богатый выбор кобыл, подходивших по все статьям, а матка как будто не подходила, но я взяла ее. Упрямая старая дева. Но она была прямо создана для него. Это ее первый жеребенок; ей было восемнадцать лет, когда он родился. Я знала, что будет хорошо. Достаточно было взглянуть на обоих — прямо как по заказу!

— Матка была только полукровкой, — пояснил Дик.

— Зато у нее было много предков морганов, — тотчас же пояснила Паола, — и у нее полоса вдоль спины, как у мустангов. Эту мы назовем «Нимфой», хоть она и не войдет в племенные книги. Это будет моя первая безупречная верховая лошадь, я уверена; и моя мечта наконец осуществится.

— У этой мечты четыре ноги, — глубокомысленно заметил Хеннеси.

— И от пяти до семи разных аллюров, — весело подхватил Грэхем.

— А все же не нравятся мне эти кентуккийские лошади с их разнообразными аллюрами, — быстро возразила Паола, — они годятся только для ровной местности. Для Калифорнии, с ее ужасными дорогами, горными тропками и всем прочим, мне нужна только быстрая рысь, короткая или длинная, смотря по характеру почвы, и сокращенный галоп. Я даже не скажу, что это особый аллюр, а просто легкий, спокойный скок, но только в условиях трудной дороги.

— Красавица! — восхищался Дик, следя блестящими глазами за гнедой кобылкой, которая, осмелев, подошла совсем близко к укрощенному Франту и обнюхивала его морду с трепещущими и раздувающимися ноздрями.

— Я предпочитаю, чтобы мои лошади были почти чистокровками, а не вполне, — горячо заявила Паола. — Беговая лошадь хороша на ипподроме, но для наших ежедневных нужд она слишком специализирована.

— Вот результат удачной комбинации, — заметил Хеннеси, указывая на Нимфу. — Корпус достаточно короток для рыси и достаточно длинен для крупного шага. Должен сознаться, я не верил в это сочетание, но вам все-таки удалось получить замечательный экземпляр.

— Когда я была молодой девушкой, у меня не было лошадей, —

обратилась Паола к Грэхему, — а теперь я могу не только иметь их сколько угодно, но и скрещивать их и создавать по своему желанию новые типы. Это так хорошо, что иногда мне не верится; и я скачу сюда, чтобы посмотреть на них и убедиться, что это не сон.

Она повернулась к Форресту и бросила ему благодарный взгляд. Грэхем видел, как они долго, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Ему стало ясно, какую радость доставляет Дикую радость жены, ее юношеский энтузиазм и горячность. «Вот счастливцев!..» — подумал Грэхем, но не потому, что у Дика было богатое имение и что дела его шли успешно, а потому, что Форресту принадлежала эта чудесная женщина, которая, не таясь, смотрит на него сейчас таким открытым и благодарным взглядом. И он с недоверием вспомнил заявление Эрнестины, будто Паоле тридцать восемь лет.

— Посмотри на его круп. Дик, — сказала она, концом хлыста показывая на какого-то черного жеребенка, жевавшего весеннюю траву. — Посмотри на его ноги и бабки. — И, обращаясь к Грэхему, добавила: — У Нимфы стати совсем другие и бабки гораздо длиннее, но я такого жеребенка и добивалась. — Она с легкой досадой усмехнулась. — Мать его необычной светло-гнедой масти, прямо новенькая двадцатидолларовая монета, и мне очень хотелось иметь лошадь ей в пару для моего выезда. Не скажу, чтобы результат оказался такой, какого я хотела, хоть и получился превосходный рысак. Зато вон моя награда, видите — вороной; когда мы подъедем к маткам, я покажу вам его родного брата, но он не вороной, а караковый. Я ужасно огорчена.

Затем она указала на двух караковых жеребят, пасшихся рядом.

— Эти двое от Гью-Диллона, знаете, — брата ЛоуДиллона. Они от разных маток и чуть-чуть разные по цвету, но, правда, великолепная пара? У них та же рубашка, что и у отца.

Она повернула свою укрощенную лошадь и стала тихонько объезжать табун, чтобы не распугать жеребят; часть все же бросилась врассыпную.

— Посмотрите на них! — воскликнула она. — Пятеро совсем непородистые. Видите, как они поднимают передние ноги на бегу.

— Я совершенно убежден, что ты сделаешь из них призовых рысаков, — сказал Дик и снова заслужил благодарный взгляд, опять задевший Грэхема.

— Двое от более крупных маток, — вот тот в середине и затем крайний слева; а те трое — от средних, да одного можно подобрать из остальных. Один отец, пять разных матерей — и оттенки гнедой масти немного разные. Но в общем из пяти получится недурная четверка, и

притом все того же года. Правда, удачно?

— Я уже сейчас вижу среди двухлеток отличных лошадок, которых мы сможем продать для игры в поло. Намечайте, — обратилась она к Хеннесси.

— Если мистер Менденхолл не получит за чалого полторы тысячи, то лишь потому, что поло выходит из моды! — с увлечением воскликнул Хеннесси. — Я следил за этими жеребятами... А вот взгляните на того светлогнедого. Ведь какой был плохонький! Дайте ему еще годик — и посмотрите, что из него выйдет! Похож на корову? Ничуть! А что за родители! Еще годик, и можно прямо на выставку — настоящий серебряный доллар. Помните, с первой же минуты я поверил в него. Он, несомненно, затмит всякую эту бэрлингеймскую дрянь. Когда он подрастет, отправляйте его сразу же на Восток.

Паола кивала, внимательно слушая Хеннесси, в ее устремленном на него взгляде светилась нежность, вызванная созерцанием этих молодых животных и всей полноты играющей в них жизни, за которую она была ответственна.

— Ужасно грустно, — призналась она Грэхему, — когда продаешь таких красавцев и знаешь, что их сейчас же заставят работать.

Ее внимание было целиком поглощено животными, она говорила совершенно просто, без всякой рисовки и аффектации. Дик не удержался, чтобы не похвалить ее Ивэну.

— Я могу перерыть целую библиотеку по коннозаводству и до одурения изучать менделистские законы — и все-таки я остаюсь идиотом, а она понимает все сразу. Ей незачем вникать во всякие руководства. Она обходится и без них и действует по какой-то интуиции, точно она колдунья. Ей достаточно взглянуть на табун маток, немного освоиться с ними — и она уже знает, что им нужно. Паоле почти всегда удается получить тот результат, к которому она стремится... Кроме цвета, — правда, Поли? — поддразнил он ее.

Она тоже засмеялась, и зубы ее блеснули. Хеннесси присоединился к их смеху, и Дик продолжал:

— Посмотрите на того жеребенка! Мы все знаем, что Паола ошиблась; но посмотрите на него! Она скрестила старую чистокровную кобылу, которую мы считали уже ни на что не годной, с призовым жеребцом — получила жеребенка. Опять скрестила с чистокровкой; его дочь скрестила с тем же призовым жеребцом, опрокинула все наши теории и получила, — нет, вы взгляните на него, — замечательное пони для поло. В одном

приходится перед ней преклониться; она не вносит в это никаких бабьих сантиментов. О, она весьма решительна! С твердостью мужчины, без всяких угрызений, она отбрасывает все неполноценное и отбирает то, что ей нужно. Но вот тайной масти она еще не овладела. Здесь гений ей изменяет. Верно, Поли? Ты еще немало поводишься, пока получишь Свою выездную пару, а тем временем придется тебе удовольствоваться Дадди и Фадди. Кстати, как теперь Дадди?

— Поправляется, благодаря заботам мистера Хеннесси, — отвечала Паола.

— Ничего серьезного, — заметил ветеринар. — Одно время дело с питанием разладилось. А новый конюх перепугался и поднял шум.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В течение всего пути от пастбища и до бассейна Грэхем беседовал с маленькой хозяйкой и держался настолько близко к ней, насколько позволяло коварство Франта. Дик и Хеннеси, ехавшие впереди, были погружены в деловые разговоры.

— Бессонница мучила меня всю жизнь, — говорила Паола, слегка щекоча шпорой Франта, чтобы предупредить новое поползновение к бунту. — Но я рано научилась не давать ей влиять на мои нервы и на мое настроение. Я еще в ранней молодости научилась извлекать из нее пользу и даже развлечение. Это было единственным средством преодолеть врага, который, я знала, будет преследовать меня всю жизнь. Вам, наверное, приходилось одолевая высокую волну, ныряя под нее?

— Да, не борясь и отдаваясь в ее власть, — ответил Грэхем, глядя на ее порозовевшее лицо и выступившие на нем от неустанной борьбы с беспокойной лошадью мелкие, как бисер, капельки пота. Тридцать восемь? Неужели Эрнестина соврала? Паоле Форрест нельзя было дать и двадцати восьми. Кожа у нее была как у совсем юной девушки, — такая же гладкая, упругая и прозрачная.

— Вот именно, — продолжала она, — не борясь. Опускаешься и поднимаешься, точно поплавок, следуя ритму волны, чтобы опять набрать воздуха. Дик показал мне, как это делается. Так же и с бессонницей. Если я не могу заснуть оттого, что возбуждена какими-то недавно пережитыми событиями, я отдаюсь этим впечатлениям и тогда скорее выплываю из их бурного потока, и мною овладевает забытие. Я заставляю себя переживать все вновь и вновь, с разных сторон, волнующие меня картины, которые не дают мне забыться.

Например, вчерашняя история с Горцем. Я ночью пережила ее сызнова — как действующее лицо; затем — как посторонний зритель: как девушки, вы, ковбой, а главное — мой муж. Потом я как бы написала с нее картину, много картин, со всяких точек зрения, и развесила их, а потом принялась рассматривать, точно увидела впервые. И я ставила себя на место разных зрителей: то старой девы, то педанта, то маленькой школьницы, то греческого юноши, жившего несколько тысяч лет назад. Затем я положила ее на музыку, сыграла на рояле и представила себе, как она должна звучать в большом оркестре или на духовых инструментах. Я спела ее,



продекламировала как балладу, элегию, сатиру и среди всего этого наконец заснула. Я поняла, что спала, только проснувшись сегодня в полдень. В последний раз я слышала, как часы били шесть. Шесть часов непрерывного сна — это для меня большая удача.

Когда она кончила свой рассказ, Хеннеси свернул на боковую дорогу, а Форрест подождал жену и поехал рядом с ней с другой стороны.

— Хотите держать пари, Ивэн? — спросил он.

— На что, хотел бы я знать прежде всего, — отозвался тот.

— На сигары... а пари, что вам не догнать Паолы в бассейне в течение десяти минут, — впрочем, нет — пяти; вы, насколько я помню, прекрасный пловец.

— О, дай ему. Дик, больше шансов для победы! — великодушно отозвалась Паола. — Десять минут — это много, он устанет.

— Но ведь ты не знаешь его как пловца, — возразил Дик. — И ни во что не ставишь мои сигары. Он замечательно плавает. Он побеждал канаков, а ты понимаешь, что это значит!

— Ну что ж, может быть, я еще и передумаю с ним состязаться. А вдруг он сразит меня, прежде чем я успею опомниться? Расскажи мне о нем и о его победах.

— Я тебе расскажу только одну историю. О ней до сих пор вспоминают на Маркизских островах. Это было в памятный ураган тысяча восемьсот девяносто второго года. Ивэн проплыл сорок миль за сорок пять часов; и только он да еще один человек добрались до берега. Остальные были канаки, он один белый среди них, — однако он продержался дольше них, они все утонули...

— Но ведь ты как будто сказал, что спасся еще кто-то? — прервала его Паола.

— Это была женщина, — отвечал Дик. — Канаки утонули.

— Значит, женщина была белая? — настаивала Паола.

Грэхем бросил на нее быстрый взгляд. Хотя Паола обратила свой вопрос к мужу, она повернула голову в его сторону, и ее вопрошающие глаза, смотревшие прямо, в упор, встретились с его глазами.

Грэхем выдержал ее взгляд и так же прямо и твердо ответил:

— Она была канака.

— Да еще королева, не угодно ли! — добавил Дик. — Королева из древнейшего рода туземных вождей. Королева острова Хуахоа.

— Что же, королевская кровь помогла ей не утонуть, когда все канаки утонули, или вы? — спросила Паола.

— Я думаю, что мы оба помогали друг другу, особенно в конце, —

отозвался Грэхем. — Мы временами уже теряли сознание — то она, то я. Только на закате мы добрались до земли, вернее, до неприступной стены, о которую разбивались гигантские волны прибоя. Она схватила меня в воде и стала трясти, чтобы как-нибудь образумить. Дело в том, что я намеревался здесь вылезть, а это означало конец.

Она дала мне понять, что знает, где мы находимся, что течение идет вдоль берега в западном направлении, и часа через два оно прибьет нас к тому месту, где можно будет выбраться на берег. Клянусь, я в течение этих двух часов или спал, или был без памяти. А когда я временами приходил в себя и не слышал больше ревающего прибоя, я видел, что она в таком же состоянии, в каком был сам перед тем. И тогда я, в свою очередь, начинал трясти ее и тормошить, чтобы привести в чувство. Прошло еще три часа, пока мы наконец очутились на песке. Мы заснули там же, где вышли из воды. На другое утро нас разбудили жгучие лучи солнца; мы уползли под дикие бананы, росшие невдалеке, нашли там пресную воду, напились и опять заснули. Когда я проснулся во второй раз, была ночь. Я снова напился воды, уснул и проспал до утра. Она все еще спала, когда нас нашла партия канаков, охотившихся в соседней долине на диких коз.

— Держу пари, что если уж утонула целая куча канаков, то скорее вы ей помогали, а не она вам, — заметил Дик.

— Она должна быть вам навеки благодарна, — сказала Паола, с вызовом глядя на Грэхема, — и не уверяйте меня, что она не была молода и красива, вероятно, настоящая золотисто-смуглая богиня, у

— Ее мать была королевой Хуахоа, — отвечал Грэхем. — А отец — англичанин, из хорошей семьи, ученый эллинист. К тому времени они уже умерли, и Номаре стала королевой. Она действительно была молода и красива, красивее всех женщин на свете. Благодаря отцу цвет ее тела был не золотисто-коричневый, а бледнозолотой. Но вы, наверное, слышали уже эту историю...

Он вопросительно посмотрел на Дика, но тот покачал головой.

Из-за группы деревьев донеслись крики, смех и плеск, — они приближались к бассейну.

— Вы должны как-нибудь досказать ее, — заявила Паола.

— Дик ее отлично знает. Не понимаю, почему он скрыл ее от вас.

Она пожала плечами:

— Может быть, ему было некогда или не представлялось случая.

— Увы, эта история получила широкую огласку, — засмеялся Грэхем. — Ибо, — да будет вам известно, — я был одно время морганатическим — или как это называется — королем каннибальских

островов, во всяком случае, одного райски прекрасного полинезийского острова, «где под шепот тропических рощ лиловый прибой набегал на опаловый берег», — замурлыкал он небрежно и соскочил с лошади.

— «И ночной мотылек трепетал на лозе, и пчела опускалась на клевер...» — подхватила Паола и внезапно всадила шпоры в бока Франта, который чуть не вонзил зубы ей в ногу. Затем она повернулась к Форресту, прося, чтобы он помог ей слезть и привязать лошадь.

— Сигары?! Я тоже участвую!.. Вам ее не поймать! — крикнул Берт Уэйнрайт с вышки в сорок футов. — Подождите минутку! Я иду к вам!

И он действительно присоединился к ним, прыгнув в воду ласточкой с почти профессиональной ловкостью и вызвав громкие рукоплескания девиц.

— Отличный прыжок! Мастерский! — похвалил его Грэхем, когда Берт вылез из бассейна.

Берт, сделав вид, что равнодушен к этой похвале, сразу же заговорил о пари.

— Я не знаю, какой вы пловец, Грэхем, — сказал он, — но я вместе с Диком держу пари на сигары.

— И я, и я тоже, — закричали хором Эрнестина, Льют и Рита.

— На конфеты, перчатки — словом, на все, чем вы готовы рискнуть, — добавила Эрнестина.

— Но ведь я тоже не знаю рекордов, миссис Форрест, — возразил Грэхем, записывая пари. — Однако если в течение пяти минут...

— Десяти, — поправила его Паола, — и стартовать от противоположных концов бассейна. Идет? Если вы только коснетесь меня, значит, поймали.

Грэхем с тайным восхищением оглядел Паолу. Она была не в белом шелковом трико, которое, видимо, надевала только в женском обществе, а в кокетливом, модном купальном костюме из переливчатого синевазеленого шелка — под цвет воды в бассейне; короткая юбка не доходила до колен, нежную округлость которых он тотчас же узнал. На ногах ее были длинные чулки того же цвета и маленькие туфельки; привязанные перекрещивающимися ленточками. На голове — задорная купальная шапочка: такая же задорная, как и сама Паола, когда она назначала десять минут вместо пяти.

Рита Уэйнрайт взяла в руки часы, а Грэхем направился к дальнему концу обширного бассейна в сто пятьдесят футов длиной.

— Смотри, Паола, — предупредил ее Дик, — действуй только наверняка, не то он тебя поймает. Ивэн Грэхем не человек, а рыба.

— А я уверен, что Паола возьмет верх, — заявил преданный Берт. — Я убежден, что и ныряет она лучше.

— Напрасно ты так думаешь, — ответил Дик. —

Я видел скалу, с которой Ивэн прыгал в Хуахоа. Это было уже после того, как он там жил, и после смерти королевы Номаре. Ему было всего двадцать два года, совсем мальчик, — и он не мог уклониться от этого прыжка с вершины Пау-Ви Рок высотой в сто двадцать восемь футов. К тому же нельзя было прыгать по всем правилам, так как под ним находилось еще два выступа. Верхний выступ и был пределом для самых ловких канаков, а с более высокого места никто из них не прыгал с тех пор, как они себя помнили. Ну что ж, он прыгнул. И поставил новый рекорд. Память об этом рекорде будет жить, пока на Хуахоа останется хоть один канак... Приготовься, Рита! Как только кончится эта минута...

— А по-моему, стыдно пускаться на хитрость с таким пловцом, — заявила Паола, глядя на гостя, стоявшего на том конце бассейна в ожидании сигнала.

— Как бы он не поймал тебя раньше, чем ты залезешь в трубу, — сказал Дик и затем с легкой тревогой в голосе обратился к Берту: — Что, там все в порядке? Если нет, Паоле придется пережить несколько неприятных секунд, пока она оттуда выберется.

— Все в порядке, — заверил его Берт. — Я сам все проверил. Труба прекрасно работает и полна воздуха.

— Готово! — закричала Рита. — Начали!

Грэхем стремглав бросился к вышке, на которую вбегала Паола. Она была уже наверху, а он еще на нижних ступеньках. Когда он достиг половины лестницы, она пригрозила, что сейчас же прыгнет, и предложила ему не лезть дальше, а выйти на площадку на высоте двадцати футов и бросаться в воду оттуда. Потом рассмеялась, глядя на него сверху, но все еще не прыгая.

— «Время бежит, драгоценные миги уходят», — продекламировала Эрнестина.

Когда он полез дальше, Паола опять предложила ему ограничиться нижней площадкой и сделала вид, что намерена прыгнуть. Но Грэхем не терял времени. Он уже поднимался на следующую площадку, а Паола, заняв позицию, не могла больше оглядываться. Он быстро поднялся, надеясь достигнуть следующей площадки раньше, чем она нырнет, а она знала, что ей уже медлить нельзя, и прыгнула, откинув голову, согнув локти, прижав руки к груди, вытянув и сжав ноги, причем тело ее, падая вперед и вниз, приняло горизонтальное положение.

— Ну прямо Аннета Келлерман! — раздался восторженный возглас Берта Уэйнрайта.

Грэхем на мгновение остановился, чтобы полюбоваться прыжком Паолы, и увидел, как в нескольких футах от воды она наклонила голову, вытянула руки, затем сомкнула их над головой и, изменив положение тела, погрузилась под обычным углом.

В ту минуту, когда она скрылась под водой, он взбежал на площадку в тридцать футов и стал ждать. Отсюда он ясно видел ее тело, быстро плывущее под водой прямо к противоположному концу бассейна. Тогда прыгнул и он. Грэхем был уверен, что нагонит Паолу, и его энергичный прыжок вдаль позволил ему погрузиться в воду футов на двадцать впереди того места, куда прыгнула она.

Но в то мгновение, когда он коснулся воды. Дик опустил в воду два плоских камня и стукнул их друг о друга. По этому сигналу Паола должна была повернуть. Грэхем услышал стук и удивился. Он вынырнул на поверхность и поплыл кролем к отдаленному концу бассейна, развивая бешеную скорость. Доплыв, он высунулся из воды и огляделся. Взрыв рукоплесканий с той стороны, где сидели девицы, заставил его взглянуть на другой конец бассейна, где Паола благополучно выходила из воды.

Он снова обогнул бегом бассейн, и снова она поднялась на вышку. Но теперь он благодаря выносливости и тренированному дыханию опередил ее и заставил нырять с двадцатифутовой площадки. Не задерживаясь ни на секунду, чтобы принять исходное положение и нырнуть ласточкой, она прыгнула и поплыла к западной стороне бассейна. Оба повисли в воздухе почти одновременно. И на поверхности и под водой он чувствовал, что Паола плывет где-то рядом, но она погрузилась в глубокую тень, ибо солнце уже стояло низко и вода была так темна, что в ней трудно было что-нибудь разглядеть.

Коснувшись стены бассейна, он поднялся. Паолы нигде не было видно. Он вылез, задыхаясь, готовый нырнуть опять, как только она покажется. Но ее и след простыл.

— Семь минут! — крикнула Рита. — С половиной!.. Восемь!.. С половиной!

Паола не появлялась на поверхности. Грэхем подавил тревогу, ибо не замечал на лицах зрителей никакого волнения.

— Я проигрываю, — заявил он Рите в ответ на ее возглас: «Девять минут!» — Паола под водой уже больше двух минут, но вы слишком спокойны, чтоб я стал тревожиться. Впрочем, у меня есть еще минута, может быть, я и не проиграю... — быстро добавил он и на этот раз просто

вошел в бассейн.

Опустившись довольно глубоко, он перевернулся на спину и стал ощупывать руками стены бассейна. И вот на самой середине, футах в десяти от поверхности воды, его руки натолкнулись на отверстие в стене. Он ощупал его края и, убедившись, что оно не закрыто сеткой, смело поплыл в него и тотчас же почувствовал, что можно подняться; но он поднимался медленно и, вынырнув в непроглядном мраке, стал шарить вокруг себя руками, избегая малейшего плеска.

Вдруг его рука коснулась чьей-то прохладной нежной руки, рука вздрогнула, и ее обладательница испуганно вскрикнула. Он крепко сжал эту руку и рассмеялся; Паола тоже засмеялась. А в его сознании вспыхнули слова: «Услыхав ее смех во мраке, я горячо полюбил ее».

— Как вы меня испугали, — сказала она. — Вы подплыли так бесшумно, а я была за тысячу миль отсюда и грезилась...

— О чем? — спросил Грэхем.

— Говоря по правде, мне пришел в голову фасон одного платья — такой мягкий шелковистый бархат винного цвета, строгие прямые линии, золотая кайма, шнур и все такое. И к нему одна-единственная драгоценность — кольцо с огромным кровавым рубином; Дик мне подарил его много лет назад, когда мы плыли на его яхте, «Все забудь».

— Есть что-нибудь на свете, чего бы вы не умели? — спросил он смеясь.

Она тоже засмеялась, и этот смех породил странные отзвуки в окружающем их гулке и пустом мраке.

— Кто вам сказал про трубу? — спросила она немного спустя.

— Никто. Но когда прошло две минуты и вы не показывались, я догадался, что тут какой-то фокус, и стал искать.

— Это Дик придумал, он уже потом вмонтировал трубу в бассейн. Он так любит всякие проделки. Ему страшно нравилось доводить старых дам до истерики: отправится с их сыновьями или внуками купаться — и спрячется с ними здесь. Но после того как одна или две чуть не умерли от испуга, он решил, поручая это дело мне, выбирать для надувательства более крепких людей, и ну вот как, например, сегодня вас... С ним случилась еще вот какая история: к нам приехала подруга Эрнестины, мисс Коглан, студентка. Он ухитрился поставить ее у выхода из трубы, а сам прыгнул с вышки и приплыл сюда от того конца трубы. Через несколько минут, когда она была чуть не в обмороке, уверенная, что он утонул, он заговорил с ней в трубу ужасным, замогильным голосом. Тут она в самом деле потеряла сознание.

— Должно быть, слабонервная девица, — заметил Грэхем, борясь с неудержимым желанием посостязаться с Паолой, чтобы видеть, как она выбивается из сил, стараясь не отстать.

— Ну, ее особенно винить нельзя, — возразила Паола. — Совсем девочка — восемнадцать лет, не больше, — и, как водится, влюбилась в Дика. Все они так. Ведь знаете, когда Дик разойдется, он становится прямо мальчишкой, и им не верится, что перед ними многоопытный, зрелый, много поработавший пожилой джентльмен. Самое неловкое было то, что, когда бедную девочку привели в чувство, она, не успев еще опомниться, сразу выдала тайну своего сердца. У Дика сделалось такое лицо, когда она пролепетала...

— Вы что там, ночевать собираетесь? — раздался в трубу голос Берта, причем казалось, что он кричит в мегафон.

— Господи! — воскликнул Грэхем, успокаиваясь и выпуская руку Паолы, которую он в первую минуту невольно схватил. — Теперь и я испугался. Ваша девочка отомщена: досталось и мне от вашей трубы.

— А нам пора вернуться в мир, — заметила Паола. — Нельзя сказать, что это самое уютное местечко для болтовни. Кому отправляться первым? Мне?

— Разумеется, а я поплыву за вами: очень жаль, что вода не фосфоресцирует. Тогда я мог бы следовать за вашей ступней, как тот малый, — помните, у Байрона?

Он услышал в темноте ее одобрительный смешок и затем слова:

— Ну, я поплыла.

Хотя вокруг не было ни малейшего проблеска света,

Грэхем догадался по легкому плеску, что Паола нырнула головой вниз, он почти видел внутренним взором, как красиво она это сделала, хотя обычно плавающие женщины очень неграциозны.

— Кто-нибудь вам проболтался, — заявил Берт, как только Грэхем появился на поверхности и вылез из бассейна.

— А вы тот разбойник, который стучал камнями под водой? — упрекнул его, в свою очередь, Грэхем. — Если бы я проиграл, я опротестовал бы пари. Это была нечистая игра, заговор, и эксперты, наверное, признали бы ее шулерством. Я мог бы предъявить иск...

— Но ведь вы же выиграли! — воскликнула Эрнестина.

— Бесспорно, и потому я не подам в суд ни на вас, ни на вашу банду жуликов, если вы расплатитесь немедленно. Пойдите, вы должны мне ящик сигар...

— Одну сигару, сэр!

— Нет, ящик! Ящик!

— В пятнашки! Давайте играть в пятнашки! — крикнула Паола. — В пятнашки! Я вас запятнала!

Немедленно перейдя от слов к делу, она хлопнула Грэхема по плечу и нырнула в воду. Не успел он кинуться за ней, как Берт обхватил его и стал вертеть, был запятнан сам и запятнал Дика, не дав ему удрать. Дик погнался через весь бассейн за женой, Берт и Грэхем пытались плыть ему наперерез, а девушки взбежали на вышку и выстроились там пленительным отрядом.



## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Доналд Уэйр, весьма посредственный пловец, не принимал участия в этом состязании, но зато после обеда он, к досаде Грэхема, завладел хозяйкой и не отпускал ее от рояля. Как это бывало обычно в Большом доме, нежданно нагрянули новые гости: адвокат Адольф Вейл, которому надо было переговорить с Диком об одном крупном иске относительно прав на воду; Джереми Брэкстон, только что приехавший из Мексики старший директор принадлежащих Дику золотых рудников «Группа Харвест», которые, как уверял Брэкстон, были по-прежнему неистощимы; Эдвин О'Хэй — рыжеволосый ирландец, музыкальный и театральный критик, и Чонси Бишоп — издатель и владелец газеты «Новости Сан-Франциско», университетский товарищ Дика, как узнал потом Грэхем.

Дик засадил часть гостей за игру в карты, которую он называл «роковой пятеркой»; игроками овладел страшный азарт, хотя их высший проигрыш был не выше десяти центов, а банкомет мог в крайнем случае за десять минут проиграть или выиграть девяносто центов.

Играли за большим столом в дальнем конце комнаты, и оттуда то и дело доносились шумные возгласы: одни просили одолжить им мелких денег, другие — разменять крупные.

В игре участвовало девять человек, и за столом было тесно, поэтому Грэхем не столько играл сам, сколько ставил на карты Эрнестины, все время поглядывая в другой конец длинной комнаты, где Паола Форрест и скрипач занялись сонатами Бетховена и балетами Делиба. Брэкстон просил повысить максимальный выигрыш до двадцати центов, а Дик, которому отчаянно не везло, — он уверял, что ухитрился проиграть целых четыре доллара шестьдесят центов, — жалобно молил кого-нибудь сорвать банк, чтобы было чем заплатить завтра утром за освещение и уборку комнаты. Грэхем, проиграв с глубоким вздохом свою последнюю мелочь, заявил Эрнестине, что пройдет по комнате «для перемены счастья».

— Я же вам предсказывала... — вполголоса заметила Эрнестина.

— Что? — спросил он.

Она бросила многозначительный взгляд в сторону Паолы.

— В таком случае я тем более пойду туда, — ответил он.

— Не можете отказаться от вызова? — подтрунила она.

— Если бы это был вызов, я бы не посмел принять его.

— В таком случае считайте это вызовом! — заявила она.

Он покачал головой.

— Я еще раньше решил пойти туда и столкнуть его с беговой дорожки. Ваш вызов уже не может удержать меня. Кроме того, мистер О'Хэй ждет вашей ставки.

Эрнестина спешно поставила десять центов и даже не заметила, проиграла она или выиграла, с таким волнением следила она за Грэхемом, когда он шел в другой конец комнаты, хотя отлично видела, что Берт Уэйнрайт перехватил ее взгляд и, в свою очередь, следит за ней. Однако ни она, ни Берт, да и никто из играющих не заметил, что и от Дика, который, весело блестя глазами, нес всякий вздор и вызывал непрерывный смех гостей, не укрылась ни одна деталь этой сцены.

Эрнестина, чуть выше ростом, чем Паола, но обещавшая в будущем располнеть, была цветущей светлой блондинкой с тонкой кожей, окрашенной нежным румянцем, какой бывает только у восемнадцатилетних девушек. Бледно-розовая кожа на пальцах, ладонях, запястьях, на шее и щеках казалась прозрачной. И Дик не мог не заметить, что, когда девушка смотрела на пробиравшегося в конец комнаты Грэхема, она вдруг залилась жарким румянцем. Дик заметил, что в ней словно вспыхнула какая-то мечта, но какая именно, он догадаться не мог.

А Эрнестина, глядя на то, как этот высокий, стройный человек с гордо откинутой головой и небрежно зачесанными, выжженными солнцем золотистопесочными волосами идет по комнате, как ей казалось, поступью принца, — впервые почувствовала нестерпимое до боли желание ласкать шелковистые пряди его волос.

Но и Паола, спорившая со скрипачом и упорно возражавшая против недавно появившейся в печати оценки Гарольда Бауэра, не спускала глаз с идущего к ней Грэхема. Она тоже с радостью отметила особое изящество его движений, гордую посадку головы, волнистые волосы, нежный бронзовый загар щек, великолепный лоб и удлиненные серые глаза, чуть прикрытые веками и по-мальчишески сердитые, причем это выражение тут же растаяло, когда он, улыбаясь, приветствовал ее. С тех пор как они встретились, она не раз замечала эту улыбку: в ней было какое-то неотразимое очарование, — дружеская, приветливая, она отражалась особым блеском в его глазах, а в уголках рта появлялись веселые добрые морщинки. На эту улыбку нельзя было не ответить, и Паола молча улыбнулась ему, продолжая излагать Уэйру свои возражения против слишком снисходительной рецензии О'Хэя на музыку Бауэра. Затем, исполняя, по-видимому, просьбу Уэйра, она заиграла венгерские танцы, снова вызвав восхищение Грэхема, усевшегося с папиросой в амбразуре

окна.

Он дивился ее многоликости, восхищался этими тонкими пальчиками, которые то укрощали Франта, то рассекали подводные глубины, то летели по воздуху, как лебеди, с сорокаметровой высоты, смыкаясь уже у самой водной поверхности над головой купальщицы, чтобы защитить ее от удара о воду.

Из приличия он только несколько минут посидел около Паолы, затем возвратился к гостям и вызвал их шумный восторг, непрерывно проигрывая пятаки счастливому и гордому директору из Мексики, превосходно при этом имитируя жадность и отчаяние скряги-еврея.

Позднее, когда игра кончилась, Берт и Льюис испортили Паоле адажио из «Патетической сонаты» Бетховена, иллюстрируя его каким-то гротескным фокстротом, который Дик тут же назвал «Любовь на буксире», и довели Паолу до того, что и она наконец расхохоталась и бросила играть.

Составились новые группы, Вейл, Рита, Бишоп и Дик засели за мостик. Доналду Уэйру пришлось уступить свою монополию на Паолу молодежи, явившейся к ней под предводительством Джереми Брэкстона. Грэхем и О'Хэй уселись в оконной нише и затеяли разговор о критике.

Молодежь хором спела гавайские песни под аккомпанемент Паолы, потом стала петь Паола, под собственный аккомпанемент. Она исполнила несколько немецких романсов. Пела она, видимо, только для окружавшей ее молодежи, а не для всего общества, и Грэхем почти с радостью решил, что, кажется, наконец-то отыскал в ней несовершенство: пусть она замечательная пианистка, прекрасная наездница, отлично ныряет и плавает, но, — невзирая на свою лебединую шею, она не бог весть какая певица. Однако ему скоро пришлось изменить свое мнение. Она все-таки оказалась певицей, настоящей певицей. Правда, в голосе у нее не было мощи и блеска, но он был нежен и гибок, с тем же теплым трепетом, который пленял и в ее смехе. И если ему не хватало силы, то это искупалось точностью звука, выразительностью и пониманием, художественным мастерством.

Да, голос небольшой. А вот прелестью тембра он захватывает, тут ничего не скажешь. Это был голос настоящей женщины, он звучал всей полнотой страсти, всем зноем пылкого темперамента, хотя и укрощенного непреклонной волей. Восхитило его также умение певицы, хорошо понимающей особенности своего голоса, искусно пользоваться им, не напрягая его, — тут она выказала настоящее мастерство.

И в то время как Грэхем рассеянно кивал О'Хэю, читавшему целую лекцию о состоянии современной оперы, он спрашивал себя: владеет ли

Паола и в сфере более глубоких чувств и страстей своим темпераментом с таким же совершенством, как в искусстве? Этот вопрос занимал его «из любопытства», как он твердил себе, — но здесь говорило не одно любопытство: в Грэхеме было затронуто нечто большее, чем любопытство, нечто более стихийное, заложенное с незапамятных времен в существе мужчины.

Внезапное желание получить ответ на свой вопрос заставило его задуматься и окинуть взглядом эту длинную комнату с высоким потолком из огромных балок, висячую галерею, украшенную трофеями, собранными со всех концов света, и наконец самого Дика Форреста — хозяина всех этих материальных благ, мужа этой женщины, который сейчас играл так же, как он работал, — от всего сердца, и весело смеялся над Ритой, пойманной в плутовстве: она не сдала карту в масть, — ведь Грэхем никогда не закрывал глаза на суровую правду. А за всеми этими вопросами и абстрактными рассуждениями стояла живая женщина — Паола Форрест, блестящая, прелестная, необыкновенная, воплощение подлинной женственности. С той минуты, когда он увидел Паолу впервые и был поражен образом всадницы на тонущем жеребце, она словно заворожила его мужское воображение. Ведь он меньше всего был новичком в отношении женщин и обычно держал себя, как человек, утомленный их убогим однообразием. Встретить незаурядную женщину было все равно, что найти великолепную жемчужину в лагуне, опустошенной многими поколениями искателей жемчуга.

— Рада видеть, что вы еще живы, — засмеялась Паола, через некоторое время обратившись к нему.

Она и Льют уходили спать. Между тем составилась новая бридж: Эрнестина, Берт, Джереми Брэкстон и Грэхем, а О'Хэй и Бишоп уже склонились над шашками.

— Наш ирландец в самом деле очарователен, только ему нельзя садиться на своего конька, — продолжала Паола.

— А конек, видимо, музыка? — спросил Грэхем.

— Когда дело касается музыки, он становится несносным, — заметила Льют. — Это единственное, в чем он действительно ничего не понимает. Он может прямо с ума свести...

— Успокойся, — засмеялась Паола грудным смехом, — вы все будете отомщены. Дик сейчас шепнул мне, чтобы я на завтрашний вечер позвала философов. А вы знаете, как они любят поговорить о музыке! Музыкальный критик — это их законная добыча.

— Терренс сказал как-то, что на эту дичь охота разрешена в любое

время года, — добавила Льют.

— Терренс и Аарон доведут его до того, что он запьет, — смеясь, продолжала Паола, — не говоря уже о Дар-Хиале с его цинической теорией искусства, которую он, конечно, в опровержение всего, что будет сказано, ухитрится применить к музыке. Сам-то он не верит ни на грош в свою циническую теорию и относится к ней так же несерьезно, как — помните? — к своему танцу. Просто это его манера веселиться. Он такой глубокомысленный философ, что надо же ему когда-нибудь и пошутить.

— Но если О'Хэй опять сцепится с Терренсом, — зловещим тоном провозгласила Льют, — я уже заранее вижу, как Терренс берет его под руку, спускается с ним в бильярдную и там подкрепляет свои аргументы самой невообразимой смесью напитков.

— В результате чего О'Хэй будет на другой день совсем болен, — подхватила, посмеиваясь, Паола.

— Я ему непременно скажу, чтобы он так и сделал! — воскликнула Льют.

— Вы не думайте, мы вовсе не такие дурные, — обратилась Паола к Грэхему. — Просто у нас в доме уж такой дух. Дику шалости нравятся, он сам постоянно придумывает всякие шутки. Это его способ отдыхать... Именно он шепнул Льют насчет того, чтобы Терренс потащил О'Хэя в бар, я уверена.

— Что ж, я скрывать не буду, — ответила Льют глубокомысленно. — Да, идея принадлежит не мне одной.

В эту минуту к ним подошла Эрнестина и сказала Грэхему:

— Мы все ждем вас. Карты уже сняли, вы мой партнер. Да и Паола собирается спать. Пожелайте ей спокойной ночи, и пусть уходит.

Паола удалилась в десять часов. Бридж кончился в час. Дик, побратски обняв Эрнестину, дошел с Грэхемом до поворота в его сторожевую башню и, пожелав ему спокойной ночи, решил проводить свою юную сестренку.

— Минутку, Эрнестина, — сказал он при прощании" открыто и ласково глядя на нее смеющимися серыми глазами; но голос его звучал серьезно и предостерегающе.

— Ну, что я еще натворила? — шутливо проворчала она.

— Ничего... пока. Но лучше и не начинай, иначе твое сердечко будет разбито. Ведь ты еще девочка — что такое восемнадцать лет!.. Милая, прелестная девочка, на которую всякий мужчина обратит внимание. Но Ивэн Грэхем — не «всякий».

— О, пожалуйста... Нечего меня опекать, я не маленькая! —

вспыхнув, возразила она.

— А все-таки выслушай меня. В жизни каждой молодой девушки наступает такое время, когда пчела любви начинает очень громко жужжать в ее хорошенькой головке. Тут-то и нужно удержаться от ошибки и не полюбить кого не следует. Пока ты в Ивэна Грэхема еще не влюблена, твоя единственная задача — не влюбиться и в дальнейшем. Он тебе не пара, да и вообще не пара молоденькой девушке. Грэхем уже не юноша, он много пережил и, конечно, давно и думать забыл о романтической любви и о юных птенчиках, — тебе и за десять жизней не узнать того, что для него уже давно не новость. И если он опять когда-нибудь женится...

— Опять? — прервала его Эрнестина.

— Он, милая, больше пятнадцати лет как овдовел.

— Ну так что же? — задорно спросила она.

— А то, — спокойно продолжал Дик, — что он уже пережил свой юношеский роман, и какой волшебный роман!.. И раз он за эти пятнадцать лет не женился вторично, значит...

— Он не может забыть своей утраты? — снова прервала его Эрнестина. — Но это еще не доказывает...

— Значит, он пережил юношеский период увлечений, — настойчиво продолжал Дик. — Вглядись в него попристальнее, и ты поймешь, что у него, конечно, не было недостатка в подходящих случаях и что, наверное, не раз по-настоящему обаятельные, умные и опытные женщины пытались вскружить ему голову и сломить его упорство. Но до сих пор ни одна не поймала его. Что же касается молоденьких девушек" то ты сама знаешь: за таким человеком они гоняются целыми стаями. Обдумай все это и побереги себя. Если ты не дашь своему сердцу воспламениться, ты спасешь его в будущем от ощущений мучительного холода.

Он взял ее руку, обнял за плечи и ласково привлек к себе.

Наступило молчание; Дик старался угадать, о чем думает Эрнестина.

— Знаешь, мы искушенные, многоопытные старцы... — начал он шутливым и виноватым тоном.

Но она резко передернула плечами и воскликнула:

— Только такие и стоят внимания! Молодые люди, наши сверстники, — просто мальчишки и ничуть не интересны. Они вроде жеребят: только бы им скакать, шуметь, веселиться. В них нет ни капли серьезности, среди них не встретишь сложных натур... они... в них девушки не чувствуют ни умудренности, ни силы... — словом, настоящей мужественности.

— Это-то я понимаю, — пробормотал Дик. — Но не забудь,

пожалуйста, взглянуть на дело и с другой стороны: ведь и вы, пылкие молодые создания, должны производить на мужчин нашего возраста такое же впечатление. Они видят в таких, как вы, игрушку, развлечение, прелестного мотылька, с которым можно мило резвиться, но не подругу, не равную себе, с кем можно делить и радость и горе. Жизнь надо узнать. И зрелые женщины ее узнали... некоторые, во всяком случае. Но такой птенец, как ты, Эрнестина, — что ты успела узнать?

— Слушай, — вдруг остановила она Дика нетерпеливо, почти мрачно, — Расскажи мне про этот его странный юношеский роман, — тогда, пятнадцать лет назад.

— Пятнадцать? — быстро ответил Дик, что-то соображая. — Нет, не пятнадцать, — восемнадцать. Поженились они за три года до ее смерти. Они были обвенчаны английским пастором и стали уже супругами, когда ты, плача, еще только вступила в этот мир. Вот и считай...

— Да, да... ну, а потом? — нервно торопила она его. — Какая она была?

— Ослепительная красавица, золотисто-смуглая, или матово-золотая, полинезийская королева смешанной крови. Ее мать царствовала до нее, а отец был английский джентльмен и настоящий ученый, получивший образование в Оксфорде. Звали ее Номаре; она была королевой острова Хуахоа, дикарка. А Грэхем был настолько молод, что ему ничего не стоило обратиться в такого же дикаря, как и она, если не в большего. Но в их браке не было ничего низменного. Ведь Грэхем не какой-нибудь голодранец, авантюрист. Она принесла ему в приданое свой остров и сорок тысяч подданных. А он принес ей свое весьма значительное состояние и построил дворец, какого никогда не было и не будет на островах Южных морей. Настоящая туземная постройка из цельных, слегка обтесанных стволов, связанных канатами из кокосового волокна, с травяной кровлей и всем прочим в том же роде. Казалось, будто дворец вырос, как деревья, из той же земли, что он пустил в нее корни, что он неотделимая часть этого острова, хотя его и создал архитектор Хопкинс, которого Грэхем выписал из Нью-Йорка.

А как они жили! У них была собственная королевская яхта, дача в горах, плавучая дача — тоже целый дворец. Я был в нем. Там устраивались роскошные пиры... впрочем, уже позднее. Номаре умерла, Грэхем исчез неведомо куда, и островком правил родственник Номаре по боковой линии.

Я говорил тебе, что Грэхем сделался еще большим дикарем, чем она. Они ели на золоте... Да разве все перескажешь! Он был тогда совсем мальчик. Она — тоже дитя, наполовину англичанка, наполовину

полинезийка — и настоящая королева. Два прекрасных цветка двух народов, двое чудесных детей из волшебной сказки... И... видишь ли, Эрнестина, годы-то ведь прошли, и для Ивэна Грэхема царство молодости давно осталось позади... Чтобы теперь покорить его, нужна совершенно особенная женщина. Кроме того, он, в сущности, разорен, хотя и не промотал свое состояние. Такая уж у него несчастная судьба.

— Паола больше в его духе, — задумчиво проговорила Эрнестина.

— Да, конечно, — согласился Дик. — Паола или Другая женщина вроде нее для него в тысячу раз привлекательнее, чем все прелестные молодые девушки, вместе взятые. У нас, старшего поколения, знаешь ли, свои идеалы.

— А мне что ж, прикажешь довольствоваться юнцами? — вздохнула Эрнестина.

— Пока да, — усмехнулся он. — Но не забывай, что и ты со временем вырастешь и можешь стать замечательной зрелой женщиной, способной победить в любовном состязании даже такого человека, как Ивэн.

— Но ведь я тогда давно буду замужем, — огорченно протянула она.

— И это будет для тебя очень хорошо, дорогая. А теперь — спокойной ночи. И не сердись на меня. Ладно?

Она улыбнулась жалкой улыбкой, покачала головой, протянула ему губы для поцелуя. На прощанье она сказала:

— Я не буду сердиться, но при условии, чтобы ты показал мне дорогу, по которой я когда-нибудь смогу добраться до сердца таких стариков, как ты и Грэхем.

Дик, гася на пути электричество, направился в библиотеку и, отбирая справочники по механике и физике, улыбнулся довольной улыбкой, вспоминая свой разговор со свояченицей. Он был уверен, что предупредил ее относительно Грэхема как раз вовремя. Но, поднимаясь по скрытой за книгами потайной лестнице в свой рабочий кабинет, он вдруг вспомнил одно замечание Эрнестины и сразу остановился, прислонившись плечом к стене. «Паола больше в его духе...»

— Осел! — рассмеялся он вслух и пошел дальше. — А еще двенадцать лет женат!

Он не вспоминал о словах Эрнестины до той минуты, пока не лег в постель и, прежде чем заняться интересовавшим его вопросом о практическом применении электричества, не посмотрел на барометр и термометры. Затем он устремил взгляд на темный флигель по ту сторону двора, чтобы узнать, спит ли Паола, и ему опять вспомнилось восклицание Эрнестины. Он еще раз назвал себя ослом и стал, как обычно, пробегать



оглавления отобранных им книг, закладывая нужные страницы спичками.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Десять часов давно пробило, когда Грэхем, скитаясь по дому и гадая о том, бывает ли, что Паола выходит из своего флигеля раньше середины дня, забрел в музыкальную комнату. Хотя он жил у Форрестов уже несколько дней, но дом был так огромен, что сюда Грэхем, оказывается, еще не заглядывал. Это был чудесный зал, тридцать пять на шестьдесят футов, с высоким потолком, между балками которого были вставлены желтые стекла, благодаря чему комната была залита мягким золотистым светом. В окраске стен и мебели было много красных тонов, и всюду, казалось, жили сладостные отзвуки музыки.

Грэхем рассеянно смотрел на картину Кейта с обычными для этого художника контрастами пронизанного солнцем воздуха и тонувших в сумеречной тени овец, как вдруг уголком глаза заметил, что в дальнюю дверь вошла Паола. И опять при виде нее у него слегка захватило дыхание. Она была вся в белом и казалась совсем юной и даже выше ростом благодаря свободным складкам холоку — этой изысканно-простой и как будто бесформенной одежды. Грэхем видел холоку на ее родине, Гавайях, где она придавала прелесть даже некрасивым женщинам, а красивых делала вдвое пленительнее.

Они улыбнулись друг Другу через всю комнату, и он отметил в движениях ее тела, в Повороте головы, в открытом, приветливом взгляде что-то товарищеское, дружелюбное, словно она хотела сказать: «Мы друзья». Так по крайней мере казалось Грэхему, когда она подходила к нему.

— У этой комнаты есть один недостаток, — серьезно сказал он.

— Ну что вы! Какой же?

— Ей следовало быть гораздо длиннее, в два раза длиннее.

— Почему? — спросила она, недоуменно покачивая головой, а он любовался нежным девическим румянцем ее щек, который никак не вязался с ее тридцатью восемью годами.

— А потому, — отвечал он, — что вам тогда пришлось бы пройти вдвое больше и я бы мог дольше вами любоваться. Я всегда говорил, что холоку — самая прелестная одежда, когда-либо изобретенная для женщин.

— Значит, дело не во мне, а в моем холоку, — отозвалась она. — Я вижу, вы совсем как Дик: у вас комплименты всегда на веревочке, — едва мы, бедняжки, им поверим, как вы потянете за веревочку — и нет

комплимента. А теперь давайте я покажу вам комнату, — быстро продолжала она, словно желая предупредить его возражения. — Дик ее отдал мне. И здесь все по моему выбору, даже пропорции.

— А картины?

— Я их выбрала сама, все до единой, и каждую из них люблю, хотя Дик и спорил со мной относительно Верещагина<sup>[7]</sup>. Он очень одобрил обоих Милле, вон того Коро, а также Изабе; он допускает, что в музыкальной комнате может висеть какое-нибудь полотно Верещагина, но только не это. Он предпочитает местных художников иностранцам, — хочет, чтобы наших висело больше, чем чужих, и чтобы мы научились ценить своих мастеров.

— Я недостаточно знаю художников Тихоокеанского побережья, — сказал Грахем. — Мне хотелось бы услышать о них... Покажите мне... Да, несомненно, там висит Кейт... А кто рядом с ним? Чудесная вещь.

— Некто Мак-Комас, — отозвалась Паола.

Грэкем только что собрался провести полчаса в приятной беседе о живописи, как в комнату вошел Доналд Уэйр; на лице его было написано беспокойство, но при виде маленькой хозяйки глаза радостно заблестели.

Держа под мышкой скрипку, он с деловитым видом направился прямо к роялю и начал расставлять ноты.

— Мы будем до завтрака работать, — обернулась Паола к Грэкему. — Доналд уверяет, что я ужасно отстала, и, думаю, он отчасти прав. Увидимся за завтраком. Если хотите, можете, конечно, здесь остаться, но предупреждаю, что будет настоящая работа. А перед вечером пойдем купаться. Дик назначил встречу возле бассейна в четыре. Он говорит, у него есть новая песня и он непременно ее исполнит... Который час, мистер Уайр?

— Без десяти одиннадцать, — ответил скрипач с некоторым раздражением.

— Вы пришли слишком рано: мы условились на одиннадцать. Поэтому, сударь, вам придется подождать до одиннадцати. Я должна сначала поздороваться с Диком. Я с ним еще не виделась сегодня.

Паола знала точно, как распределено время мужа. Последний листок ее записной книжки, всегда лежавший на ночном столике, был исчерчен какими-то иероглифами, напоминавшими ей о том, что в шесть тридцать он пьет кофе; что если он не поехал верхом, его можно иногда застать до восьми сорока пяти в постели за просмотром книг или корректур; от девяти до десяти к нему нельзя, ибо он диктует письма Блэйку; от десяти до одиннадцати к нему тоже нельзя — он совещается со своими экономами и

управляющими, в то время как Бонбрайт, секретарь, с быстротой репортера записывает эти молниеносные интервью.

В одиннадцать, если не было срочных телеграмм или неотложных дел, она могла застать мужа одного, хотя и тут он всегда был чем-нибудь занят. Проходя мимо конторы, она услышала стук пишущей машинки и поняла, что Дик уже один. В библиотеке она встретила Бонбрайта, искавшего какую-то книгу для Мэнсона, скотовода, ведающего шотхорнами, — это означало, что Дик покончил и с делами по имению.

Она нажала кнопку, и ряд полок с книгами повернулся перед ней, открыв витую стальную лесенку, которая вела в рабочий кабинет Дика. Наверху, послушные скрытой пружине, полки опять повернулись, и она бесшумно вошла.

Но тут она услышала голос Джереми Брэкстона, и по ее лицу пробежала тень досады. Еще никого не видя и сама никем не замеченная, Паола в нерешительности остановилась.

— Затопить так затопить, — говорил директор рудников Харвест. — Конечно, воду можно будет потом выкачать, хотя для этого потребуются целое состояние, да и как-то стыдно затоплять старые рудники.

— Но ведь отчеты за последний год показали, что мы работаем положительно себе в убыток, — услышала Паола голос Дика. — Нас грабят все: любой головорез из банды Уэрты<sup>[8]</sup>, любой пеон-конокрад. А тут еще чрезвычайные налоги, бандиты, повстанцы, федералисты. Можно было бы уж как-нибудь потерпеть, если бы предвиделся всему этому конец, но у нас нет никаких гарантий, что беспорядки не продлятся еще десять — двадцать лет.

— И все-таки — подумайте! Топить жалко! — опять возразил управляющий.

— А вы не забываете о Вилье<sup>[9]</sup>, — возразил, в свою очередь. Дик с язвительным смехом, горечь которого не ускользнула от Паолы. — Он ведь заявил, что если победит, то раздаст всю землю пеонам; следующий неизбежный шаг — рудники. Как вы думаете, сколько мы переплатили за минувший год конституционалистам?

— Свыше ста двадцати тысяч, — быстро ответил Брэкстон, — не считая пятидесяти тысяч золотыми слитками, данных Торенасу перед его отступлением. Он бросил свою армию в Гваимаса да и махнул с добычей в Европу... Я вам обо всем писал...

— А если мы будем продолжать работы, Джереми, они будут доить нас, доить без конца. Нет, хватит! По-моему, все-таки лучше затопить...

Если мы умеем создавать богатства успешнее, чем эти бездельники, то покажем им, что мы умеем так же легко и разрушать их.

— Это самое я им и говорю. А они только ухмыляются и повторяют, что ввиду крайней необходимости такие-то и такие-то добровольные пожертвования были бы весьма приятны вождям повстанцев — то есть им самим. Их главные вожди, конечно, не возьмут себе ни одного песо. Господи, боже мой! Я им напомнил все" что мы сделали: дали постоянную работу пяти тысячам пеонов; повысили жалованье с десяти до ста десяти сентаво в день. Я показал им пеонов, которые получали, когда мы их наняли, десять сентаво, а теперь они получают пять песо. Куда там! Только улыбаются и заняты одним: как бы выжать добровольное пожертвование на святое дело революции. Ей-богу, старик Диас хоть был и разбойник, но приличный разбойник. Я сказал этому Аррансо: «Если мы свернем работу, пять тысяч мексиканцев окажутся на улице. Куда вы их денете?» Аррансо усмехнулся и говорит: «Куда денем? Что ж, дадим им ружья и поведем их на Мехико».

Паола ясно представила себе, как Дик презрительно пожимает плечами, отвечая своему собеседнику:

— Беда в том, что там еще есть золото и мы одни можем его извлечь. У мексиканцев на это мозгов не хватит. Они умеют только палить из ружей, а уж из нас выкачивают все до последнего. Остается одно, Джереми: позабыть примерно на год о всякой прибыли, распустить рабочих, оставив только техников, и выкачивать воду.

— Я все это старался внушить Аррансо, — пробасил Джереми Брэкстон. — А что он мне ответил? Если-де мы распустим рабочих, они заставят уйти техников — и пусть нашу шахту затопит ко всем чертям. Нет, последнего он, впрочем, не говорил, но так улыбался, что все было ясно. Я бы с удовольствием свернул ему его желтую шею, но ведь я знаю, что на следующий день явится другой и будет требовать еще больше. Так вот, Аррансо получил, что хотел, но в довершение всего он, прежде чем присоединиться к своим повстанцам под Хуаресом, приказал угнать триста наших мулов. Это убыток в тридцать тысяч долларов, и главное — после того, как я его подмазал! Вот желтая каналья!

— Кто сейчас вождь повстанцев на приисках? — услышала затем Паола вопрос Дика, причем в его тоне была та отрывистость и резкость, которые, как она знала, показывали, что он, собрав воедино все нити какого-нибудь запутанного дела, решил действовать.

— Рауль Бена.

— Чин?

— Полковник. Под его началом около семидесяти человек всяких оборванцев.

— Чем занимался раньше?

— Пас овец.

— Отлично, — продолжал Дик все так же отрывисто и твердо. — Вам придется разыграть роль: изобразите из себя патриота. Возвращайтесь на место как можно скорее. Ублажайте этого Рауля Бена. Вашу игру он раскусит, или он не мексиканец. А вы все-таки его ублажайте и посулите, что сделаете его генералом, вторым Вильей.

— Господи, ну как, как я это сделаю?

— Поставьте его во главе армии в пять тысяч человек. наших людей распустите, — пусть он создаст из них войско волонтеров<sup>[10]</sup>. Так как у Уэрты дела плохи, то нам ничего не грозит. Заверьте его, что вы истинный патриот. Дайте людям винтовки. Мы раскошелимся в последний раз, и вы докажете ему ваш патриотизм. Обещайте каждому, что он после войны вернется на прежнюю работу. Пусть, с вашего благословения, уходят с этим Раулем. Оставьте людей столько, сколько нужно, чтобы выкачивать воду. И если мы на год или на два откажемся от прибылей, то не потерпим и убытков. А может быть, и затоплять не придется.

Тихонько возвращаясь по винтовой лестнице в музыкальную комнату, Паола про себя улыбалась: как Дик все это ловко придумал! Она была огорчена не положением дел в компании Харвест, — с тех пор, как она стала женою Дика, в полученных ею от отца рудниках постоянно происходили беспорядки, — она была огорчена тем, что не состоялось их утреннее свидание. Но когда она опять встретила с Грэхемом, который задержался у рояля и, увидев ее, хотел удалиться, ее дурное настроение рассеялось.

— Не убегайте, — остановила она его. — Останьтесь и посмотрите, как люди работают; может быть, это вас наконец заставит приняться за вашу книгу. Дик говорил мне о ней.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Во время завтрака на лице Дика не было и следа озабоченности, как будто Брэкстон привез ему весть о том, что рудники «Группа Харвест» неизменно процветают. Вейл уже уехал с утренним поездом — он, видимо, успел обсудить с Диком свое дело в какие-то сверххранние часы, но Грэхем увидел за столом еще более многочисленное общество, чем обычно. Кроме некоей миссис Тюлли, пожилой полной светской дамы в очках, — Грэхему не сказали, кто она, — он увидел трех новых гостей: мистера Гэлхасса — правительственного ветеринара, мистера Дикона — довольно известного на побережье портретиста и Лестера — капитана тихоокеанского парохода, служившего лет двадцать назад шкипером на яхте Дика и обучавшего его искусству навигации.

Завтрак уже кончался, и Брэкстон начал посматривать на часы, когда Дик, обращаясь к нему, сказал:

— Джереми, я хочу вам кое-что показать. Мы сейчас же и отправимся. Вы успеете к поезду.

— Да, да, поедemте и мы всей компанией, — предложила Паола. — Я сама сгораю от любопытства, потому что Дик держал это в секрете.

Дик кивнул, и она распорядилась, чтобы поскорее подали автомобили и седлали лошадей.

— Что это такое? — спросил Грэхем, когда она отдала все нужные распоряжения.

— Ах, один из коньков Дика. Он ведь всегда чем-нибудь увлекается. Одно изобретение. Он клянется, что оно вызовет целую революцию в земледелии, особенно в мелких хозяйствах. Я знаю, в чем основная идея, однако еще не видела ее осуществленной. Все было готово уже неделю назад, задержка произошла из-за какого-то троса или чего-то в этом роде.

— Мое изобретение может дать миллиарды, если дело пойдет на лад, — улыбнулся Дик, сидевший по другую сторону стола. — Миллиарды для фермеров всего мира и кое-какой процент для меня... если, повторяю, дело наладится.

— Но что же это? — спросил О'Хэй. — Музыка в коровьих хлевах, чтобы коровы охотнее давали молоко?

— Каждому фермеру останется только спокойно посиживать на своем крылечке, — пояснил Дик. — Добывание сельскохозяйственных продуктов будет требовать не больше труда, чем лабораторное изготовление пищи.

Впрочем, подождите — сами увидите. Если дело удастся, вся моя работа по коневодству полетит к чертям, ибо это изобретение заменит работу одной лошади в любом десятиакровом хозяйстве.

Вся компания, кто в машине, кто верхом, отъехала на милю от Большого дома и остановилась возле огороженного поля, в котором, по словам Дика, было ровно десять акров.

— Вот эта ферма, — сказал Дик, — здесь только один человек, он сидит на своем крыльце, и у него нет лошади. Пожалуйста, представьте себе и его и крыльцо.

Посреди поля возвышалась массивная стальная мачта футов двадцать в высоту, укрепленная оттяжками над самой землей. От барабана на верхушке шеста к самому краю поля тянулся тонкий трос, прикрепленный к рулевому механизму маленького бензинового трактора. Возле трактора сустились два механика. По знаку Форреста они включили мотор.

— Вот здесь крылечко, — сказал Дик. — Представьте себе, что мы — тот будущий фермер, который сидит в тени и читает газету, а плуг работает себе и работает и не нуждается ни в лошади, ни в человеке.

Барабан сам, без управления, начал накручивать кабель; машина, описывая окружность, или, вернее, спираль, радиусом которой являлась длина троса, соединявшего ее с барабаном на стальной мачте, пошла, оставляя за собой глубокую борозду.

— Как видите, не нужно ничего — ни лошади, ни кучера, ни пахаря: просто фермер заводит трактор и пускает его в ход, — снова начал Дик, в то время как машина продолжала перевертывать пласты коричневой земли, описывая все меньшие окружности. — Можно пахать, боронить, сеять, удобрять, жать, сидя на пороге своего дома. А там, где ток будет давать электростанция, фермеру или его жене останется только нажать кнопку, и он может вернуться к своей газете, а она к своим пирогам.

— Вам надо теперь сделать окно, чтобы его окончательно усовершенствовать, — сказал Грэхем, — это превратит окружность, которую он описывает, в квадрат.

— Да, — согласился Гэлхасс, — при такой системе часть земли на квадратном поле пропадает.

Грэхем, видимо, производил в уме какие-то вычисления, потом сказал:

— Теряется примерно три акра на каждые десять.

— Не меньше, — согласился Дик. — Но ведь у фермера должно же быть где-нибудь на этих десяти акрах его крылечко — то есть дом, сарай, птичник и все хозяйственные постройки. Так вот, чем действовать по старинке, ставить все это непременно где-нибудь посередине своих десяти



акров, пусть разместит постройки на оставшихся трех акрах. Пусть сажает по краям поля плодовые деревья и ягодные кусты. Если подумать, то старый обычай ставить свой дом посреди поля имеет большие минусы: пахать приходится на площади, представляющей собой ряд неправильных прямоугольников.

Мистер Гэлхасс усердно закивал:

— Бесспорно. Да считайте дорогу от дома до шоссе. А если еще есть и проезжая дорога — тоже часть земли пропадает... Все это дробит поле на ряд небольших прямоугольников и очень невыгодно.

— Вот если бы навигация могла быть такой же автоматической, — заметил капитан Лестер.

— Или писание портретов, — засмеялась Рита Уэйнрайт, бросив на Дикона лукавый взгляд.

— Или музыкальная критика, — добавила Льют, ни на кого не глядя.

А О'Хэй тут же добавил:

— Или искусство быть очаровательной женщиной.

— Сколько стоит сделать такую машину? — спросил Джереми Брэкстон.

— Сейчас она нам обходится — и с выгодой для нас — в пятьсот долларов. А если бы она вошла в употребление и началось ее серийное производство, то можно считать — триста. Но допустим даже, что пятьсот. При пятнадцати процентах погашения она обходилась бы фермеру семьдесят долларов в год. А какой же фермер, имея десять акров двухсотдолларовой земли, может на семьдесят долларов в год содержать лошадь? Кроме того, трактор сберегает ему труд, свой или наемный; даже по самой нищенской оплате это все-таки дает двести долларов в год.

— Но что же направляет его? — спросила Рита.

— А вот этот самый барабан на мачте. Механизм барабана рассчитан на все изменения радиуса. Представляете себе, какие тут понадобились сложные вычисления? Он вращается вокруг своей оси, трос наматывается на барабан и подтягивает трактор к центру.

— Даже мелкие фермеры приводят множество возражений против того, чтобы был введен такой плуг, — сказал Гэлхасс.

Дик кивнул.

— Я записал до сорока таких возражений и распределил их по рубрикам. Столько же высказано по адресу самой машины. Если это даже и удачное изобретение, то понадобится еще долгое время, чтобы усовершенствовать его и ввести в общее употребление.

Внимание Грэхема раздваивалось: он то смотрел на работающий

трактор, то украдкой поглядывал на Паолу, которая вместе со своей лошадейю являла собой прелестную картину. Она впервые села на Лань, которую для нее объездил Хеннесси. Грэхем улыбался, втайне одобряя тонкость ее женского чутья: заранее ли Паола приготовила себе костюм, подходивший именно для этой лошади, или она надела просто наиболее соответствующий из имевшихся под рукой, но результат получился блестящий.

День стоял жаркий, и на ней вместо обычной амазонки была рыжевато-красная блуза с белым отложным воротничком. Короткая, удобная для верховой езды юбка доходила до колен, от колен же до маленьких светлых сапожков со шпорами ноги ее были обтянуты рейтузами. Юбка и рейтузы были из золотисто-рыжего бархата. Мягкие белые перчатки спорили с белизной воротничка. Паола была без шляпы, волосы зачесаны на уши и собраны на затылке в пышный узел.

— Я не понимаю, как вы ухитряетесь сохранять белизну кожи при таком палящем солнце, — отважился заметить Грэхем.

— А я и не подставляю ее солнцу, — улыбнулась Паола, блеснув зубами. — Только несколько раз в году. Мне очень нравится, когда волосы слегка выгорают, они становятся золотыми, но сильного загара я опасаясь.

Лошадь зашалила; легким порывом ветра отнесло в сторону юбку Паолы, и открылось круглое колено, туго обтянутое узкими рейтузами. Глядя на это колено, которое крепко прижалось к новому английскому седлу из светлой свиной кожи, под цвет лошади и костюма всадницы, Грэхем опять увидел в своем воображении, как белое круглое колено прижимается к шелковистому боку тонущего Горца.

Когда магнето трактора стало работать с перебоями и механики опять засуетились посреди полувспаханного поля, вся компания, оставив Дика с его изобретением, решила по пути к бассейну осмотреть под предводительством Паолы скотные дворы. Креллин, свиновод, продемонстрировал им Леди Айлтон и ее одиннадцать невообразимо жирных поросят, вызвавших горячие похвалы, причем сам он с умилением повторял: «И ведь все как один! Все!»

После этого они осмотрели еще множество великолепных свиноматок самых лучших пород — беркширов и дюрок-джерсеев, пока у них в глазах не зарябило, а также новорожденных козлят и толстеньких ярок. Паола заранее предупредила скотоводов по телефону. Мистер Мэнсо наконец мог похвастаться знаменитым быком Королем Поло; гости полюбовались также его короткорогим, широкобоким гаремом и гаремами других быков, лишь в немногом уступавших Королю Поло. Паркмен и его помощники, ведавшие

джерсейским скотом, показали Дракона, Золотого Джолли, Версаля, Оксфордца — все это были основатели и потомки премированных родов, — а также их подруг: Королеву роз, Матрону, Подругу Джолли, Гордость Ольги и Герти из Мейтлендса. Затем коневод повел их смотреть табун великолепных жеребцов во главе с Горцем и множество кобыл во главе с Принцессой Фозрингтонской, которая особенно выделялась своим серебристым ржанием. Была выведена даже старушка Бесси — ее мать, — которую брали теперь только для легких работ, — чтобы гости могли оценить столь знатную особу, как Принцесса.

Около четырех часов Доналд Уэйр, не интересовавшийся купанием, вернулся с одной из машин в усадьбу, а Гэлхасс остался с Менденхоллом — потолковать о различных породах лошадей. Дик ждал всех у бассейна, и девицы немедленно потребовали, чтобы он исполнил новую песню.

— Это не совсем новая песнь, — пояснил Дик, и его серые глаза лукаво блеснули, — и уж никак не моя. Ее пели в Японии, когда меня еще не было на свете, и, бесспорно, задолго до открытия Америки. Это дуэт, а кроме того, игра в фанты. Паоле придется петь со мной. Я сейчас вас всех научу. Ты садись здесь, вот так. А вы все образуйте круг и тоже садитесь.

Паола, как была, в своем костюме для верховой езды, села против Дика, в центре круга. По его указанию она, подражая его движениям, сперва хлопнула себя ладонями по коленям, потом ладонь о ладонь, потом ладонями о его ладони, как в детской игре. Тогда он запел песню, очень коротенькую, и Паола тотчас подхватила и продолжала петь с ним вместе, хлопая в такт в ладоши. Мотив песни звучал по-восточному — тягучий и монотонный, но что-то было в нем зажигательное, невольно увлекавшее слушателей:

Чонг-Кина, Чонг-Кина,  
Чонг-Чонг, Кина-Кина,  
Йо-ко-гам-а, Наг-а-сак-и,  
Ко-бе-мар-о — Хой!

Последний слог — «Хой» — Форрест выкрикивал внезапно на целую октаву выше, и одновременно с этим восклицанием Паола и Дик должны были выбросить друг другу навстречу руки, сжатые в кулак или раскрытые. Суть игры заключалась в том, чтобы руки Паолы мгновенно повторяли жест Дика; в первый раз это ей удалось, и руки обоих оказались сжатыми в кулак; Дик снял шляпу и бросил ее на колени к Льют.

— Мой фант, — объяснил он. — Давай, Поли, попробуем еще раз.  
И опять они запели, хлопая в ладоши:

Чонг-Кина, Чонг-Кина,  
Чонг-Чонг, Кина-Кина,  
Йо-ко-гам-а, Наг-а-сак-и,  
Ко-бе-мар-о — Хой!

На этот раз, однако, при восклицании «Хой» ее руки оказались сжатыми в кулак, а его — раскрытыми.

— Фант! Фант! — закричали девицы.

Паола смущенно окинула взглядом свой костюм.

— Что же мне дать?

— Шпильку, — посоветовал Дик; и на колени к Льют полетела черепаховая шпилька.

— Вот досада! — воскликнула Паола, проиграв седьмой раз и бросая Льют последнюю шпильку. — Не понимаю, почему я такая неловкая и глупая. А ты, Дик, слишком уж хитер. Я никак не могу угадать, что ты хочешь сделать.

И опять они запели. Она снова проиграла и в ответ на укоризненный взглас миссис Тюлли: «Паола!» — отдала одну шпору и обещала снять сапог, если проиграет вторую. Дик проиграл три раза подряд и отдал свои часы и шпоры. Затем и Паола проиграла свои часы и вторую шпору.

— Чонг-Кина, Чонг-Кина... — начали они опять, несмотря на увещевания миссис Тюлли.

— Довольно, Паола, брось это! А вам, Дик, как не" стыдно!

Но Дик, издав торжествующее "Хой!", снова выиграл и при общем смехе снял с Паолы один из ее сапожков и бросил в общую кучу вещей, лежавших на коленях у Льют.

— Все в порядке, тетя Марта, — успокаивала Паола миссис Тюлли. — Мистера Уэйра здесь нет, а он — единственный, кого это могло бы шокировать. Ну, давай, Дик! Не можешь же ты вечно выигрывать!

— Чонг-Кина, Чонг-Кина, — запела она, вторя мужу.

Начав медленно, они стремительно ускоряли темп и под конец бормотали слова с такой быстротой, что почти захлебывались, а хлопанье в ладоши казалось непрерывным. От солнца, движения и азарта смеющегося лица Паолы было залито розовым румянцем.

Ивэн Грэхем, молча созерцавший все это, был возмущен и задет. Он

видел в былые годы, как играют в эту игру гейши в чайных домиках Ниппона, и, хотя в Большом доме не знали предрассудков, его коробило, что Паола принимает участие в такой игре. Ему не приходило в голову, что если бы на ее месте оказались Льют, Рита или Эрнестина, он только бы следил с любопытством, до чего может дойти азарт играющих. Лишь позднее Грэхем понял, что был возмущен именно потому, что в игре принимала участие Паола и что она, видимо, занимает больше места в его душе, чем он допускал.

А тем временем к куче фантов прибавились портсигар и спичечница Дика, а также другой сапожок Паолы, пояс, булавка и обручальное кольцо. Лицо миссис Тюлли выражало стоическую покорность, она молчала.

— Чонг-Кина, Чонг-Кина, — весело продолжала петь Паола.

И Грэхем слышал, как Эрнестина, фыркнув, шепнула Берту:

— Не представляю, что еще она может отдать.

— Ну, вы же знаете ее, — услышал он ответ Берта. — Она на все способна, если разойдется, а сейчас она, как видно, разошлась.

— Хой! — крикнули вместе Дик и Паола, выбрасывая руки.

Но руки Дика были сжаты, а ее — раскрыты. Грэхем видел, что Паола оглядывается, тщетно ища, что бы еще отдать как фант.

— Ну, леди Годива?<sup>[11]</sup> — властно заявил Дик. — Попели, поплясали, а теперь расплачивайтесь.

«Что он, спятил? — подумал Грэхем. — Как это можно, да еще с такой женой?»

— Что ж, — вздохнула Паола, перебирая пальцами пуговицы блузки, — надо, так надо.

Едва сдерживая бешенство, Грэхем отвернулся, стараясь не смотреть. Наступило молчание: видимо, каждый гадал, что же будет дальше. Вдруг Эрнестина фыркнула, раздался общий взрыв хохота и восклицание Берта: «Вы сговорились!» Все это заставило Грэхема наконец обернуться. Он бросил быстрый взгляд на Паолу. Блузки на ней уже не было, но под ней оказался купальный костюм. Она, без сомнения, надела его под платье, перед тем как ехать верхом.

— Теперь твоя очередь. Льют, иди, — заявил Дик.

Но Льют" не приготовившаяся к игре «Чонг-Кина», смутилась и увела девиц в кабину.

Грэхем опять с восхищением следил за тем, как Паола, поднявшись на площадку в сорок футов высотой, с неподражаемым изяществом и мастерством нырнула ласточкой; опять услышал восторженное

восклицание Берта: «Ну прямо Аннетта Келлерман!» — и, все еще рассерженный сыгранной с ним шуткой, снова задумался о маленькой хозяйке Большого дома, об этой удивительной женщине и о том, почему она такая удивительная! И когда он, не закрывая глаз, медленно поплыл под водой на ту сторону бассейна, ему пришло в голову, что он, в сущности, ничего о ней не знает. Жена Дика Форреста, вот и все, что ему известно. Где она родилась, как жила, каково было ее прошлое — обо всем этом он мог только гадать. Эрнестина сказала ему, что она и Льют — сводные сестры Паолы; это, конечно, кое-что.

Заметив, что дно стало светлеть — знак того, что он приближается к краю бассейна, — Грэхем увидел сплетенные ноги Дика и Берта, которые боролись в воде, повернул обратно и проплыл еще несколько футов, не поднимаясь на поверхность.

И тут он стал думать об этой миссис Тюлли, которую Паола зовет тетя Марта. Действительно ли она ей тетка или Паола зовет ее так только из вежливости? Быть может, она сестра матери Льют и Эрнестины?

Он вынырнул на поверхность, и его сейчас же позвали играть в кошки-мышки. Во время этой оживленной игры, продолжавшейся около получаса, он не раз мел случай восхищаться той легкостью, ловкостью и сообразительностью, которую выказывала Паола. Наконец круг играющих распался, они, запыхавшись, переплыли бассейн, вылезли на берег и уселись на солнце возле миссис Тюлли.

Вскоре опять начались шутки и шалости. Паола упрямо заспорила с миссис Тюлли, утверждая явные нелепости.

— Нет, тетя Марта, вы говорите это только потому, что не умеете плавать. А я настоящий пловец и уверяю вас, что вот — хотите? — нырну в бассейн и пробуду под водой десять минут.

— Глупости, дитя мое, — возразила миссис Тюлли. — Твой отец, когда он был молод — гораздо моложе, чем ты теперь, — мог пробыть под водой дольше любого пловца, и все-таки его рекорд был, насколько — мне известно, три минуты сорок секунд; я знаю это очень хорошо, так как сама следила по часам, когда он держал пари с Гарри Селби и выиграл.

— О, я знаю, что за человек был мой отец, — отозвалась Паола, — но времена изменились. Если бы милый папочка был сейчас в расцвете своих юношеских сил и попытался пробыть под водой столько же времени, сколько я, он не выдержал бы. Десять минут? Конечно, я могу пробыть десять минут. И пробуду. А вы, тетя Марта, возьмите часы и следите. Это так же легко, как...

— Ловить рыбу в садке, — подсказал Дик.

Паола взобралась на самую вышку.

— Заметь время, когда я прыгну, — сказала она.

— Сделай полтора оборота, — крикнул ей Дик.

Она кивнула, улыбнулась и притворилась, что изо всех сил набирает в легкие воздух. Грэхем следил за ней с восторгом. Он сам был великолепным пловцом, но ему редко приходилось видеть, чтобы женщина, не профессионалка, решилась на полтора оборота. Намокший зеленовато-голубой шелковый костюм плотно обтягивал ее тело, подчеркивая все его стройные линии и безупречное сложение. Сделав вид, что она до последнего кубического дюйма наполнила свои легкие воздухом, Паола ринулась вниз. Сжав ноги и выпрямившись, она оттолкнулась от самого края трамплина, уже в воздухе собрала тело в комок, перевернулась, затем снова вытянулась и, приняв прежнее идеально правильное положение, почти беззвучно врезалась в воду. «Стальной клинок вошел бы с большим шумом», — подумал Грэхем.

— Если бы я умела так нырять! — пробормотала со вздохом Эрнеетина. — Но этого никогда не будет. Дик говорит, что тут дело в ритме, в согласованности всех движений, вот почему Паола ныряет так замечательно. Она удивительно ритмична...

— Дело не только в ритме, но и в свободной отдаче себя движению, — сказал Грэхем.

— В сознательной отдаче, — заметил Дик.

— Ив умении расслаблять мышцы, — добавил Грэхем. — Я не видел, чтобы даже профессиональный пловец так выполнял полтора оборота.

— А я горжусь этим больше, чем она сама, — заявил Дик. — Дело в том, что я ее учил нырять, хотя, должен сознаться, она очень способная ученица. У нее замечательная координация движений. И это в соединении с волей и чувством времени... одним словом, ее первая же попытка оказалась более чем удачной.

— Паола — молодчина, — сказала с гордостью миссис Тюлли, переводя глаза с секундной стрелки часов на спокойную поверхность бассейна. — Женщины плавают обычно хуже мужчин. Паола исключение... Три минуты сорок секунд... Она превзошла своего отца.

— Но пяти минут она не выдержит, а тем более десяти... — мрачно заявил Дик. — Она задохнется.

Когда прошло четыре минуты, миссис Тюлли, видимо, начала тревожиться, и взоры ее озабоченно скользили по лицам присутствующих. Капитан Лестер, не посвященный в тайну бассейна, с проклятием вскочил

на ноги и нырнул в воду.

— Что-то с ней случилось, — сказала миссис Тюлли с деланным спокойствием. — Может быть, она ушиблась, ныряя? Ищите ее — вы мужчины...

Грэхем, Берт и Дик, встретившись под водой, засмеялись и пожали друг другу руки. Дик сделал им знак и поплыл в затененную часть бассейна, к нише, где они нашли Паолу, стоявшую в воде; некоторое время все четверо перешептывались и посмеивались.

— Мы хотели убедиться, что с тобой ничего не случилось, — пояснил Дик. — А теперь пора назад... Сначала вы, Берт, а я за Ивэном.

Один за другим они нырнули в темную воду и показались на поверхности бассейна.

Миссис Тюлли была уже на ногах и стояла на краю бассейна.

— Если это опять одна из ваших шуток. Дик... — начала она.

Но Дик, не обращая никакого внимания на ее слова, заговорил неестественно спокойным тоном и достаточно громко, чтобы она слышала.

— Мы должны это сделать обстоятельно, друзья, — обратился он к своим спутникам. — Вы, Берт, и вы, Ивэн, следите за мной. Начнем с этого конца бассейна, поплывем все вместе, на расстоянии пяти футов друг от друга, и будем обследовать дно. А потом повернем обратно и повторим то же самое еще раз.

— Не утруждайте себя, джентльмены, — крикнула им миссис Тюлли, вдруг рассмеявшись. — А вы. Дик, вылезайте-ка. Я надеру вам уши.

— Займитесь ею, девочки, — закричал Дик, — у нее истерика.

— Пока еще нет, но будет, — продолжала она, смеясь.

— Черт побери, сударыня, тут не над чем смеяться! — Капитан Лестер вынырнул, задыхаясь, он намеревался опять нырнуть, чтобы продолжать поиски.

— Вы знаете, в чем дело, тетя Марта? Знаете? — спросил Дик, когда храбрый капитан скрылся под водой.

Миссис Тюлли кивнула.

— Только молчите. Дик. Одного мы все-таки провели. Я-то знаю об этом от матери Элси Коглан; мы с нею встретились на Гонолулу в прошлом году.

Лишь по истечении одиннадцати минут улыбающееся лицо Паолы показалось на поверхности. Делая вид, будто она совсем выбилась из сил, она с трудом выползла на берег и в изнеможении опустилась возле тетки. Капитан Лестер, действительно измученный бесплодными поисками, внимательно посмотрел на Паолу, потом подошел к соседнему столбу и три



раза стукнулся об него головой.

— Боюсь, что десяти минут еще не прошло, — сказала Паола. — Но ведь я пробыла под водой приблизительно это время? Правда, тетя Марта?

— Ну, ты под водой почти и не была, — последовал ответ, — если хочешь знать мое мнение! Я даже удивлена, что ты мокрая. Да, да, дыши естественно, дитя мое. Нечего разыгрывать комедию. Помню, когда я была молодой девушкой и путешествовала по Индии, я видела там факиров особой секты, они ныряли на дно глубоких колодцев и оставались там гораздо дольше, чем ты, право же, гораздо дольше.

— Вы знали! — воскликнула Паола.

— Но ты не знала, что я знаю, — возразила тетка. — И твое поведение прямо-таки преступно при моем возрасте и моем сердце.

— И при вашем удивительном простодушии и недогадливости. Не правда ли? — добавила Паола.

— Честное слово, мне хочется выдрать тебя за уши.

— А мне обнять вас, хоть я и мокрая, — засмеялась Паола в ответ. — Во всяком случае, мы надули капитана Лестера... Ведь правда, капитан?

— Не обращайтесь ко мне, — угрюмо пробормотал доблестный моряк. — Я занят, я должен обдумать свою месть... Что касается вас, мистер Форрест, то я еще не знаю, на чем остановиться: взорвать ваш скотный двор или подрезать поджилки у вашего Горца. Может быть, я сделаю и то и другое. А пока я пойду и лягну ту кобылу, на которой вы приехали.

Дик на Капризнице и Паола на Лани ехали домой бок о бок.

— Ну, как тебе нравится Грэхем? — спросил он.

— Он великолепен, — отвечала Паола. — Это человек твоего типа. Дик. Он так же универсален, как ты, на нем печать тех же скитаний по всем морям, та же любовь к книгам и все прочее! Кроме того, он художник, да и вообще все в нем хорошо. Славный малый, любит шутку. А ты заметил его улыбку? Она обаятельна. Хочется улыбнуться ему в ответ.

— Да, но есть у него и глубокие шрамы и морщины... — заметил Дик.

— Особенно в уголках глаз, когда он улыбается. Это : следы, оставленные не то чтобы усталостью, а скорее вечно неразрешимыми вопросами: «Почему? Зачем? Стоит ли? Ради чего все это?»

Эрнестина и Грэхем, замыкавшие кавалькаду, тоже беседовали.

— Дик вовсе не прост, — говорила она. — Вы плохо знаете его. Он очень не прост. Я немного знаю его. Паола-то знает его хорошо. Но в душу к нему могут проникнуть немногие. Он истинный философ и владеет собой, как стоик или англичанин. А уж такой актер, что может весь свет

обмануть.

У длинной коновязи под дубами, где, сойдя с лошадей, собралось все общество, Паола хохотала до слез.

— Ну, ну, продолжай, — поощряла она Дика, — еще, еще!..

— Она уверяет, что скоро у меня не хватит слов, если я буду и впредь давать имена слугам по моей системе, — пояснил он.

— А он за полторы минуты предложил сорок имен... Ну, еще. Дик, еще!..

— Итак, — продолжал Дик нараспев, — у нас может быть О-Плюнь и О-Дунь, О-Пей, О-Лей и О-Вей, О-Кис и О-Брысь, О-Пинг и О-Понг, О-Да и О-Нет...

И Дик направился к дому, все еще варьируя на все лады эти странные словосочетания.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Всю следующую неделю Грэхем был всем недоволен и не находил себе места. Его раздирали самые противоречивые чувства: с одной стороны, он сознавал, что необходимо покинуть Большой дом, уехать первым поездом, с другой стороны, ему хотелось видеть Паолу все чаще и быть с ней все больше. А между тем он не уезжал и в обществе ее бывал куда реже, чем в первое время после приезда.

Начать с того, что все пять дней своего пребывания в имении молодой скрипач не отходил от нее. Грэхем нередко посещал музыкальную комнату и мрачно просиживал там целых полчаса, слушая, как они «работают».

Они забивали о его присутствии, поглощенные и захваченные своей страстью к музыке, а в краткие минуты отдыха, вытирая потные лбы, болтали и смеялись, как добрые товарищи. Молодой музыкант любил Паолу с почти болезненной пылкостью, Грэхему это было ясно, — но его больно задевали взгляды, полные почти благоговейного восторга, которые Паола иногда дарила Уэйру после особенно удачного исполнения какой-нибудь пьесы. Напрасно Грэхем убеждал себя, что с ее стороны все это чисто умственное увлечение — просто она восхищается мастерством молодого музыканта. Грэхем был истинным мужчиной, и их дружба причиняла ему до того сильную боль, что в конце концов он вынужден был уходить из музыкальной комнаты.

Но вот он наконец застал Паолу одну. Они на прощание исполнили песню Шумана, и скрипач уехал. Паола сидела у рояля, на лице ее было отсутствующее, мечтательное выражение. Она посмотрела на Грэхема, словно не узнавая, потом машинально овладела собой, рассеянно пробормотала несколько ничего не значащих слов и удалилась. Несмотря на обиду и боль, Грэхем старался приписать ее настроение влиянию музыки, отклики которой еще жили в ее душе. Правда, женщины — странные создания, рассуждал он, и способны на самые неожиданные и необъяснимые увлечения. Разве не могло случиться, что этот юноша именно своей музыкой и увлек ее как женщину?

С отъездом Уэйра Паола замкнулась в своем флигеле, за дверью без ручки, и почти не выходила оттуда. Но никто в доме не удивлялся, и Грэхем понял, что в этом нет ничего необычного.

— На Паолу иногда находит, она чувствует себя прекрасно и в одиночестве, — пояснила Эрнестина, — у нее бывают довольно часто

периоды затворничества, и тогда с ней видится только Дик.

— Что не очень лестно для остальной компании, — улыбаясь, заметил Грэхем.

— Но тем она приятнее в обществе, когда возвращается, — заметила Эрнестина.

Прилив гостей в Большой дом шел на убыль. Правда, еще кое-кто приезжал просто повидаться или по делу, но в общем народу становилось все меньше. Благодаря О-Пою и его китайской команде жизнь в доме была Залажена безукоризненно, во всем царил порядок, и Хозяевам не приходилось тратить много времени на то, чтобы развлекать гостей. Гости по большей части сами занимали себя и друг друга. До завтрака Дик почти не появлялся, а Паола, выполняя свой обет затворничества, выходила только к обеду.

— Лечение отдыхом, — смеясь, сказал однажды Дик, Предлагая Грэхему бокс, поединок на палках или рапирах.

— А теперь самое время приняться за вашу книгу, — заявил он во время передышки между раундами. — Я один из многих, кто с нетерпением ждет ее, и я Твердо надеюсь, что она появится. Вчера я получил Письмо от Хэвли: он спрашивает, много ли вы уже написали.

И вот Грэхем засел у себя в башне, разобрал свои заметки и снимки, составил план и погрузился в работу над первыми главами. Это настолько захватило его, что, быть может, увлечение Паолой и угасло бы, если бы он ее встречался с ней каждый вечер за обедом. Кроме того, пока Эрнестина и Льют не уехали в Санта-Барбара, продолжались совместные купания, поездки верхом и в автомобилях на горные миримарские пастбища и к вершинам Ансельмо. Предпринимались и другие прогулки, иногда с участием Дика. Ездили смотреть работы по осушению земель, производившиеся им в долине реки Сакраменто, постройку плотин на Литтл Койот и в ущельях Лос-Кватос, основанную им колонию фермеров на участках в двадцать акров, где Дик пытался дать двумстам пятидесяти фермерам с семьями возможность обосноваться.

Грэхем знал, что Паола часто совершает в одиночестве долгие прогулки верхом, и однажды застал ее у коновязи: она только что спешилась.

— Вы не думаете, что ваша Лань совсем отвыкнет от поездок в компании? — спросил он, улыбаясь.

Паола рассмеялась и покачала головой.

— Ну, тогда просто разрешите как-нибудь сопровождать вас, мне очень хочется, — честно признался он.

— Но ведь есть Эрнестина, Льют, Берт, да мало ли кто.

— Мне эти места незнакомы, — продолжал он настаивать. — Лучше всего узнаешь край через тех, кто его сам хорошо знает. Я уже видел его глазами Льют, Эрнестины и всех остальных; но есть еще многое, чего я не видел и могу увидеть только вашими глазами.

— Занятная теория, — уклончиво ответила она. — Нечто вроде географического вампиризма...

— Но без зловредных последствий вампиризма, — торопливо возразил он.

Она ответила не сразу, при этом прямо и честно посмотрела ему в глаза; и он понял, что она взвешивает и обдумывает каждое слово.

— Это еще вопрос! — произнесла она наконец; и его воображение вцепилось в эти три слова, стараясь разгадать их скрытое значение.

— Есть очень многое, что мы могли бы сказать друг другу, — продолжал он настаивать. — Многое, что... мы должны были бы сказать...

— Я понимаю, — ответила она спокойно и опять взглянула на него своим прямым, открытым взглядом.

«Понимает?» — подумал он; и эта мысль обожгла его огнем. Он не нашелся, что ответить, и не смог предотвратить холодный, вызывающий смехок, с которым она отвернулась и ушла в дом.

Большой дом продолжал пустеть. Тетка Паолы, миссис Тюлли, к досаде Грэхема (он надеялся узнать от нее многое о Паоле), уехала, погостив всего несколько дней. Говорили, что она, может быть, приедет опять, на более продолжительное время. Но она только что вернулась из Европы, и ей, по ее словам, необходимо было сделать сначала множество обязательных визитов, а затем уже думать о собственных удовольствиях.

Критик О'Хэй намеревался пробыть еще с неделю, чтобы оправиться от поражения, нанесенного ему во время атаки философов. Вся эта история была задумана и подстроена Диком. Битва началась ранним вечером: как будто случайное замечание Эрнестины дало повод Аарону Хэнкоку бросить первую бомбу в чашу глубочайших убеждений О'Хэя. Дар-Хиал, его горячий и нетерпеливый союзник, обошел его с фланга своей цинической теорией музыки и открыл по критику огонь с тыла. Бой продолжался до тех пор, пока вспыльчивый ирландец, вне себя от наносимых ему искусными спорщиками словесных ударов, не принял, облегченно вздохнув, предложение Терренса Мак-Фейна отдохнуть и спуститься с ним в бильярдную — тихий приют, где они были бы вдали от этих варваров подкрепить себя смесью соответствующих напитков и в самом деле поговорить по душам о музыке. В два часа утра неуязвимый

для вина и все еще шествующий твердой поступью Терренс уложил совершенно пьяного и осоловевшего О'Хэя в постель.

— Ничего, — сказала на другой день Эрнестина О'Хэю с задорным блеском в глазах, выдававшим ее участие в заговоре. — Этого следовало ожидать: от наших горе-философов и святой запьет!

— Я думал, что с Терренсом вы в полной безопасности, — насмешливо добавил Дик. — Вы же оба ирландцы. Я и забыл, что Терренса ничем не проймешь. Знаете, простившись с вами, он еще забрел ко мне поболтать. И — ни в одном глазу. Так, мимоходом, он упомянул о том, что вы оба опрокинули по стаканчику. И я... мне в голову не могло прийти... что он... так вас подвел...

Когда Льют и Эрнестина уехали в Санта-Барбара, Берт и Рита тоже вспомнили свой давно забытый очаг в Сакраменто. Правда, в тот же день прибыло несколько художников, которым покровительствовала Паола. Но их почти не было видно, ибо они проводили целые дни в горах, разъезжая в маленьком экипаже с кучером, или курили длинные трубки в бильярдной.

Жизнь в Большом доме, чуждая условностям, текла своим чередом. Дик работал. Грэхем работал. Паола продолжала уединяться в своем флигеле. Мудрецы из «Мадроньевой рощи» приходили пообедать и поговорить и, если Паола не играла, порой разглагольствовали целый вечер. По-прежнему сваливались как снег на голову гости из Сакраменто, Уикенберга и других городов, расположенных в долине, но О-Чай и остальные слуги не терялись, и Грэхем был не раз свидетелем того, как целую толпу нежданных гостей через двадцать минут после их приезда уже угощали превосходным обедом. Все же случалось — правда, редко, — что за стол садились только Дик с Паолой и Грэхем; и когда после обеда мужчины болтали часок перед ранним отходом ко сну, она играла для себя мягкую и тихую музыку и исчезала раньше, чем они.

Но однажды в лунный вечер неожиданно нагрянули и Уатсоны, и Мэзоны, и Уомболды, и составилось несколько партий в бридж. Грэхем как-то не попал ни в одну. Пасла сидела у рояля. Когда он приблизился к ней, то уловил в ее глазах мгновенно вспыхнувшее выражение радости, но оно так же быстро исчезло. Она сделала легкое движение, точно желая встать ему навстречу, — это так же не ускользнуло от него, как и мгновенное усилие воли, которым она заставила себя спокойно остаться на месте.

И вот она опять такая же, какой он привык ее видеть. «Хотя, в сущности, много ли я ее видел?» — думал Грэхем, болтая всякий вздор и роясь вместе с ней в куче нот. Он пробовал с ней то один, то другой романс,

и его высокий баритон сливался с ее мягким сопрано, и притом так удачно, что игравшие в бридж не раз кричали им «бис».

— Да, — сказала она в перерыве между двумя романсами, — меня прямо тоска берет, так мне хочется опять побродить с Диком по свету. Если б можно было уехать завтра же! Но Дику пока нельзя. Он слишком связан своими опытами и изобретениями. Как вы думаете, чем он занят теперь? Ему мало всех этих затей. Он еще намерен совершить переворот в торговле — по крайней мере здесь, в Калифорнии и на Тихоокеанском побережье — и заставить закупщиков приезжать к нему в имение.

— Они уже и так приезжают, — сказал Грэхем. — Первый, кого я здесь встретил, был покупатель из Айдахо.

— Да, но Дик хочет, чтобы это вошло в обычай: пусть покупатели являются сюда скопом, в определенное время, и пусть это будут не просто торги — хотя для возбуждения интереса он устроит и торги, — а настоящая ежегодная ярмарка, которая должна продолжаться три дня и на которой будут продаваться только его товары. Он теперь чуть не все утра просиживает с мистером Эгером и мистером Питтсом. Это его торговый агент и агент по выставкам скота.

Паола вздохнула, и ее пальцы пробежали по клавишам.

— Ах, если бы только можно было уехать — в Тимбукту, Мокпхо, на край света!

— Не уверяйте меня, что вы побывали в Мокпхо, — смеясь, заметил Грэхем.

Она кивнула головой.

— Честное слово, были. Провалиться мне на этом самом месте! С Диком, на его яхте, давным-давно. Мы, можно сказать, провели в Мокпхо наш медовый месяц.

Грэхем, беседуя с нею о Мокпхо, старался отгадать: умышленно она то и дело упоминает о муже или нет?

— Мне казалось, что вы считаете эту усадьбу прямо раем.

— Конечно, конечно! — поспешила она его заверить. — Но не знаю, что на меня нашло за последнее время. Я чувствую, что мне почему-то непременно надо уехать. Может быть, весна действует... Колдуют боги краснокожих... Если бы только Дик не работал до потери сознания и не связывался с этими проектами! Знаете, за все время, что мы женаты, моей единственной серьезной соперницей была земля, сельское хозяйство. Дик очень постоянен, а имение действительно его первая любовь. Он все здесь создал и наладил задолго до того, как мы встретились, когда он и не подозревал о моем существовании.

— Давайте попробуем этот дуэт, — вдруг сказал Грэхем, ставя перед ней на пюпитр какие-то ноты.

— О нет, — запротестовала она, — ведь эта песня называется «Тропою цыган», она меня еще больше расстроит. — И Паола стала напевать первую строфу:

За паттераном цыган плывем,  
Где зори гаснут — туда...  
Пусть ветер шумит, пусть джонка летит —  
Не все ли равно куда?

— Кстати, что такое цыганский паттеран? — спросила она, вдруг оборвав песню. — Я всегда думала, что это особое наречие, цыганское наречие — ну, вроде французского *ratoï*<sup>[12]</sup>; и мне казалось нелепым, как можно следовать по миру за наречием, точно это филологическая экскурсия.

— В известном смысле паттеран и есть наречие, — ответил он. — Но оно значит всегда одно и то же: «Я здесь проходил». Паттеран — это два прутика, перекрещенные особым образом и оставленные на дороге; но оба прутика непременно должны быть взяты у деревьев или кустарников разной породы. Здесь, в имении, паттеран можно было бы сделать из веток мансаниты и мадроньо, дуба и сосны, бука и ольхи, лавра и ели, черники и сирени. Это знак, который цыгане оставляют друг другу: товарищ — товарищу, возлюбленный — возлюбленной. — И он, в свою очередь, стал напевать:

И опять, опять дорогой морей,  
Знакомой тропой плывем —  
Тропою цыган, за тобой, паттеран,  
Весь шар земной обойдем.

Паола качала в такт головой, потом ее затуманенный взгляд скользнул по комнате и задержался на играющих; но она сейчас же стряхнула с себя мечтательную рассеянность и поспешно сказала:

— Одному богу известно, сколько в иных из нас этой цыганской стихии. Во мне ее хоть отбавляй. Несмотря на свои буколические наклонности, Дик — прирожденный цыган. Судя по тому, что он мне о вас



рассказывал, и в вас это сидит очень крепко.

— В сущности, — заметил Грэхем, — настоящий цыган — именно белый человек; он, так сказать, цыганский король. Он был всегда гораздо более отважным и неугомонным кочевником, и снаряжение у него было хуже, чем у любого цыгана. Цыгане шли по его следам, а не он по их. Давайте попробуем спеть...

И в то время как они пели смелые слова беззаботновеселой песенки, Грэхем смотрел на Паолу и дивился — дивился и ей и себе. Разве ему место здесь, подле этой женщины, под крышей ее мужа? И все-таки он здесь, хотя должен был бы уже давно уехать. После стольких лет он, оказывается, не знал себя. Это какое-то наваждение, безумие. Нужно немедленно вырваться отсюда. Он и раньше испытывал такие состояния, словно он околдован, обезумел, и всегда ему удавалось вырваться на свободу. «Неужели я с годами размяк?» — спрашивал себя Грэхем. Или это безумие сильнее и глубже всего, что было до сих пор? Ведь это же посягательство на его святыни, столь дорогие ему, столь ревниво и благоговейно оберегаемые в тайниках души: он еще ни разу не изменял им.

Однако он не вырвался из плена. Он стоял рядом с ней и смотрел на венец ее каштановых волос, где вспыхивали золотисто-бронзовые искры, на прелестные завитки возле ушей. Пел вместе с нею песню, воспламеняющую его и, наверное, ее, — иначе и быть не могло при ее натуре и тех проблесках чувства, которое она нечаянно и невольно ему выдала.

«Она — чародейка, и голос — одно из ее очарований», — думал он, слушая, как этот голос, такой женственный и выразительный и такой непохожий на голоса всех других женщин на свете, льется ему в душу. Да, он чувствовал, он был глубоко уверен, что частица его безумия передалась и ей; что они оба испытывают одно и то же; что это — встреча мужчины и женщины.

Не только он, оба они пели с тайным волнением — да, несомненно; и эта мысль еще сильнее опьяняла его. А когда они дошли до последних строк и их голоса, сливаясь, затрепетали, в его голосе прозвучало особое тепло и страсть:

Дикому соколу — ветер да небо,  
Чащи оленю даны,  
А сердце мужчины — женскому сердцу,  
Как в стародавние дни.  
А сердце мужчины — женскому сердцу...

В шатрах моих свет погас, —  
Но у края земли занимается утро,  
И весь мир ожидает нас!<sup>[13]</sup>

Когда замер последний звук, Грэхем посмотрел на Паолу, ища ее взгляда, но она сидела несколько мгновений неподвижно, опустив глаза на клавиши, и когда затем повернула к нему голову, он увидел обычное лицо маленькой хозяйки Большого дома, шаловливое и улыбающееся, с лукавым взглядом. И она сказала:

— Пойдем подразним Дика, он проигрывает.

Я никогда не видела, чтобы за картами он выходил из себя, но он ужасно нелепо скисает, если ему долго не везет. А играть любит, — продолжала она, идя впереди Грэхема к карточным столам. — Это один из его способов отдыхать. И он отдыхает. Раз или два в год он садится за покер и может играть всю ночь напролет и доиграться до чертиков.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

После того дня, когда они спели вместе цыганскую песню, Паола вышла из своего затворничества, и Грэхему стало нелегко сидеть в башне и выполнять намеченную работу. В течение всего утра до него доносились то обрывки песен и оперных арий, которые она распевала в своем флигеле, то ее смех и возня с собаками на большом дворе, то приглушенные звуки рояля в музыкальной комнате, где Паола теперь проводила долгие часы. Однако Грэхем, по примеру Дика, посвящал утренние часы работе и редко встречался с Паолой раньше второго завтрака.

Она заявила, что период бессонницы у нее прошел и она готова на все развлечения и прогулки, какие только Дик может предложить ей, пригрозив, что, если он не будет сам участвовать в этих развлечениях, она созовет кучу гостей и покажет ему, как надо веселиться. В это время в Большой дом возвратилась на несколько дней тетя Марта, иначе говоря — миссис Тюлли, и Паола снова принялась объезжать Дадди и Фадди в своей высокой двуколке. Лошадки эти были довольно капризного нрава, но миссис Тюлли, несмотря на свой возраст и тучность, не боялась ездить на них, если правила Паола.

— Такого доверия я не оказываю ни одной женщине, — объяснила она Грэхему. — Паола — единственная, с кем я могу ездить: она замечательно умеет обходиться с лошадьми. Когда Паола была ребенком, она прямо обожала лошадей. Удивительно, как это она еще не стала цирковой наездницей!

И еще многое, многое узнал Грэхем о Паоле, болтая с ее теткой. О Филиппе Дестене, своем брате и отце Паолы, миссис Тюлли могла рассказывать без конца. Он был гораздо старше ее и представлялся ей в детстве каким-то сказочным принцем. Филипп обладал благородной и широкой натурой, его поступки и образ жизни казались заурядным людям не совсем нормальными. Он на каждом шагу совершал безрассудства и немало делал людям добра. Благодаря этим чертам характера Филипп не раз наживал целые состояния и так же легко терял их, особенно в эпоху знаменитой золотой горячки сорок девятого года. Сам он был из семьи первых колонистов

Новой Англии, однако прадед его был француз, подобранный у Мейнского побережья после кораблекрушения; тут он и поселился среди матросов-фермеров.

— Раз, только раз, в каждом поколении возрождается в каком-нибудь из своих потомков француз Дестей, — убежденно говорила Грэхему миссис Тюлли. — Филипп был именно этим единственным в своем поколении, а в следующем — Паола. Она унаследовала всю его самобытность. Хотя Эрнестина и Льют приходятся ей сводными сестрами, трудно поверить, что в них есть хотя бы капля той же крови. Вот почему Паола не поступила в цирк и ее неудержимо потянуло во Францию: кровь прадеда звала ее туда.

О жизни Паолы во Франции Грэхем также узнал немало. Филипп Дестен умер как раз вовремя, ибо колесо его счастья повернулось. Эрнестину и Льют, тогда еще крошек, взяли тетки; они не доставляли им особых хлопот. А вот с Паолой, попавшей к тете Марте, было нелегко, — и все из-за того француза.

— О, она настоящая дочь Новой Англии, — уверяла миссис Тюлли, — во всем, что касается чести, прямоты, надежности, верности. Еще девочкой она позволяла себе солгать только в тех случаях, когда надо было выручить других; тогда все ее новоанглийские предки смолкали и она лгала так же блестяще, вдохновенно, как ее отец. У него была та же обаятельность, та же смелость, заразительный смех, живость. Но, помимо веселости и задора, он умел быть еще каким-то особенно снисходительным. Никто не мог оставаться к нему равнодушным.

Или люди становились его преданнейшими друзьями, или начинали его ненавидеть. Общение с ним всегда вызывало любовь или ненависть. В этом отношении Паола на него не похожа, вероятно, потому, что она женщина и не имеет склонности, подобно мужчинам, сражаться с ветряными мельницами. Я не знаю, есть ли у нее на свете хоть один враг. Все любят ее, разве только какие-нибудь женщины-хищницы завидуют, что у нее такой хороший муж.

В это время в открытое окно донесся голос Паолы, распевавшей под аркадами, и Грэхему слышался в нем тот теплый трепет, которого он уже не мог забыть. Затем Паола рассмеялась, миссис Тюлли тоже улыбнулась и закивала головой.

— Смеется в точности, как Филипп Дестен, — пробормотала она, — и как бабки и прабабки того француза, которого после крушения привезли в Пенобскот, одели в домотканое платье и отправили на молитвенное собрание. Вы заметили, что, когда Паола смеется, каждому хочется взглянуть на нее и тоже улыбнуться? Смех Филиппа производил на людей такое же впечатление.

Паола всегда горячо любила музыку, живопись, рисование. Когда она была маленькой, она повсюду оставляла всякие рисунки и фигурки.

Рисовала на бумаге, на земле, на досках, а фигурки лепила из чего придется — из глины, из песка.

Она любила все и вся, и все ее любили, — продолжала миссис Тюлли. — Она никогда не боялась животных и относилась к ним даже с каким-то благоговением; это у нее врожденное — все прекрасное вызывает в ней благоговение. Она всегда была склонна возводить людей на пьедестал, приписывать им необычайную красоту или моральные достоинства. Во всем, что она видит, она прежде всего ценит красоту — чудесный ли это рояль, замечательная картина, породистая лошадь или чарующий пейзаж.

Ей хотелось и самой творить, создавать прекрасное. Но она все никак не могла решить, что выбрать — музыку или живопись. В самом разгаре занятий музыкой в Бостоне — Паола училась у лучших преподавателей — она вдруг вернулась к живописи. А от мольберта ее тянуло к глине.

И вот, чувствуя в себе эту любовь ко всему прекрасному, она металась, не зная, в какой области она больше одарена, да и есть ли у нее к чему-нибудь настоящее призвание. Тогда я настояла на полном отдыхе от всякой работы и увезла ее на год за границу. Тут у нее открылись необычайные способности к танцам. Но все-таки она постоянно возвращалась к музыке и живописи. Нет, это не легкомыслие. Вся беда в том, что она слишком одарена...

— Слишком разносторонне одарена, — добавил Грэхем.

— Да, пожалуй, — согласилась миссис Тюлли. — Но ведь от одаренности до настоящего таланта еще очень далеко. И я все еще, хоть убей, не знаю, есть ли у нее к чему-нибудь призвание. Она ведь не создала ничего крупного ни в одной области.

— Она создала себя, — заметил Грэхем.

— Да, она сама — поистине прекрасное произведение искусства, — с восхищением отозвалась миссис Тюлли. — Она замечательная, необыкновенная женщина, и притом совершенно неиспорченная, естественная. В конце концов к чему оно ей, это творчество! Мне какая-нибудь ее сумасшедшая проделка... — о да, я слышала об этой истории с купанием верхом... — гораздо дороже, чем все ее картины, как бы удачны они ни были. Признаться, я долго не могла понять Паолу. Дик называет ее «вечной девчонкой». На боже мой, когда надо, какой она умеет быть величавой! Я, наоборот, называю ее взрослым ребенком. Встреча с Диком была для нее счастьем. Казалось, она тогда действительно нашла себя. Вот как это случилось...

В тот год они, по словам миссис Тюлли, путешествовали по Европе.

Паола занималась в Париже живописью и в конце концов пришла к выводу, что успех достигается только борьбой и что деньги тетки мешают ей.

— И она настояла на своем, — вздохнула миссис Тюлли. — Она... ну, она просто выставила меня, отправила домой. Содержание она согласилась получать только самое ничтожное и поселилась совершенно самостоятельно в Латинском квартале с двумя американскими девушками. Тут-то она и встретилась с Диком... Таких, как он, ведь тоже поискать надо. Вы ни за что не угадаете, чем он тогда занимался. Он содержал кабачок, — не такой, как эти модные кабачки, а настоящий, студенческий. В своем роде это был даже изысканный кабачок. Там собирались всякие чудаки. Дик только что вернулся после своих сумасбродств и приключений на краю света, и, как он тогда выражался, ему хотелось некоторое время не столько жить, сколько рассуждать о жизни.

Паола однажды повела меня в этот кабачок. Не подумайте чего-нибудь: они стали накануне женихом и невестой, и он сделал мне визит, — словом, все, как полагается. Я знавала отца Дика, «Счастливого» Форреста, слышала многое и о сыне. Лучшей партии Паола и сделать не могла. Кроме того, это был настоящий роман. Паола впервые увидела его во главе команды Калифорнийского университета, когда та победила команду Стэнфорда. А в следующий раз она с ним встретилась в студии, которую снимала с двумя американками. Она не знала, миллионер ли Дик или содержит кабачок потому, что его дела плохи; да ее это и не интересовало. Она всегда подчинялась только велениям своего сердца. Представьте себе положение: Дика никто не мог поймать в свои сети, а Паола никогда не флиртвала. Должно быть, они сразу же бросились в объятия друг другу, ибо через неделю все было уже решено. Но Дик все-таки спросил у меня согласия на брак, как будто мое слово могло тут иметь какой-нибудь вес.

Так вот, возвращаясь к его кабачку. Это был кабачок философов, маленькая комнатка с одним столом в каком-то подвале, в самом сердце Латинского квартала. Представляете себе, что это было за учреждение! А стол! Большой круглый дощатый стол, даже без клеенки, весь покрытый бесчисленными винными пятнами, так как философы стучали по нему стаканами и проливали вино. За него свободно усаживалось тридцать человек. Женщины не допускались. Для меня и для Паолы сделали исключение. Вы видели здесь Аарона Хэнкока? Он был в числе тех самых философов и до сих пор хвастается, что остался Дику должен по счету больше остальных завсегдатаев. В кабачке они обыкновенно и встречались, эти шалые молодые умники, стучали по столу и говорили о философии на всех европейских языках. У Дика всегда была склонность к философии.

Но Паола испортила им все удовольствие. Как только они поженились. Дик снарядил свою шхуну «Все забудь», и эта милая парочка отплыла на ней, решив провести свой медовый месяц между Бордо и Гонконгом.

— А кабачок закрылся, и философы остались без пристанища и диспутов... — заметил Грэхем.

Миссис Тюлли добродушно рассмеялась и покачала головой.

— Да нет... Дик обеспечил существование кабачка, — сказала она, стараясь отдышаться и прижимая руку к сердцу. — Навсегда или на время — не скажу вам. Но через месяц полиция его закрыла, заподозрив, что там на самом деле клуб анархистов.

Хоть Грэхем и знал, как разносторонни интересы и дарования Паолы, он все же удивился, найдя ее однажды одиноко сидящей на диване в оконной нише и поглощенной каким-то вышиванием.

— Я очень это люблю, — пояснила она. — И не сравню никакие дорогие вышивки из магазинов с моими собственными работами по моим собственным рисункам. Дика одно время возмущало, что я вышиваю. Ведь он требует, чтобы во всем была целесообразность, чтобы люди не тратили понапрасну свои силы. Он считал, что мне браться за иглу — пустая трата времени: крестьянки отлично могут за гроши делать то же самое. Но мне наконец удалось убедить его, что я права.

Это все равно, что игра на рояле. Конечно, я могу купить музыку лучше моей, но сесть самой за инструмент и самой исполнить вещи — какое это наслаждение! Соревнуешься ли с другим, принимая его толкование, или вкладываешь что-то свое — неважно: и то и другое дает душе творческую радость.

Возьмите хотя бы эту узенькую кайму из лилий на оборке — второй такой вы не найдете нигде. Здесь все мое: и идея, и исполнение, и удовольствие от того, что я даю этой идее форму и жизнь. Конечно, бывают в магазинах замыслы интереснее и мастерство выше, но это не то. Здесь все мое. Я увидела узор в своем воображении и воспроизвела его. Кто посмеет утверждать после этого, что вышивание не искусство?

Она умолкла, глядя на него смеющимися глазами.

— Не говоря уже о том, что украшение прекрасной женщины — самое достойное и вместе с тем самое увлекательное искусство, — подхватил Грэхем.

— Я отношусь с большим уважением к хорошей модистке или портнихе, — серьезно ответила Паола. — Это настоящие художницы. Дик сказал бы, что они занимают чрезвычайно важное место в мировой экономике.

В другой раз, отыскивая в библиотеке какие-то справки об Андах, Грэхем натолкнулся на Паолу, грациозно склонившуюся над листом плотной бумаги, прикрепленным кнопками к столу; вокруг были разложены огромные папки, набитые архитектурными проектами: она чертила план деревянного бунгало для мудрецов из «Мадроньевой рощи».

— Очень трудно, — вздохнула она. — Дик уверяет, что если уж строить, так надо строить на семерых. Пока у нас четверо, но ему хочется, чтобы непременно было семь. Он говорит, что нечего заботиться о душах, ваннах и других удобствах, — разве философы купаются? И он пресерьезно настаивает на том, чтобы поставить семь плит и сделать семь кухонь: будто бы именно из-за столь низменных предметов они вечно ссорятся.

— Кажется, Вольтер ссорился с королем из-за свечных огарков? — спросил Грэхем, любуясь ее грациозной и непринужденной позой. Тридцать восемь лет? Невероятно! Она казалась просто школьницей, раскрасневшейся над трудной задачей. Затем ему вспомнилось замечание миссис Тюлли о том, что Паола — взрослое дитя.

И он изумлялся: неужели это она тогда, у коновязи под дубами, показала двумя фразами, что отлично понимает; насколько грозно создавшееся положение? «Я понимаю», — сказала она. Что она понимала? Может быть, она сказала это случайно, не придавая своим словам особого значения? Но ведь она же вся трепетала и тянулась к нему, когда они пели вместе цыганскую песню. Уж это-то он знал наверняка. А с другой стороны, разве он не видел, с каким увлечением она слушала игру Доналда Уэйра? Однако сердце тут же подсказало ему, что со скрипачом было совсем другое. При этой мысли он невольно улыбнулся.

— Чему вы смеетесь? — спросила Паола. — Конечно, я знаю, что я не архитектор! Но хотела бы я видеть, как вы постройте дом для семи философов и выполните все нелепые требования Дика!

Вернувшись в свою башню и положив перед собой, не раскрывая их, книги об Андах, Грэхем, покусывая губы, предался размышлениям. Нет, это не женщина, это все-таки дитя... Или... она притворяется наивной? Понимает ли она действительно, в чем дело? Должна бы понимать. Как же иначе? Ведь она знает людей, знает жизнь. И она очень мудра. Каждый взгляд ее серых глаз говорит о самообладании и силе. Вот именно — о внутренней силе! Он вспомнил первый вечер, когда в ней время от времени словно вспыхивали отблески стали, драгоценной, чудесной стали. И он вспомнил, как сравнивал тогда ее силу со слоновой костью, резной перламутровой раковиной, с плетеной сеткой из девичьих волос...



А теперь, после короткого разговора у коновязи и цыганской песни, всякий раз, как их взоры встречаются, оба они читают в глазах друг друга невысказанную тайну.

Тщетно перелистывал он лежавшие перед ним книги в поисках нужных ему сведений, потом сделал попытку продолжать без них, но не мог написать ни слова... Нестерпимое беспокойство овладело им. Грэхем схватил расписание, ища подходящий поезд, отшвырнул его, схватил трубку внутреннего — телефона и позвонил в конюшни, прося оседлать Альтадену.

Стояло чудесное утро; калифорнийское лето только начиналось. Над дремлющими полями не проносилось ни дуновения; раздавались лишь крики перепелов и звонкие трели жаворонков. Воздух был напоен благоуханием сирени, и, когда Грэхем проезжал сквозь ее душистые заросли, он услышал гортанный призыв Горца и ответное серебристое ржание Принцессы Фозрингтонской.

Почему он здесь и под ним лошадь Дика Форреста, спрашивал себя Грэхем, почему он все еще не едет на станцию, чтобы сесть в первый же поезд, найденный им сегодня в расписании? И он ответил себе с горечью, что эти колебания, эта странная нерешительность в мыслях и поступках — для него новость. А впрочем, — и тут он весь как бы загорелся, — ему дана одна только жизнь, и есть одна только такая женщина на свете!

Он отъехал в сторону, чтобы пропустить стадо ангорских коз. Здесь были самки, несколько сот; пастухи-баски медленно гнали их перед собой и часто давали им отдыхать, ибо рядом с каждой самкой бежал козленок. За оградой загона он увидел маток с новорожденными жеребятами, а услышав предостерегающий возглас, мгновенно свернул на боковую дорожку, чтобы не столкнуться с табуном из тридцати годовалых жеребят, которых куда-то перегоняли. Их возбуждением заразились все обитатели этой части имения, воздух наполнился пронзительным ржанием, призывным и ответным. Вzbешенный присутствием и голосами стольких соперников, Горец носился взад и вперед по загону и все вновь издавал свой трубный призыв, словно желая всех убедить, что он самый сильный и замечательный жеребец, когда-либо существовавший на земле.

К Грэхему неожиданно подъехал Дик Форрест на

Капризнице. Он сиял от восторга, что среди подвластных ему созданий разыгралась такая буря.

— Природа зовет! Природа, — проговорил он нараспев, здороваясь с Грэхемом, и остановил свою лошадь, хотя это едва ли можно было назвать остановкой: золотисто-рыжая красавица кобыла, не переставая, плясала

под ним, тянулась зубами то к его ноге, то к ноге Грэхема и, разгневанная неудачей, бешено рыла копытом землю и брыкалась — раз, два раза, десять раз.

— Эта молодежь, конечно, ужасно злит Горца, — сказал Дик, смеясь. — Вы знаете его песню? «Внемлите мне! Я — Эрос. Я попираю холмы. Моим зовом полны широкие долины. Кобылицы слышат меня на мирных пастбищах и вздрагивают, ибо они знают меня. Земля жирна, и соков полны деревья. Это весна. Весна — моя. Я царь в моем царстве весны. Кобылицы помнят мой голос, — он жил в крови их матерей. Внемлите! Я — Эрос. Я попираю холмы, и, словно герольды, долины разносят мой голос, возвещая о моем приближении».

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

После отъезда тетки Паола исполнила свою угрозу, и дом наводнили гости. Казалось, она вспомнила обо всех, кто давно ожидал приглашения, и лимузин, встречавший гостей на станции за восемь миль от усадьбы, редко возвращался пустым. Среди приехавших были певцы, музыканты и всякая артистическая публика, а также стайка молодых девушек с неизбежной свитой молодых людей; все комнаты и коридоры Большого дома были набиты мамами, тетками и пожилыми трезвенниками, а на прогулках они занимали несколько машин.

Грэхем спрашивал себя: не нарочно ли Паола окружает себя всей этой толпой? Сам он окончательно забросил свою книгу, купался с самыми ретивыми купальщиками перед завтраком, принимал участие в прогулках верхом по окрестностям и во всех прочих развлечениях, которые затевались и в доме и вне Лома.

Вставали рано и ложились поздно. Дик, который обычно не изменял своему правилу появляться среди гостей не раньше полудня, просидел однажды целую ночь напролет за покером в бильярдной. Грэхем тоже участвовал в игре и был вознагражден за бессонную ночь, когда на рассвете к ним неожиданно вошла Паола — тоже после «белой ночи», как она выразилась, хотя бессонница ничуть не повлияла ни на ее цвет лица, и на самочувствие. И Грэхему приходилось держать себя в руках, чтобы не смотреть на нее слишком часто, когда она составляла золотистые шипучие смеси для подкрепления усталых игроков с ввалившимися, посоловелыми глазами. Она заставляла их бросать карты и посылала выкупаться перед работой или новыми развлечениями.

Никогда теперь Паола не бывала одна, и Грэхему оставалось только примкнуть к окружавшей ее компании. Хотя в Большом доме беспрестанно танцевали танго и фокстрот, она танцевала редко и всегда с молодежью. Впрочем, один раз она пригласила Грэхема на старомодный вальс, причем насмешливо объявила расступившимся перед ними молодым людям:

— Смотрите, вот ваши предки исполняют допотопный танец.

После первого же тура они вполне приноровились друг к другу. Паола, с той особой чуткостью, которая делала из нее такую исключительную аккомпаниаторшу и наездницу, подчинялась властным движениям своего кавалера, и скоро зрителям стало казаться, что оба они только части

единого слаженного механизма. Через несколько туров, когда Грэхем почувствовал, что Паола вся отдается танцу и их ритмы в совершенстве согласованы, он решил попробовать разные фигуры и ритмические паузы. Хотя их ноги не отрывались от пола, эта вальсирующая пара казалась парящей. Дик воскликнул:

— Смотрите! Плывут! Летят! Они танцевали под «Вальс Саломеи» и вместе с медленно затихающими звуками наконец замерли.

Слова были излишни. Молча, не глядя друг на друга, вернулись они к остальным и услышали, как Дик заявил:

— Эй, вы, желторотые юнцы, цыплята и всякая мелюзга! Видели, как мы, старики, танцуем? Я не возражаю против новых танцев, имейте это в виду, — они красивы и изящны; но я думаю, что вам не вредно было бы научиться и вальсировать. А то когда вы начинаете, получается один позор. Мы, старики, тоже кое-что умеем, что и вам бы уметь не мешало.

— Например? — спросила одна из девиц.

— Хорошо, я сейчас скажу. Пусть от молодого поколения несет бензином, это еще ничего...

Взрыв протеста на миг заглушил голос Дика.

— Я знаю, что и от меня несет, — продолжал он. — Но вы все изменили добрым старым способам передвижения. Среди вас нет ни одной девицы, которая могла бы состязаться с Паолой в ходьбе, а мы с Грэхемом так загоняем любого юношу, что он без ног останется. О, я знаю, вы мастера управлять всякими машинами, но среди вас нет ни одного, кто умел бы сидеть как следует на настоящей лошади. А править парой настоящих рысаков — куда уж вам! Да и многие ли из вас, столь успешно маневрирующих на ваших моторных лодках в укрытой бухте, сумели бы взяться за руль старомодной шхуны или шлюпа и благополучно вывести судно в открытое море?

— А все-таки мы попадаем, куда нам надо, — возразила та же девица.

— Не отрицаю, — отвечал Дик. — Но вы не всегда делаете это красиво. А вот вам ситуация, которая для вас совершенно недоступна: представьте себе Паолу, которая правит четверкой взмыленных коней и, держа ногу на тормозе, несется по горной дороге.

В одно жаркое утро под прохладными аркадами большого двора, возле Грэхема, читавшего журнал, собралось несколько человек; среди них была и Паола. Поговорив с ними, он через некоторое время снова взялся за чтение и так увлекся, что совсем забыл об окружающих, пока у него не возникло ощущение наступившей вокруг тишины. Он поднял глаза. Осталась только Паола. Все остальные разбрелись, он слышал их смех,

доносившийся с той стороны двора. Но что с Паолой? Его поразило выражение ее лица и глаз. Она смотрела на него не отрываясь; в ее — взгляде было сомнение, раздумье, почти страх; и все же в этот краткий миг он успел заметить, что ее глубокий взор как бы вопрошал о чем-то, — так вопрошал бы взор человека открывшуюся перед ним книгу судьбы. Затем ее ресницы дрогнули и опустились, а щеки порозовели, — в этом не могло быть сомнения. Дважды ее губы дрогнули, она как бы силилась что-то сказать, но, застигнутая врасплох, не могла собрать свои мысли.

Грэхем вывел ее из этого тягостного состояния, спокойно заметив:

— А знаете, я только что читал де Врие, как он превозносит Лютера Бербанка за его работы; и мне кажется, что Дик в мире домашних животных играет такую же роль, как Бербанк в растительном мире. Вы тут прямо творите жизнь, создавая из живого вещества новые, полезные и прекрасные формы.

Паола, успевшая тем временем овладеть собой, рассмеялась, с удовольствием принимая эту похвалу.

— И когда я смотрю на все, что здесь вами достигнуто, — продолжал Грэхем с мягкой серьезностью, — мне остается пожалеть о даром истраченной юности. Почему я так ничего и не создал в жизни? Я ужасно завидую вам обоим.

— Мы действительно ответственны за появление на свет множества существ, — сказала Паола, — сердце замирает, когда подумаешь об этой ответственности.

— Да, у вас тут положительно царство плодородия, — улыбнулся Грэхем, — цветение и плодоношение жизни никогда еще так не поражали меня. Здесь все благоденствует и множится.

— Знаете, — прервала его Паола, увлеченная вдруг блеснувшей мыслью, — я вам покажу моих золотых рыбок. Я развожу их, и представьте — с коммерческой целью. Снабжаю торговцев в Сан-Франциско самыми редкими породами и даже отправляю их в Нью-Йорк. Главное — это дает мне доход, как видно по книгам Дика, а он очень строгий счетовод. В доме нет ни одного молотка, который бы не был внесен в инвентарь, ни одного гвоздя, который бы он не учел. Вот почему у него такая куча бухгалтеров и счетоводов. Он дошел до того, что при расчетах принимает во внимание даже легкое недомогание или хромоту у лошади. Таким образом, на основе устрашающего ряда цифр он вывел стоимость рабочего часа ломовой лошади с точностью до одной тысячной цента.

— Да, ну а ваши золотые рыбки? — напомнил Грэхем, раздраженный этими постоянными напоминаниями о муже.

— Так вот. Дик заставляет своих бухгалтеров с такой же точностью учитывать и моих золотых рыбок. На каждый рабочий час, который затрачивается на них у нас в доме или в имений, составляется счет по всей форме, включая расходы на почтовые марки и письменные принадлежности. Я плачу проценты за помещение и инвентарь. Дик даже за воду берет с меня, точно я домовладелец, а он водопроводная компания. И все-таки мне остается десять процентов прибыли, а иногда и тридцать. Но он смеется надо мною и уверяет, что если вычесть содержание управляющего, то есть мое, то окажется, что я зарабатываю очень мало, а может быть, даже работаю себе в убыток, потому что мне на мой доход не нанять такого хорошего управляющего. Вот почему Дику удаются все его предприятия! Опыты, конечно, не в счет, но обычно он никогда ничего не предпринимает, пока не уяснит себе совершенно точно, до мельчайших подробностей, во что это ему обойдется.

— Дик очень в себе уверен, — заметил Грэхем.

— Я не видела человека, до такой степени в себе уверенного, — горячо подхватила Паола. — Но и не видела никого, кто бы имел на это больше прав, чем Дик. Я ведь знаю его. Он гений, хоть и не в обычном смысле этого слова, потому что такая уравновешенность, близость к норме, как у него, ни с какой гениальностью несовместимы. Подобные люди встречаются реже, чем настоящие гении, и они выше. Таким же был, по моему, Авраам Линкольн.

— Должен признаться, я не совсем вас понимаю, — заметил Грэхем.

— О, я вовсе не хочу сказать, что Дик так же велик, как Элвис Линкольн, — поспешно возразила она. — Разве тут может быть сравнение! Дик молодчина, но это, конечно, не то. Я хочу сказать, что их роднит исключительная уравновешенность и близость к норме. Вот я, с позволения сказать, — гений, потому что делаю все, не зная, как я это делаю. Просто делаю. Так же вот я добиваюсь каких-то результатов и в музыке. Хоть убейте меня, а я вам не смогу объяснить, почему все это у меня выходит, — как я ныряю, или прыгаю в воду, или делаю полтора оборота.

Дик же, напротив, ничего не начнет, пока не уяснит себе, как он это будет делать. Он все делает обдуманно и хладнокровно. Он весь, во всех отношениях — чудо, хотя ни в какой отдельной области ничего чудесного не совершил. О, я знаю его. Никогда не был он чемпионом какого-либо атлетического спорта, никаких рекордов не ставил; но и посредственностью не был. Он таков в любой области — интеллектуальной и духовной. Он — как цепь с совершенно одинаковыми звеньями: нет ни одного слишком тяжелого или слишком легкого.

— Боюсь, что я скорее похож на вас, — отозвался Грэхем, — я тоже принадлежу к более обычной и неполноценной категории гениев. Я тоже зажигаюсь, совершаю самые неожиданные поступки и готов иной раз склониться перед тайной.

— А Дик ненавидит все таинственное или по крайней мере делает вид, что ненавидит. И ему недостаточно знать — как, он всегда доискивается еще и почему именно так, а не иначе. Загадки раздражают его. Они действуют на него, как красный лоскут на быка. Ему хочется сорвать покров с неведомого, обнажить самое сердце тайны, узнать — как и почему, и чтобы тайна была уже не тайной, а фактом, который можно обобщить и объяснить научно.

Положение трех основных действующих лиц становилось все сложнее, но многое было еще скрыто от каждого из них. Грэхем не знал, какие отчаянные усилия делала Паола, чтобы сохранить близость с мужем, а тот, со своей стороны, занятый по горло бесчисленными опытами и проектами, бывал все реже среди гостей. Он неизменно появлялся за вторым завтраком, но очень редко участвовал в прогулках. Паола догадывалась по множеству приходивших из Мексики зашифрованных телеграмм, что дело с рудниками «Группа Харвест» осложнилось. Она видела также, что к Дику спешно приезжают, и притом в самое неожиданное время, агенты и представители иностранного капитала в Мексике, чтобы с ним посоветоваться. Он жаловался, что они ему дохнуть не дают, но ни разу ни словом не обмолвился о причинах этих приездов.

— Неужели ты не можешь выкроить себе хоть чуточку свободного времени? — вздохнув, сказала Паола как-то утром, когда ей наконец удалось застать Дика в одиннадцать часов одного. Она сидела у него на коленях и ласково прижималась к нему.

Правда, он диктовал в диктофон какое-то письмо и она помешала ему своим приходом; вздохнула же она потому, что услышала деликатное покашливание Бонбрайта, который вошел с пачками последних телеграмм.

— Хочешь, я покатаю тебя сегодня на Дадди и Фадди? Поедем вдвоем, только ты да я, — продолжала она просящим тоном.

Дик покачал головой и улыбнулся.

— Ты увидишь за завтраком прелюбопытное сборище, — заявил он. — Другим этого знать незачем, но тебе я скажу. — Он понизил голос, а Бонбрайт скромно потупился и занялся картотекой. — Будет прежде всего много народу с нефтяных промыслов «Тэмпики»; директор «Насиско» Сэмюэл собственной персоной; потом Уишаар — душа Пирсон-Брукской компании, — помнишь, тот малый, который организовал покупку железных

дорог на Восточном побережье и Тиуана-Сентрал, когда они пытались бороться с «Насиско»; будет и Матьюссон, «Великий вождь», главный представитель интересов Палмерстона по эту сторону Атлантического океана, — знаешь, той английской фирмы, которая так свирепо боролась с «Насиско» и Пирсон-Бруксами; ну и еще кое-кто. Отсюда ты должна понять, насколько в Мексике неблагоприятно, если все эти господа готовы забыть о своей грызне и совещаются друг с другом.

У них, видишь ли, нефть, а я тоже кой-что значу, поэтому они хотят, чтобы я сочетал свои интересы с их интересами — рудники с нефтью. Да, чувствуется, что назревают какие-то события, и нам действительно надо объединиться и что-то предпринять или убираться из Мексики. Признаюсь, после того как они три года назад, во время той передраги, подвели меня, я наплевал на них и засел у себя; быть может, они поэтому теперь сами ко мне и явились.

Дик был нежен с Паолой и называл ее своей любимой, но она все же перехватила нетерпеливый взгляд, который он бросил на диктофон с неоконченным письмом.

— Итак, — закончил он, прижимая ее к себе и как бы давая этим понять, что время истекло и ей пора уходить, — днем я буду занят с ними. Но обедать никто не останется, все уедут раньше.

Паола соскользнула с его колен и высвободилась из его объятий с необычайной резкостью; она встала перед ним, выпрямившись; ее глаза сверкали, лицо побледнело, и у нее было такое выражение, словно она вот-вот сорвется и скажет ему что-то очень важное. Но раздался мягкий звон, и он потянулся к телефону. Паола опустила голову, неслышно вздохнула и, выходя из комнаты, услышала, как Бонбrait торопливо подошел к столу с телеграммами в руках, а Дик заговорил по телефону:

— Нет! Это невозможно! Пусть все выполнит, иначе ему не поздоровится. Все эти джентльменские устные соглашения — вздор. Будь только такой устный договор, не пришлось бы и спорить. Но у меня есть весьма интересная переписка, о которой он, видимо, забыл... да, да... любой суд признает. Я вам пришлю всю пачку сегодня же около пяти. И скажите ему, что если он вздумает вытворять всякие фокусы, так я его в бараний рог согну, сам сделаюсь судовладельцем, стану его конкурентом, и через год его пароходы будут в руках судебного исполнителя... Алло! Вы слушаете?.. И особенно обратите внимание на тот пункт, о котором я вам говорил... Я уверен, что в Междущтатном торговом комитете на него уже имеются два дела... Ни Грэхем, ни даже Паола не предполагали, что Дик, с его умом и наблюдательностью, а также особым даром угадывать будущее



по едва уловимым признакам и намекам и на их основании строить догадки и гипотезы, которые потом нередко оправдывались, — что Дик уже почувствовал, чего еще не случилось, но что могло случиться. Он не слышал кратких и знаменательных слов Паолы под дубами у коновязи, не видел ее вопрошающего взора, устремленного на Грэхема, когда они встретились под аркадами, — Дик ничего не слышал, видел очень немного, но многое чувствовал; и даже то, что переживала Паола, он смутно уловил раньше, чем она сама.

Единственное, что могло встревожить его, был тот вечер, когда он, хотя и поглощенный бриджем, все же заметил, как поспешно они отошли от рояля после своего дуэта. Дику почудилось что-то необычное в задорном и веселом лице Паолы, когда она, улыбаясь, принялась дразнить его тем, что он проиграл. Отвечая ей в том же веселом тоне, он смеющимися глазами скользнул по лицу Грэхема, стоявшего рядом с Паолой, и заметил у него тоже какое-то странное выражение. «Он очень взволнован, — подумал Дик в ту минуту. — Но почему? Есть ли какая-нибудь связь между его волнением и тем, что Паола внезапно отошла от рояля?» Эти вопросы неотступно вертелись у него в мозгу, но он смеялся шуткам гостей, тасовал и сдавал карты и даже выиграл партию.

Однако он продолжал убеждать себя в нелепости и несообразности того, что ему почудилось. Вздорное предположение, шальная, ни на чем не основанная мысль, говорил он себе. Просто и его жена и его друг — обаятельные люди. Все же он не мог запретить этим мыслям в иные минуты всплывать в его сознании. Почему они все-таки в тот вечер так внезапно оборвали пение? И отчего ему почудилось, что произошло нечто необычайное? Отчего Грэхем был взволнован?

Не догадался и Бонбrait, записывая как-то утром текст телеграммы, что его хозяин не случайно то и дело подходил к окну при каждом стуке копыт на дороге. Уже не первое утро за эти дни подбегал он к окну и бросал внешне рассеянный взгляд на кавалькаду, подъезжавшую к коновязи. И сегодня он опять говорил себе, что знает наперед, кого сейчас увидит.

— «Брэкстон в полной безопасности, — продолжал он диктовать, с теми же спокойными интонациями, глядя туда, где должны были появиться всадники, — если что-нибудь произойдет, он может перебраться через горы в Аризону. Немедленно повидайте Коннора. Брэкстон оставил ему все инструкции. Коннорс будет завтра в Вашингтоне. Узнайте и сообщите мне подробности обо всех событиях. Подпись».

На дороге показались Лань и Альтадена. Они скакали голова в голову.

Дик не ошибся: он увидел именно то, что ожидал. Донесшиеся до него веселые восклицания, смех и топот копыт показывали, что за двумя первыми всадниками непосредственно следует вся остальная компания.

— Вторую телеграмму, мистер Бонбrait, составьте, пожалуйста, нашим кодом, — спокойно продолжал Дик, глядя в то же время в окно и размышляя о том, что Грэхем ездит верхом неплохо, но отнюдь не блестяще и что ему нужно будет дать лошадь потяжелее. — Отправьте эту телеграмму Джереми Брэкстону. Отправьте ее сразу по обеим линиям. Хотя бы по одной, может быть, дойдет...

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В пять гости схлынули, и завтракать и обедать зачастую садились только втроем — хозяева и Грэхем. Но в те вечера, когда мужчинам еще хотелось поболтать часок перед сном, Паола уже не играла мягкую и задумчивую музыку, а подсаживалась к ним с каким-нибудь изысканным вышиванием и слушала их беседу.

У обоих друзей было много общего — и молодость они провели во многом одинаково и на жизнь у них были сходные взгляды; их жизненная философия скорее отличалась суровостью, чем сентиментальностью, они были реалистами.

— Ну, конечно, — смеясь, говорила Паола обоим. — Я понимаю, почему вы такие. Вы оба удались — физически удались, хочу я сказать. Здоровы. Выносливы. Выжили там, где более слабые погибли. Даже африканской лихорадке не удалось вас сломить, а товарищей вы хоронили. Этот бедняга на Криппл-Крике схватил воспаление легких и умер так быстро, что вы не успели даже спустить его в долину. Почему же вы не заболели? Оттого, что были лучше? Или вели более воздержанную жизнь? Или соблюдали осторожность и меньше рисковали? — Она покачала головой. — Нет. Не поэтому. А потому, что вам больше везло: везло и в смысле среды, в которой вы родились, и в смысле здоровья, сопротивляемости организма и всего прочего. Почему Дик похоронил в Гваякиле трех штурманов и двух машинистов? Их погубила желтая лихорадка. А почему желтая лихорадка не распространилась дальше и не погубила Дика? То же самое можно сказать и относительно вас, широкоплечий и крепкогрудый мистер Грэхем. Ведь во время вашей последней поездки утонули в болоте не вы, а ваш фотограф? Почему же? Говорите! Признавайтесь! Сколько он весил? Какой ширины были у него плечи? Какие легкие? Какие ноздри? Какая сила?

— Он весил сто тридцать пять фунтов, — жалобно отвечал Грэхем, — но казался здоровым и крепким. Я, вероятно, удивился больше него, когда он утонул. — Грэхем покачал головой. — И он утонул вовсе не потому, что был мал и хил. Маленькие люди всегда гораздо выносливее при прочих равных условиях. Но вы все же верно указали главную причину: у него не было выдержки, не было сопротивляемости. Понимаете, Дик, что я под этим разумею?

— Это какое-то особое свойство мышц и сердца, дающее, например,

иным боксерам возможность выдерживать подряд двадцать, тридцать, сорок раундов, — заметил Дик. — Как раз сейчас в Сан-Франциско несколько сот юношей мечтают о победах на ринге. Я следил за тем, как они испытывали свои силы. Все они были прекрасно сложены, молоды, здоровы, все упорно стремились к победе — и почти никто не мог выдержать десяти раундов. Не то чтобы они были побиты, но они просто не могли выдержать. Видимо, их мышцы и сердце сделаны не из первосортного материала и при таких стремительных и напряженных движениях их не хватает на десять раундов. Многие выдыхались на четвертом или пятом раунде. И ни один из сорока не выстоял двадцать раундов, принимая и возвращая удары в течение часа, при одной минуте отдыха и трех минутах борьбы. Парень, способный выдержать сорок раундов, такой, как, например, Нелсон, Ганс и Волгаст, едва ли найдется один на десять тысяч.

— Ты понимаешь, что я хочу сказать? — продолжала Паола. — Вот вас здесь двое. Вам обоим за сорок. Оба вы неисправимые грешники. Оба прошли огонь и воду. Рядом с вами другие падали и гибли, — вы же побродили по свету, пожили в свое удовольствие...

— Было дело... — рассмеялся Грэхем.

— И здорово пьянствовали, — добавила Паола. — Но даже алкоголь не сжег вас! Такие уж вы крепыши! Другие валились под стол, кончали больницей или мертвецкой, а вы, напевая, продолжали свой путь, свой славный путь; вы оставались целы и невредимы, и даже голова с похмелья у вас не болела! Такие уж вы удались! Ваши мышцы — это мышцы, богатые кровью, и ваше сердце и легкие — тоже. Оттого у вас и философия «полнокровная» и стальная хватка, и вы проповедуете реализм — практический реализм, и идете по головам более слабых и менее удачливых, которые не смеют дать сдачи и падают в первой схватке, как те молодые люди, о которых говорил Дик: они не выстояли бы и одного раунда, если бы померились с вами силами.

Дик насмешливо свистнул.

— Вот почему вы проповедуете евангелие сильных, — продолжала Паола. — Будь вы слабы, вы бы проповедовали евангелие слабых и подставляли бы другую щеку. Но вы оба — силачи-великаны, и если вас ударят, другой щеки вы не подставите...

— Нет, — спокойно прервал ее Дик. — Мы немедленно заревем: «Отрубить ему голову!» — "и отрубим. Она здорово нас поймала, Ивэн. Философия человека, как и его религия, — это сам человек, он создает ее по своему образу и подобию.

Мужчины продолжали беседовать, а Паола — вышивать, но перед ней неотступно стояли образы этих двух рослых мужчин; она восхищалась ими, дивилась им, но не находила в себе их самоуверенности и чувствовала, как их взгляды и убеждения, с которыми она так долго соглашалась, что они стали как бы ее собственными, — вдруг точно меркнут, теряют свою убедительность.

Через несколько дней, однажды вечером, она высказала свои сомнения.

— Самое странное во всем этом то, — сказала она в ответ на только что сделанное Диком замечание, — что чем больше люди философствуют о жизни, тем меньше они достигают. Постоянное философствование сбивает их с толку, особенно женщин, если они постоянно находятся в этой атмосфере. Когда слышишь очень много рассуждений, то начинаешь во всем сомневаться. Взять, например, жену Менденхолла: она лютеранка, и у нее нет никаких сомнений. Для нее все ясно, все стоит на своих местах, все нерушимо. Она ничего не знает ни о звездных дождях, ни о ледниковых периодах, а если бы и знала — это ни на йоту не изменило бы ее точки зрения на то, как должны себя вести мужчины и женщины — и на этом свете и на том!

А у нас здесь вы проповедуете свой трезвый реализм, Терренс исполняет какой-то анархо-эпикурейский танец в античном духе, Хэнкок помахивает мерцающими вуалями бергсоновской метафизики, Лео молится перед алтарем Красоты, а Дар-Хиал без конца жонглирует своими парадоксами, и вы его одобряете. Разве вы не видите, что в результате не остается ни одного суждения, на которое можно было бы опереться? Нет ничего правильного, все ложно. Чувствуешь, что плывешь по морю идей без руля, без паруса, без карты. Как поступить? Удержаться или дать себе волю? Хорошо это или плохо? У миссис Менденхолл есть на все готовые ответы. Ну, а у философов? — Паола покачала головой. — А у них нет. Все, что у них есть, — это идеи. И прежде всего начинают говорить о них, говорить, говорить и, несмотря на всю свою эрудицию, никогда не приходят ни к каким выводам. И я такая же. Я слушаю, слушаю и говорю, говорю без конца, как, например, сейчас, а убеждений у меня все-таки нет никаких. И нет никакого мерила...

— Неправда, мерило есть, — возразил Дик. — Старое, вечное мерило: истинно то, что оправдывает себя в жизни.

— Ну, теперь ты опять начнешь развивать свои любимые теории насчет фактов, — улыбнулась Паола. — А Дар-Хиал с помощью нескольких жестов и словесных вывертов докажет тебе, что всякий факт —

иллюзия; а Терренс — что целесообразность есть нечто лишнее, несущественное и непонятное; а Хэнкок — что пресловутое небо Бергсона вымощено тем же булыжником целесообразности, но он гораздо совершеннее, чем у тебя; а Лео — что в мире существует только одно — Красота, и вовсе это не булыжник, а золото...

— Поедем сегодня верхом. Багряное Облако, — обратилась Паола к мужу. — Выбрось из головы свои заботы, забудь о юристах, рудниках и овцах!

— Мне тоже очень хочется, Поли, — ответил он. — Но я не могу. Нужно мчаться в Бьюкэй. Уорд приехал перед самым завтраком. У них что-то там стряслось с плотиной: наверное, переложили динамиту, и нижний слой дал трещину. А какой толк от плотины, если дно резервуара не будет держать воду?

Когда Дик три часа спустя возвращался из Бьюкэя, он увидел, что Грэхем и Паола в первый раз поехали кататься вдвоем.

Уэйнрайты и Когланы решили отправиться в двух машинах к берегам Рашен-Ривер и пожить там с недельку. По пути они остановились на день в Большом доме. Паола, не долго думая, посадила всю компанию в коляску, запряженную четверкой, и повезла ее в горы Лос-Банос. Так как они выехали утром, то Дик не мог отправиться с ними, хотя и оторвался от работы с Блэйком, чтобы выйти их проводить. Он проверил упряжку и экипаж, нашел все в полном порядке, но пересадил всех по-своему, настаивая, чтобы Грэхем занял место на козлах рядом с Паолой.

— Пусть у нее будет про запас мужская сила, — пояснил он. — Мне не раз приходилось видеть, как тормоз портится на самой середине спуска, и это доставляет пассажирам немало неприятностей. Бывают и жертвы. А теперь для вашего успокоения, чтобы вы знали, что такое Паола, я спою вам песенку.

Наша девочка-плутовка  
Правит парой очень ловко,  
Но она себя прославит  
Тем, что и четверкой правит.

Все рассмеялись. Паола сделала конюхам знак, чтобы они отпустили лошадей, и покрепче забрала в руки и выровняла вожжи.

Среди смеха и шуток отъезжающие простились с Диком, и никто из них не заметил ничего, кроме ясного утра,

обещавшего не менее чудесный день, и приветливого хозяина, желавшего им счастливого пути. Но Паола, вместо радостного возбуждения, которое охватило бы ее в другое время оттого, что она правит четверкой таких лошадей, почувствовала смутную печаль, — и одной из причин было то, что Дик с ними не едет. А Грэхему при виде улыбающегося Дика стало стыдно: вместо того, чтобы сидеть рядом с этой несравненной женщиной, ему следовало бы сейчас мчаться в поезде или на пароходе на край света.

Но веселое выражение исчезло с лица Дика, как только он повернулся и направился к дому. Было самое начало одиннадцатого, когда он кончил диктовать и Блэйк встал, намереваясь уйти. Однако он не ушел, а, замявшись, пробормотал слегка виноватым тоном:

— Вы меня просили, мистер Форрест, напомнить относительно корректуры вашей книги о шортхорнах. Вчера от издателей пришла вторая телеграмма: они просят вас скорее вернуть ее.

— Я сам уже не успею, — ответил Дик. — Будьте добры, выправьте типографские ошибки, а затем дайте мистеру Мэнсону для фактических поправок, — пусть особенно тщательно проверит родословную Короля Дэвона, — и пошлите.

До одиннадцати Дик принимал управляющих и экономов. Только в четверть двенадцатого ему удалось отделаться от организатора выставок, мистера Питтса, показывавшего ему макет каталога для впервые организуемой в его имении годичной распродажи скота его собственных заводов. А тут появился Бонбrait, принес телеграммы для хозяина, и они не успели еще покончить со всеми делами, как подоспело время завтрака.

Оставшись наконец один, — в первый раз после того, как он проводил гостей, — Дик удалился на свою спальню-веранду и подошел к висевшим на стене термометрам и барометру. Но смотрел он не на них, а на смеющееся женское личико в круглой деревянной рамке.

— Паола, Паола, — проговорил он вслух. — Неужели ты через столько лет удивишь и себя и меня? Неужели ты потеряешь голову — ты, скромная и уже немолодая женщина?

Он надел краги и шпоры для поездки верхом после завтрака и опять задумчиво обратился к портрету.

— Что ж, я за честную игру, — пробормотал он; и после паузы, уже повернувшись, чтобы уходить, добавил: — В открытом поле... и на равных условиях... на равных условиях...

— Знаете, если я скоро не уеду отсюда, — шутливо сказал Грэхем Дику в тот же день, — придется мне стать вашим пансионером и

присоединиться к философам из «Мадроньевой рощи».

Они пили втроем коктейли перед обедом: никто из возвратившихся с прогулки гостей еще не показывался.

— Если бы наши философы написали все вместе хоть одну книгу! — вздохнул Дик. — Боже мой, голубчик, но должны же вы кончить здесь свою работу! Я вас заставил начать ее, и я должен позаботиться о том, чтобы вы ее завершили.

Стереотипные вежливо-равнодушные фразы, которыми Паола уговаривала Грэхема остаться, показались Дику сладостной музыкой. Его сердце дрогнуло от радости: может быть, он, несмотря на все, ошибся? Неужели два таких человека, как Грэхем и Паола, зрелых, умных и уже немолодых, способны так нелепо и легкомысленно потерять голову?

— За книгу! — поднял Дик свой бокал; а затем добавил, обернувшись к Паоле: — Прекрасный коктейль, Поли! Ты превзошла себя в этом искусстве, а О-Чая все не можешь научить, — его коктейли всегда хуже твоих. Да, еще коктейль, пожалуйста...



## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Грэхем ехал по лесистым ущельям среди гор, окружавших имение, и знакомился со своей новой верховой лошастью Селимом — рослым, массивным вороным мерином, которого Дик дал ему вместо более легкой Альтадены. Изучая характер коня, добродушного, смирного и все же лукавого, Грэхем мурлыкал слова цыганской песни, которую пел с Паолой, и отдавался своим мыслям. Вспомнив о буколических любовниках, вырезавших свои инициалы на деревьях в лесу, он небрежно, скорее ради шутки, отломил ветку лавра и ветку сосны, затем, привстав на стремянах, наклонился, сорвал длинный стебель папоротника с пятипальчатым листком и накрест связал им ветки. Когда паттеран был готов, он бросил его впереди себя на дорогу и заметил, что Селим переступил через него, не задев. Уже отъехав, Грэхем обернулся и упорно старался не терять из виду свой паттеран до следующего поворота дороги. «Лошадь на него не наступила: хорошее предзнаменование», — подумал он.

Вокруг него повсюду рос папоротник, ветки лавров и сосен задевали его по лицу, как бы приглашая продолжать начатую забаву. И он связывал паттераны и один за другим бросал их на дорогу.

Спустя час он доехал до поворота, откуда, как ему было известно, начиналась дорога через перевал, крутая и трудная, — и Грэхем повернул обратно.

Селим тихонько заржал. Совсем близко раздалось ответное ржание. Тропа в этом месте была удобной и широкой, Грэхем пустил Селима рысью и, описав широкую дугу, нагнал Паолу, ехавшую на Лани.

— Алло! — закричал он. — Алло! Алло!

Она придержала лошадь, и он поравнялся с ней.

— Я только что повернула обратно, — сказала она. — А вы почему повернули? Я думала, вы едете через перевал в Литтл Гризли.

— А вы знали, что я еду впереди вас? — спросил он, любясь мальчишески-прямым и правдивым взглядом, каким она смотрела ему прямо в глаза.

— Как же не знать? После второго паттерана я уже не сомневалась.

— О, я и забыл про них, — виновато засмеялся он. — Но почему вы повернули обратно?

Она подождала, чтобы Лань и Селим переступили через лежавшую поперек дороги ольху, взглянула ему в глаза и ответила:

— Потому что не хотела ехать по вашему следу; да и ни по чьим следам, — быстро поправилась она. — И вот после второго паттерана я повернула обратно.

Он сразу не нашелся, что ответить, и наступило неловкое молчание; оба ощущали эту неловкость, вызванную тем, что оба они знали и о чем говорить не могли.

— А вы имеете обыкновение бросать паттерамы? — спросила Паола.

— Это первый раз в моей жизни, — покачал он головой. — Но кругом такая пропасть подходящего материала, что трудно было удержаться, да и цыганская — песня преследовала меня.

— Меня она преследовала сегодня с утра, как только я проснулась, — сказала Паола, откинув голову, чтобы ветка дикого винограда не задела ее щеку.

А Грэхем, глядя на ее профиль, на венец ее золотисто-каштановых волос, на ее прекрасную шею, снова ощутил знакомую томительную боль и желание. Ее близость дразнила его. Золотистая амазонка Паолы вызывала в нем мучительные видения ее тела, когда она сидела на тонущем Горце, когда прыгала в воду с высоты сорока футов или шла по комнате в своем жемчужно-голубом платье средневекового покроя и сводившим его с ума стройным движением колена приподнимала тяжелые складки.

— Все это вздор, — заметила она, отрывая Грэхема от этих видений.

Он быстро ответил:

— Слава богу, что вы ни разу не вспомнили про Дика.

— Вы разве его не любите?

— Будьте честны, — твердо и почти сурово заявил он. — Все дело именно в том, что я люблю его. Иначе...

— Что? — спросила она.

Голос ее звучал решительно, но она смотрела не на него, а прямо перед собой, на острые ушки Лани.

— Не понимаю, отчего я все еще здесь. Мне следовало давным-давно уехать.

— Почему? — спросила она, не сводя глаз с ушей Лани.

— Говорю вам, будьте честны, — повторил он предостерегающим тоном. — Я думаю, мы и без слов понимаем друг друга.

Щеки Паолы вспыхнули, она вдруг повернулась к нему и молча посмотрела на него в упор, затем быстро подняла руку, державшую хлыст, словно желая прижать ее к своей груди, но рука нерешительно замерла в воздухе и опять опустилась. Все же он видел, что глаза ее сияют радостным испугом. Да, ошибки быть не могло: в них были испуг и радость. И он,

следуя особому чутью, которым одарены некоторые мужчины, переложил повод в другую руку, подъехал к ней вплотную, обнял ее, и, прижавшись коленом к ее колену, привлек к себе так близко, что лошади покачнулись, и поцеловал ее в губы со всей силой своего желания. Ошибки быть не могло. В этом жарком объятии, когда их дыхание смешалось, он с невыразимым волнением почувствовал на своих губах ответный трепет ее губ.

Но через миг она вырвалась. Краска сбежала с ее щек. Глаза сверкали. Она подняла хлыст как бы для того, чтобы ударить, но опустила его на удивленную Лань и тут же так неожиданно и стремительно вонзила шпоры в бока лошади, что та застонала и шарахнулась в сторону.

Он прислушивался к замиравшему на лесной дороге стуку копыт, чувствуя, что голова у него кружится и кровь стучит в висках. Когда замолкли последние отзвуки дальнего топота, он не то соскользнул, не то упал с седла и сел на мшистый камень. Грэхем был глубоко потрясен — гораздо сильнее, чем считал это возможным до той минуты, когда она очутилась в его объятиях. Что же! Жребий брошен! Он вскочил и выпрямился так порывисто, что Селим в испуге отпрянул от него и, натянув повод, громко захрапел.

То, что произошло, произошло совершенно неожиданно. Но это было неизбежно. Это не могло не случиться. Грэхем действовал не по заранее обдуманному плану, хоть теперь и понимал, что при своей пассивности и промедлениях с отъездом должен был все это предвидеть. А теперь отъезд уже не поможет. Теперь все его терзания, его безумие и счастье состояли в том, что сомнений уже быть не могло. Зачем слова, когда его губы еще дрожали от воспоминания о том, что она сказала ему прикосновением своих губ? Он вновь и вновь возвращался к этому поцелую, на который она ответила, и тонул в море блаженных воспоминаний.

Он бережно тронул свое колено, которого коснулось ее колено, преисполненный смиренной благодарности, понятной лишь тому, кто истинно любит. Чудесным казалось ему, что такая удивительная женщина могла его полюбить. Это ведь не девчонка. Это зрелая женщина, опытная и отдающая себе отчет в своих желаниях. И ее У. дыхание прерывалось, когда она была в его объятиях, и ее уста ожили для его уст. Он получил от нее то, что ей отдал, — а ему даже не снилось, чтобы, он после стольких лет мог дать так много.

Грэхем встал, сделал было движение, чтобы сесть на Селима, который обнюхивал его плечо, но остановился, задумавшись.

Теперь дело уже не в отъезде. Относительно этого вопрос ясен. Правда, у Дика свои права. Но права есть и у Паолы. Да и смеет ли он

уехать после того, что произошло? Разве только если она... уедет вместе с ним. Уехать теперь — это все равно, что поцеловать тайком и убежать. Если уж так вышло, что двое мужчин любят одну и ту же женщину, — а в такой треугольник неизбежно закрадывается предательство, — то, конечно, предать женщину постыднее, чем предать мужчину.

«Мы живем в реальном мире, — говорил он себе, медленно направляя лошадь к дому, — и Паола, и Дик, и я живые люди; и мы реалисты — мы привыкли прямо смотреть в лицо жизненным фактам. Ни церковь, ни законы, никакие мудрствования и установления здесь ни при чем. Мы трое должны все решить сами. Конечно, кому-нибудь будет больно. Но вся жизнь — страдание. Умение жить состоит в том, чтобы свести страдание до минимума. К счастью. Дик и сам держится таких же взглядов. Ничто не ново под луной. Бесчисленные треугольники бесчисленных поколений всегда как-то разрешались, значит, будет разрешен и этот. Все человеческие дела в конце концов как-нибудь да разрешаются...»

Он отбросил трезвые мысли и опять отдался блаженству воспоминаний, снова прикоснулся рукой к колену и ощутил на губах дыхание Паолы. Он даже остановил Селима, чтобы посмотреть на сгиб своего локтя, о который опирался ее стан.

Грэхем увидел Паолу только за обедом, и она была такой же, как всегда. Даже его жадный взор не мог отыскать в ней никаких следов сегодняшнего великого события и того гнева, от которого побледнело ее лицо и загорелись глаза, когда она подняла хлыст, чтобы ударить его. Она была та же, что и всегда, — маленькая хозяйка Большого дома. Даже когда их взоры случайно встретились, ее глаза были ясны, спокойны, без тени смущения, без всякого намека на тайну. Положение еще облегчалось тем, что приехали новые гости, приятельницы ее и Дика, которые должны были остаться на несколько дней.

На другое утро он встретился с ними и Паолой в музыкальной комнате у рояля.

— А вы, мистер Грэхем, не поете? — спросила некая миссис Гофман.

Как узнал Грэхем, она была редактором одного женского журнала в Сан-Франциско.

— О, восхитительно! — шутливо отозвался он. — Верно, миссис Форрест?

— Совершенно верно, — улыбнулась Паола. — Хотя бы уже потому, что великодушно сдерживаете свой голос, чтобы окончательно не заглушить мой.

— Вам ничего больше не остается, как доказать истинность ваших

слов, — заявил он. — На днях мы пели один дуэт, — он вопросительно взглянул на улыбающуюся Паолу, — который мне особенно по голосу. — Грэхем опять взглянул на нее вскользь, но не получил никакого ответа: хочет она петь или нет. — Я сейчас пойду принесу ноты, они в другой комнате.

— Эта песня называется «Тропою цыган», — услышал он голос Паолы, когда выходил. — Очень яркая, увлекательная вещь.

Они пели гораздо сдержаннее, чем в первый раз, и голоса их звучали далеко не с тем жаром и трепетом; но они спели дуэт звучнее и шире, больше в духе самого композитора и меньше давая места личному толкованию. Грэхем во время пения думал об одном и был уверен, что о том же думает и Паола: их сердца поют другой дуэт, о котором даже не подозревают эти аплодирующие дамы.

— Держу пари, что вы никогда лучше не пели, — сказал он Паоле.

В ее голосе он услышал новые нотки, — он звучал теперь полнее, щедрее, с той именно богатой звучностью, какой можно было ожидать от прекрасных форм ее шеи.

— А теперь, так как вы наверняка не знаете, что такое паттеран, я вам расскажу... — начала она.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

— Дик, дорогой юноша, вы же стоите прямо на карлейлевских позициях, — говорил Терренс Мак-Фейн отеческим тоном.

В этот день в Большом доме обедали только мудрецы из «Мадроньевой рощи», и вместе с Паолой, Диком и Грэхемом за столом сидело всего семь человек.

— Определить чью-либо позицию — еще не значит опровергнуть ее, — возразил Дик. — Я знаю, что моя точка зрения совпадает с Карлейлем, но это ничего не доказывает. Культ героев прекрасная вещь. Я говорю не как сухой схоластик, а как скотовод-практик, которому постоянно приходится иметь дело с методами Менделя.

— И я должен, по-вашему, согласиться с тем, что готтентот ничуть не хуже белого! — вмешался Хэнкок.

— Ну, это в вас говорит Юг, Аарон, — заметил Дик, улыбаясь. — Эти предрассудки — я имею в виду не врожденные, но привитые еще в раннем детстве окружающей средой — слишком сильны; и сколько бы вы ни философствовали, вам с ними не справиться. Они так же неискоренимы, как влияние манчестерской школы на Спенсера.

— Что же, вы Спенсера ставите на одну доску с готтентотами?

Дик покачал головой.

— Дайте мне сказать, Хиал. Кажется, я могу объяснить свою мысль. Средний готтентот или средний меланезиец, в сущности, мало чем отличается от среднего белого. Разница в том, что таких готтентотов и негров гораздо больше, чем белых, среди которых есть значительный процент людей, превосходящих обычный средний уровень. Я их называю первой шеренгой, они увлекают за собой своих соотечественников, средних людей. Заметьте, что первая шеренга не меняет самой природы среднего человека и не развивает его интеллекта, но она лучше оснащает его для жизненной борьбы, открывает перед ним больше возможностей, облегчает движение вперед всей массе.

Дайте индейцу вместо лука и стрел современную винтовку, и он будет добывать гораздо больше дичи. По своей сути индейский охотник несколько не изменился. Но его раса породила так мало людей, превышающих средний уровень, что все они за десять тысяч поколений не могли дать ему в руки винтовку.

— Ну-ну, Дик, развивайте вашу идею, — поощрял его Терренс. — Я,

кажется, понимаю, куда вы клоните, и вы скоро припрете Аарона к стене с его расовыми предрассудками и дурацкой уверенностью в превосходстве одних народов перед другими.

— Люди, стоящие выше среднего уровня, — продолжал Дик, — те, кто составляет первую шеренгу, — изобретатели, исследователи, конструкторы, — это носители так называемых доминирующих признаков. Расу, в которой таких людей немного, называют низшей, неполноценной. Она все еще пользуется луком и стрелами. Она не вооружена для жизни. Возьмем среднего человека белой расы. Он совершенно так же туп, жаден, инертен, он такой же косный и отсталый, как и средний дикарь. Но средний белый движется быстрее, потому что большее число выдающихся людей вооружает его для жизни, дает ему организацию и закон.

Какого великого человека, какого героя — героя в том смысле, в каком я только что говорил, — породили, например, готтентоты? У гавайцев был только один: Камехамеха. У американских негров только два — Букер Вашингтон и Дюбуа, да и те с примесью белой крови...

Паола делала вид, что живо интересуется разговором и ей ничуть не скучно. Но Грэхему, сочувственно следившему за ней, стало ясно, что она вся как-то внутренне поникла. Под шум спора, завязавшегося между Терренсом и Хэнкоком, она сказала Грэхему вполголоса:

— Слова, слова, слова! Так много, так бесконечно много слов! Вероятно, Дик прав, — он почти всегда бывает прав; но я, признаюсь, никогда не умела и не умею применять все эти слова, все эти потоки слов к жизни, к моей собственной жизни, чтобы понять, как мне надо жить, что я должна и чего не должна делать. — Она, не отрываясь, смотрела ему в глаза, и у него не могло быть никакого сомнения относительно скрытого смысла ее слов. — Я не вижу, какое отношение теория о доминирующих признаках и о первой шеренге может иметь к моей жизни, — продолжала она. — Все это нисколько не уясняет мне, что хорошо и что дурно и по какой дороге надо идти. А они опять начали и теперь проговорят весь вечер...

— Нет, я понимаю, в чем их спор... — поспешно добавила Паола, — но для меня все это звук пустой. Слова, слова, слова! А я хочу знать, что мне делать с собой, как мне быть с вами, с Диком...

Но Диком овладел в этот вечер демон красноречия; и не успел Грэхем ответить Паоле, как Дик потребовал у него каких-то данных относительно южноамериканских племен, с которыми он некогда встречался во время своих путешествий. Слушая Дика и глядя на него, всякий решил бы, что это счастливый, беззаботный человек и притом всецело поглощенный

спором. Ни Грэхем, ни даже Паола, прожившая с ним двенадцать лет, не поверили бы, что от его небрежных и как бы случайных взглядов не ускользнуло ни одно движение руки, ни одна перемена позы, ни один оттенок в выражении их лиц.

«Что бы это значило? — спрашивал себя Дик. — Паола сама не своя. Она явно нервничает, ее, видимо, раздражает этот спор. Грэхем бледен. У него какая-то растерянность в мыслях. Он думает не о том, о чем говорит. О чем он думает?»

А демон красноречия, помогавший ему скрывать свои мысли, увлекал его все дальше и дальше по пути ученой невнятицы.

— В первый раз я, кажется, готова возненавидеть наших мудрецов, — вполголоса сказала Паола, когда Грэхем смолк, сообщив Дику нужные сведения.

Дик хладнокровно продолжал развивать свои тезисы. Поглощенный как будто темой разговора, он все же заметил, как Паола что-то шепнула Грэхему, и хотя не расслышал ни одного слова, но уловил ее все растущую тревогу и безмолвное сочувствие Грэхема и старался угадать: что же такое она могла ему шепнуть? Вместе с тем, обращаясь к сидящим за столом, он говорил:

— ...И Фишер и Шпейзер — оба согласны в том, что в сравнении с передовыми расами, например, с французами, англичанами, немцами, у низших рас можно встретить чрезвычайно мало выдающихся особей.

Никто из гостей не заметил, что Дик нарочно перевел спор в другое русло. Не догадался об этом и Лео; и когда поэт спросил, какое место в этой первой шеренге занимают женщины, и тем дал беседе новое направление, он и не подозревал, что это не его вопрос, а что он искусно подсказан ему Диком.

— Лео, мой мальчик, женщины не являются носителями доминирующих признаков, — ответил ему Терренс, подмигнув соседям. — Женщины консервативны. Они сохраняют устойчивость типа. Закрепив его, они воспроизводят его дальше, — поэтому они главный тормоз прогресса. Если бы не женщины, каждый из нас стал бы носителем доминирующих признаков. Я сошлюсь на нашего славного менделиста, опытного скотовода, — он сегодня с нами и может подтвердить мои легковесные замечания.

— Прежде всего, — подхватил Дик, — давайте вернемся к основному и выясним, о чем, собственно, мы спорим. Что такое женщина? — спросил он с напускной серьезностью.

— Древние греки считали, — заметил Дар-Хиал, и легкая



сардоническая улыбка изогнула его насмешливые губы, — что женщина — это неудавшийся мужчина.

Лео был оскорблен. Его лицо вспыхнуло. В глазах появилось выражение боли, губы задрожали. Он взглянул на Дика, ища поддержки.

— Да, она — ни то ни се, — вмешался Хэнкок. — Точно господь бог, создавая женщину, прервал свою работу, не докончив ее, и женщина так и осталась с половинкой души, с недозревшей душой.

— Нет! Нет! — воскликнул юноша. — Вы не смеее так говорить! Дик, вы же знаете! Скажите, им, скажите!

— К сожалению, не могу, — ответил Дик. — Этот спор о душах столь же туманен, как и сами души. Кто же не знает, что мы часто блуждаем и теряемся в потемках, особенно когда мним, будто нам известно, кто мы и что нас окружает. А что такое сумасшедший? Он только немного или намного безумнее нас. Что такое слабоумный? Идиот? Дефективный ребенок? Лошадь? Собака? Комар? Жаба? Древоточец? Улитка? И что такое ваша собственная личность, Лео, когда вы, например, спите? Когда у вас морская болезнь? Когда вы пьяны? Влюблены? Когда у вас живот болит? Судорога в ноге? Когда вами вдруг овладевает страх смерти? Когда вы в гневе? Или когда переживаете восторг перед красотой мира и думаете, что вы думаете о несказанных, невыразимых вещах?

Я говорю: думаете, что вы думаете, — нарочно. Если бы вы думали на самом деле, то красота мира не казалась бы вам несказанной и невоплотимой в словах. Вы бы видели ее ясно, четко и определенно нашли бы для нее слова. И ваша личность была бы такой же ясной, четкой и определенной, как ваши мысли и слова. Итак, когда вы воображаете, Лео, что стоите на вершинах бытия, вы на самом деле отдаетесь оргии ваших ощущений, следуете их буйной пляске, их трепету и вибрациям, не понимая ни одного движения в этой пляске и не догадываясь о смысле этой оргии. Вы сами себя не знаете. В такие минуты ваша душа, ваша личность — это нечто смутное, неуловимое. Может быть, у какого-нибудь жабы-самца, который вылез на берег пруда и посылает в темноту хриплое кваканье, призывая свою бородавчатую самку, — может быть, в эту минуту в нем тоже просыпается что-то вроде личности? Нет, Лео, личность, душа — это слишком неопределенные понятия, и не нашим «личностям» их уловить. Есть люди, имеющие облик мужчины, но с женской душой. Иногда в одном человеке живет как бы несколько душ. И есть такие двуногие, о которых хочется сказать: ни рыба ни мясо. Мы — как личности, как души — подобны плывущим клочьям тумана или отдаленным вспышкам в ночном мраке. Все здесь туман и мгла, и мы словно бродим

ощупью впотьмах, когда хотим разгадать эту мистику.

— Может быть, это мистификация, а не мистика; придуманная человеком мистификация, — сказала Паола.

— И это говорит истинная женщина, а еще Лео уверяет, что у нее полноценная душа, — заметил Дик. — Суть в том, Лео, что душа и пол тесно сплетены друг с другом, и мы очень мало знаем о том и о другом...

— Но женщины прекрасны, — пробормотал юноша.

— Ого, — вмешался Хэнкок, и его черные глаза коварно блеснули. — Значит, вы, Лео, отождествляете женщину и красоту?

Губы молодого поэта шевельнулись, но он только кивнул.

— Отлично, давайте посмотрим, что говорит живопись за последнюю тысячу лет, рассматривая ее как отражение экономических условий и политических институтов, и тогда мы увидим, как мужчина воплощал в образе женщины свои идеалы и как женщина разрешала ему...

— Перестаньте изводить Лео, — вмешалась Паола, — будьте все правдивы, говорите только о том, что вы знаете или во что верите.

— О, женщины — это священная тема! — торжественно возгласил Дар-Хиал.

— Вот, например, мадонна, — вмешался Грэхем, чтобы поддержать Паолу.

— Или синий чулок, — добавил Терренс.

Дар-Хиал одобрительно кивнул ему.

— Не все сразу, — предложил Хэнкок. — Прежде всего рассмотрим, что такое поклонение мадонне в отличие от современного поклонения всякой женщине, под которым готов подписаться и Лео. Мужчина — ленивый и грубый дикарь. Он не любит, чтобы ему надоедали. Он любит покой и отдых. И с тех пор как существует человеческий род, он видит, что связан с беспокойным, нервным, раздражительным и истерическим спутником; имя этому спутнику — женщина. У нее всякие там настроения, слезы, обиды, тщеславные желания и полная нравственная безответственность. Но он не мог ее уничтожить, она была ему необходима, хоть и отравляла ему жизнь. Что же ему оставалось?

— Ему оставалось одно: хитро и ловко ее обмануть, — вмешался Терренс.

— И он создал ее небесный образ, — продолжал Хэнкок. — Он идеализировал ее положительные стороны и этим отодвинул от себя отрицательные, чтобы они не могли действовать ему на нервы, мешать мирно и лениво курить трубку и созерцать звезды. А когда обыкновенная женщина пыталась надоедать ему, он изгонял ее из своих мыслей и

обращался к образу небесной и совершенной женщины, носительницы жизни и хранительницы бессмертия. Но тут пришла Реформация, и поклонение мадонне прекратилось. Однако мужчина по-прежнему был связан с нарушительницей его покоя. Что же он сделал тогда?

— Ах, мошенник! — фыркнул Терренс.

— Он сказал: «Я превращу тебя в сон, в иллюзию» — и превратил. Мадонна была для него небесной женщиной, высшей концепцией женщины вообще. И вот он перенес все ее идеальные черты на земную женщину и так себе заморочил голову, что поверил в их реальность, и притом до такой степени... как... ну, как Лео.

— Для холостяка вы удивительно осведомлены обо всех вредных свойствах женщины, — заметил Дик. — Или это все одни теории?

Терренс рассмеялся.

— Дик, милый, да ведь Аарон только что прочел Лауру Мархольм. Он может процитировать главу и страницу, где об этом говорится.

— И все-таки, сколько бы мы здесь ни спорили о женщине, мы не коснулись, в сущности, и края ее одежды, — вмешался Грэхем и получил от Паолы и Лео благодарный взгляд.

— Ведь есть еще любовь, — порывисто заявил Лео, — о любви никто не сказал ни слова.

— И о брачных законах, о разводе, полигамии, моногамии и о свободной любви, — бойко продолжал Хэнкок.

— А скажите, Лео, почему в любви всегда охотится и преследует женщина? — спросил Дар-Хиал.

— Да ничего подобного, — уверенно отозвался юноша. — Это еще, одна из глупостей вашего Бернарда Шоу.

— Браво, Лео! — одобрила его Паола.

— Значит, Уайльд ошибался, говоря, что нападение женщины состоит в неожиданных и непонятных уступках? — спросил Дар-Хиал.

— Послушать вас, так женщина — это какое-то чудовище, хищница! — запротестовал Лео, повертываясь к Дику и бросая на Паолу быстрый взгляд, в котором светилась вся глубина его любви. — Она вот разве хищница. Дик?

— Нет, — задумчиво ответил Дик, покачивая головой, и, щадя то, что увидел в глазах юноши, мягко продолжал: — Я не скажу, что женщина — хищница или что она добыча для хищника. Не скажу также, что она неиссякающий источник радости для мужчины. Она создание, дающее мужчине много радости...

— Но и заставляющее его делать много глупостей, — добавил Хэнкок.

— Я хочу задать Лео один вопрос, — заявил ДарХиал. — Скажите, Лео, почему женщина любит того мужчину, который ее бьет?

— И не любит того, кто ее не бьет, вы так полагаете? — язвительно спросил Лео.

— Вот именно.

— Что ж. Дар, отчасти вы правы, но в гораздо большей мере не правы. Я у вас, господа, немало наслушался насчет точности определений. Так вот, вы очень ловко обошли ее в этих ваших двух положениях. Давайте я сделаю это за вас. Итак, мужчина, способный бить любимую женщину, — это мужчина низшего типа. И женщина, любящая такого мужчину, — тоже существо низшего типа. Никогда мужчина высшего типа не будет бить женщину, которую он любит. И ни одна женщина высшего типа, — при этом глаза Лео невольно обратились в сторону Паолы, — не могла бы любить человека, который ее бьет.

— Нет, Лео, уверяю вас, я никогда, никогда не бил Паолу, — сказал Дик.

— Видите, Дар, — продолжал Лео, густо покраснев, — вот вы и ошиблись: Паола любит Дика, а он ее не бьет.

Дик повернул явно смеющееся и довольное лицо к Паоле, как бы ожидая найти в ней безмолвное подтверждение словам юноши; на самом деле он хотел увидеть, какое они произвели на нее впечатление при том ее душевном состоянии, о котором он догадывался. В ее глазах действительно мелькнуло что-то неуловимое; что — он не понял. Лицо Грэхема оставалось неизменным, на нем было только выражение интереса, с которым он все время прислушивался к спору.

— Сегодня женщина, безусловно, нашла своего рыцаря, своего святого Георгия, — обратился Грэхем к Лео. — Вы меня пристыдили, Лео. Я здесь сижу преспокойно, а вы сражаетесь с тремя драконами.

— И какими! — вмешалась Паола. — Если они довели О'Хэя до запоя, то что они сделают с вами, Лео?

— Истинного рыцаря любви не устрашат никакие драконы в мире, — сказал Дик. — А лучше всего то, что в данном случае драконы более правы, чем вы думаете, и все-таки вы, Лео, еще более правы, чем они.

— Здесь есть и добрый дракон, милый Лео, — начал Терренс. — Дракон этот готов отступить от своих недостойных товарищей, перейти на вашу сторону и стать святым Теренцием. И вот святой Теренций хотел бы задать вам один преинтересный вопрос.

— Дайте сперва прорычать еще одному дракону, — перебил его Хэнкок. — Лео, ради всего, что есть в любви нежного и прекрасного,

прошу вас, скажите: почему мужчина так часто убивает из ревности женщину, которую любит?

— Потому что ему больно, потому что он с ума сходит, — последовал ответ, — потому что он имел несчастье полюбить женщину столь низменного типа, что она могла дать повод к ревности.

— Однако, Лео, — отвечал Дик, — любви свойственно заблуждаться. Дайте более исчерпывающий ответ.

— Дик прав, — поддержал его Терренс. — В любви ошибаются и люди самого высшего типа, и тогда появляется на сцене «чудовище с зелеными глазами». Представьте себе, что самая совершенная женщина, какую только может нарисовать вам ваше воображение, перестает любить того, кто ее не бьет, и начинает любить другого, который ее тоже не бьет. Что тогда? И не забывайте, что все трое принадлежат к высшему типу. Ну-ка, берите меч и разите дракона.

— Первый ее не убьет и ничем не обидит, — решительно заявил Лео. — Иначе он не был бы тем человеком, каким вы его изображаете. Он принадлежал бы не к высшему, а к низменному типу.

— Вы хотите сказать, что он должен устраниваться? — спросил Дик, закуривая сигару и ни на кого не глядя.

Лео с серьезным видом кивнул.

— Он не только устранился, но облегчит ей ее положение и будет с ней очень нежен и бережен.

— Давайте говорить конкретнее, — предложил Хэнкок. — Допустим, что вы влюбились в миссис Форрест, и она влюбилась в вас, и вы оба удираете в большом лимузине...

— О, я никогда бы этого не сделал! — воскликнул юноша, щеки его пылали.

— Ну, знаете, Лео, это не очень лестно для меня, — поддразнила его Паола.

— Да ведь это только предположение, Лео, — успокоил его Хэнкок.

На юношу было жалко смотреть, голос его дрожал; однако он смело повернулся к Дику и заявил:

— На это должен ответить Дик.

— Я и отвечу, — сказал Дик. — Паолу я бы не убил. И вас тоже, Лео. Это было бы нечестной игрой. Как бы мне ни было больно, я бы сказал: «Благословляю вас, дети мои!» Но все же... — Он остановился, смех, заигравший в уголках его губ, предвещал какую-то шутку. — Я бы все же подумал про себя, что Лео совершает серьезную ошибку: дело в том, что он Паолы совсем не знает.

— Она бы помешала ему созерцать звезды, — улыбнулся Терренс.

— Нет, нет, Лео! Никогда, обещаю вам! — воскликнула Паола.

— Ну, вы сами себя обманываете, миссис Форрест, — заявил Терренс. — Во-первых, вы не могли бы от этого удержаться; кроме того, это была бы ваша прямая обязанность. А в заключение разрешите мне сказать вот что — я имею на это некоторое право, — когда я был молод, безумен и влюблен и мое сердце тянулось к женщине, а глаза к звездам, для меня было самым большим счастьем, если возлюбленная моего сердца своею любовью отрывала меня от звезд.

— Терренс, не говорите таких восхитительных вещей, иначе я удеру в лимузине и с Лео и с вами! — воскликнула Паола.

— Назначьте день, — галантно ответил Терренс. — Только оставьте среди ваших тряпок место для нескольких книг о звездах, чтобы мы могли вместе с Лео изучать их в свободные минуты.

Завязавшийся вокруг Лео спор постепенно затих, и Дар-Хиал с Аароном атаковали Дика.

— Что вы имели в виду, сказав: «Это было бы нечестной игрой»? — спросил Дар-Хиал.

— Вот именно то, что сказал и Лео, — ответил Дик; он почувствовал, что тревога и беспокойство Паолы исчезли и она с жадным любопытством прислушивается к их разговору. — При моих взглядах и моем характере, — продолжал он, — я не мог бы целовать женщину, которая бы только терпела мои поцелуи, — это было бы для меня самой большой душевной мукой.

— А допустите, что она притворялась бы — ради прошлого или из жалости к вам, из боязни огорчить вас? — настаивал Хэнкок.

— Я счел бы такое притворство непростительным грехом с ее стороны, — возразил Дик. — Тут нечестную игру вела бы она. Нечестно и несправедливо удерживать возле себя любимую женщину хоть на минуту дольше, чем ей хочется. К тому же это не доставило бы мне ни малейшей радости. Лео прав. Какому-нибудь пьяному ремесленнику, может быть, и удастся пробудить и удержать с помощью кулаков привязанность своей глупой подруги, но мужчины с более утонченной природой и хотя бы намеком на интеллект и духовность не могут прикасаться к любви грубыми руками. Я, как и Лео, всячески облегчил бы женщине ее положение и обращался бы с ней очень бережно.

— Куда же денется тогда инстинкт единобрачия, которым так гордится западная цивилизация? — спросил Дар-Хиал.

А Хэнкок добавил:

— Вы, значит, защищаете свободную любовь?

— Я могу, к сожалению, ответить только избитой формулой: несвободной любви быть не может. Прошу вас при этом иметь в виду, что мы все время разумеем людей высшего типа. И пусть это послужит вам ответом, Дар. Огромное большинство, должно быть в интересах законности и труда, связано с институтом единобрачия или какой-нибудь иной суровой и негибкой формой брака. Оно не дозрело ни до свободы в браке, ни до свободной любви. Для него свобода в любви стала бы просто распущенностью. Только те нации не погибли и достигли высокого уровня развития, где религия и государство обуздывали и сдерживали инстинкты народа.

— Значит, для себя самого вы брачных законов не признаете? — спросил Дар-Хиал. — Вы их допускаете только для других?

— Я признаю их для всех. Дети, семья, карьера, общество, государство — все это делает брак — законный брак — необходимым. Но потому же я признаю и развод. Мужчины — решительно все — и женщины тоже способны любить в своей жизни больше одного раза; в каждом старая любовь может умереть и новая родиться. Государство не властно над любовью так же, как не властны над ней ни мужчина, ни женщина. Если человек влюбился, он знает только, что влюбился, и больше ничего: вот она — трепетная, вздыхающая, поющая, взволнованная любовь! Но с распущенностью государство бороться может.

— Ну, вы защищаете весьма сложную свободную любовь, — покачал головой Хэнкок.

— Верно. Но ведь и живущий в обществе человек — существо в высшей степени сложное.

— Однако есть же мужчины, есть любовники, которые умерли бы, потеряв свою возлюбленную, — заявил Лео с неожиданной смелостью. — Они умерли бы, если бы ее не стало, и... тем более... если бы она осталась жить, но полюбила другого.

— Что ж, пусть такие и умирают, как умирали всегда, — хмуро ответил Дик. — Винить в их смерти никого не приходится. Уж так мы созданы, что наши сердца иной раз сбиваются с пути.

— Мое сердце никогда бы не сбилось, — заявил Лео с гордостью, не подозревая, что его тайна известна решительно каждому из сидевших за столом. — Я знаю твердо, что дважды полюбить бы не мог.

— Верю, мой мальчик, — мягко отвечал Терренс. — Вашим голосом говорят все истинно любящие. Радость любви именно в ее абсолютности... Как это у Щелли... или у Китса: «Вся — чудо и беспредельное счастье».

Каким жалким, флегматичным любовником оказался бы тот, кто мог бы допустить, что на свете есть женщина, хоть на одну сотую доли такая же сладостная, восхитительная, блестящая и чудесная, как его дама сердца, и что он может когда-нибудь полюбить другую!

Выходя из столовой и продолжая разговор с ДарХиалом, Дик старался угадать: поцелует его Паола на сон грядущий или, кончив играть на рояле, тихонько ускользнет к себе? А Паола, беседуя с Лео по поводу его последнего сонета, который он ей показал, спрашивала себя: поцеловать ли ей Дика? И вдруг, неведомо почему, ей страшно захотелось это сделать.



## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В тот вечер было мало разговоров. Паола пела, сидя за роялем, а Терренс вдруг прервал на полуслове свои рассуждения о любви и стал прислушиваться к ее голосу, в котором звучало что-то новое; затем тихонько пробрался на другой конец комнаты и растянулся на медвежьей шкуре, рядом с Лео. Дар-Хиал и Хэнкок также перестали спорить, и каждый уселся в глубокое кресло, Грэхем, видимо, менее заинтересованный, погрузился в последний номер какого-то журнала; но Дик заметил, что он так и не перевернул ни одной страницы. Уловил Дик и новую глубину в голосе жены и стал искать ей объяснение.

Когда она кончила, все три мудреца устремились к ней и заявили, что наконец-то она отдалась пению всем своим существом и пела как никогда; они были уверены, что рано или поздно такая минута настанет. Лео лежал молча и неподвижно, подперев голову ладонями. Лицо его преобразилось.

— Это все наделали ваши разговоры, — отозвалась, смеясь, Паола, — и те замечательные мысли о любви, которые мне внушили Лео, Терренс и... Дик.

Терренс потряс своей сильно поседевшей львиной гривой.

— Это не мысли, а скорее чувства, — поправил он ее. — Сегодня вашим голосом пела сама любовь. И впервые, сударыня, я слышал всю его силу. Никогда впредь не жалуйтесь, что у вас маленький голос. Нет, он густой и округлый, как канат, большой золотой канат, которым крепят корабли аргонавтов в гаванях блаженных островов.

— За это я вам сейчас спою «Хвалу», — ответила Паола, — отпразднуем смерть дракона, убитого святым Львом, святым Теренцием... и, конечно, святым Ричардом.

Дик, не пропустивший ни одного слова из этого разговора, отошел, не желая в нем участвовать, к стенному шкафу и налил себе шотландского виски с содовой.

Пока Паола пела «Хвалу», он сидел на одном из диванов, потягивал виски и вспоминал. Два раза она пела так, как сегодня: один раз в Париже, во время его краткого жениховства, и затем на яхте — тут же после свадьбы, во время медового месяца.

Немного погодя он предложил выпить и Грэхему, налил виски ему и себе; а когда Паола кончила, потребовал, чтобы они вдвоем спели «Тропой цыган».

Она покачала головой и запела «Траву забвенья».

— Разве, это женщина? — воскликнул Лео, когда она смолкла. — Это ужасная женщина! А он настоящий любовник. Она разбила ему сердце, а он продолжал ее любить. И он не в силах полюбить вновь, оттого что не может забыть свою любовь к ней.

— А теперь. Багряное Облако, «Песня о желуде», — сказала Паола, с улыбкой обращаясь к мужу. — Поставь свой стакан, будь милым и спой свою песню о желуде.

Дик лениво поднялся с дивана, потряс головой, точно взмахивая гривой, и затопал ногами, подражая Горцу.

— Пусть Лео знает, что не он один здесь рыцарь любви и поэт. Послушайте вы, Терренс, и прочие песню Горца, полную буйного ликования. Горец не вздыхает о любимой — отнюдь нет. Он воплощение любви. Слушайте его.

И Дик, топая ногами и словно взмахивая гривой, на всю комнату заржал радостно, буйно.

— «Я — Эрос. Я попираю холмы. Моим зовом полны широкие долины. Кобылицы на мирных пастбищах слышат мой зов и вздрагивают — они знают меня. Земля полна сил и деревья — соков. Это весна. Весна — моя. Я царь в моем весеннем царстве. Кобылицы помнят мой голос, ведь он жил в крови их матерей. Внемлите! Я — Эрос! Я попираю холмы, и, словно герольды, долины разносят мой голос, возвещая о моем приближении».

Мудрецы в первый раз слышали эту песню Дика и громко зааплодировали. Хэнкок решил, что это прекрасный повод для нового спора, и уже хотел было развить, опираясь на Бергсона, новую биологическую теорию любви, но его остановил Терренс, заметив, как по лицу Лео пробежало выражение боли.

— Продолжайте, пожалуйста, сударыня, — попросил Терренс, — и пойте о любви, только о любви; вы представить себе не можете, как звуки женского голоса помогают нам размышлять о звездах.

Немного спустя в комнату вошел О-Пой и, подождав, пока Паола кончит петь, неслышно приблизился к Грэхему и подал ему телеграмму. Дик недовольно покосился на слугу.

— Кажется, очень важная, — пояснил китаец.

— Кто принял ее? — спросил Дик.

— Я принял, — ответил слуга. — Дежурный позвонил из Эльдорадо по телефону. Сказал — очень важная. Я принял.

— Да, важная, — повторил за ним Грэхем, складывая телеграмму. —

Скажите, Дик, сегодня есть еще поезд на Сан-Франциско?

— О-Пой, вернись на минутку, — позвал Дик слугу, взглянув на часы. — Какой ближайший поезд на Сан-Франциско останавливается в Эльдорадо?

— В одиннадцать десять, — тут же последовал ответ. — Времени достаточно. Но и не так много. Позвать шофера?

Дик кивнул.

— Вам действительно нужно мчаться непременно сегодня? — спросил он Грэхема.

— Действительно. Очень нужно. Успею я уложиться?

— Как раз успеете сунуть в чемодан самое необходимое. — Он обернулся к О-Пою: — О-Дай еще не лег?

— Нет, сэр.

— Пошли его, он поможет мистеру Грэхему. И уведомьте меня, как только будет готова машина. Пусть Сондерс возьмет гоночную.

— Какой чудесный малый... статный, сильный, — вполголоса заметил Терренс, когда Грэхем вышел.

Все оставшиеся собрались вокруг Дика. Только

Паола продолжала сидеть у рояля и слушать.

— Один из тех немногих, с кем я бы отправился к черту на рога, рискнул бы на самое безнадежное дело, — сказал Дик. — Он был на судне «Недермэре», когда оно село на мель у Панго во время урагана девяносто седьмого года. Панго — это просто необитаемый песчаный остров; он поднят футов на двенадцать над уровнем моря, и там увидишь только заросли кокосовых пальм. Среди пассажиров находилось сорок женщин, главным образом жены английских офицеров. А у Грэхема болела рука, раздулась толщиной с ногу: змея укусила.

Море безумствовало, лодки не могли быть спущены.

Две уже разбились в щепки, их команды погибли.

Четыре матроса вызвались донести конец линя до берега, и каждого из них мертвым втащили обратно на судно. Когда отвязали последнего, Грэхем, несмотря на опухшую руку, разделся и взялся за канат. И ведь добрался до берега, хотя волна его так швырнула, что он в довершение всего сломал себе больную руку и три ребра, но все же успел прикрепить линь, прежде чем потерял сознание. Еще шестеро, держась за линь, потащили трос. Четверо достигли берега, и из всех сорока женщин умерла только одна, и то от испуга. У нее сердце не выдержало.

Я как-то стал расспрашивать его об этом случае. Но он молчал с упрямством чистопробного англичанина. Все, чего я от него добился, —

это, что он быстро поправляется и нет никаких осложнений. Он полагал, что необходимость усиленно двигаться и перелом кости послужили хорошим противоядием.

В эту минуту в комнату с двух сторон вошли О-Пой и Грэхем. И Дик увидел, что Грэхем прежде всего бросил Паоле вопрошающий взгляд.

— Все готово, сэр, — доложил О-Пой.

Дик намерен был проводить гостя до машины, Паола же, видимо, решила остаться в доме.

Грэхем подошел к ней и пробормотал несколько банальных слов прощания и сожаления.

А она, еще согретая всем, что Дик только что про него рассказывал, залюбовалась им: легкой, гордой постановкой головы, небрежно откинутыми золотистыми волосами, всей его фигурой — стройной, гибкой, юношеской, несмотря на рост и ширину плеч. Когда он к ней подошел, ее взгляд уже не отрывался от его удлинённых серых глаз с несколько тяжелыми веками, придававшими лицу мальчишески-упрямое выражение. И она ждала, чтобы это выражение исчезло, уступив место улыбке, которую она так хорошо знала.

Он простился с нею обыденными словами. Она так же высказала общепринятые сожаления. Но в его глазах, когда он держал ее руку, было то особенное, чего она бессознательно ждала и на что ответила взглядом.

Она почувствовала это и в быстром пожатии его руки. И невольно ответила таким же пожатием. Да, он прав, между ними слова не нужны.

В то мгновение, когда их руки расстались, она украдкой посмотрела на Дика, потому что за двенадцать лет их супружеской жизни убедилась в том, что у него бывают вспышки молниеносной проницательности и какой-то почти пугающей сверхъестественной способности отгадывать факты на основании едва уловимых признаков и делать выводы, нередко поражающие ее своей меткостью и прозорливостью. Но Дик стоял к ней боком и смеялся какому-то замечанию Хэнкока; он обратил к жене свой смеющийся взор, только когда собрался проводить Грэхема.

Нет, подумала она, наверно. Дик не заметил того, что они сейчас сказали друг другу без слов. Ведь это продолжалось одну секунду, это была только искра, вспыхнувшая в их глазах, мгновенный трепет их пальцев... Как мог Дик его почувствовать или увидеть? Нет, он не мог видеть их глаз, ни рук, ведь Грэхем стоял к Дикун спиной и заслонял Паолу.

И все-таки она пожалела, что бросила на Дика этот взгляд. Когда они уходили — оба рослые, белокурые, — в ней возникло смутное чувство

вины. «Но в чем же я виновата? — спрашивала она себя. — Отчего мне надо что-то скрывать?» — И все же Паола была слишком честна, чтобы бояться правды, и тут же призналась себе без всяких отговорок: да, у нее есть что скрывать. Она густо покраснела при мысли, что невольно дошла до обмана.

— Я пробуду там дня два-три... — говорил между тем Грэхем, стоя у дверцы машины и прощаясь с Диком.

Дик видел устремленный на него прямой и честный взгляд Ивэна и ощутил сердечность его пожатия. Грэхем хотел еще что-то, прибавить, но "удержался (Дик это почувствовал) и сказал тихо:

— Когда я вернусь, мне, вероятно, надо будет уже по-настоящему собираться в путь-дорогу.

— А как же книга? — отозвался Дик, внутренне проклиная себя за ту вспышку радости, которую в нем вызвали слова Грэхема.

— Вот именно из-за нее, — ответил Грэхем. — Должен же я ее кончить. Я, видно, не способен работать так, как вы. У вас тут слишком хорошо. Сажу над ней, сажу, а в ушах звенят эти злодеи жаворонки, я вижу поля, лесистые ущелья. Селима... Просижу так без толку час — и звоню, чтобы седлали. А если не это, так есть тысяча других соблазнов. — Он поставил ногу на подножку пыхтящей машины и сказал: — Ну, пока, до свидания, дружище.

— Возвращайтесь и возьмите себя в руки, — отозвался Дик. — Раз иначе нельзя, мы составим твердое расписание, и я буду с утра запирать вас, пока вы не отработаете свою порцию. И если за весь день ничего не сделаете, просидите весь день взаперти. Я вас заставлю работать. Сигареты есть? А спички?

— Все в порядке.

— Ну, поехали, Сондерс, — приказал Дик шоферу.

И машина из-под ярко освещенных ворот нырнула в темноту.

Когда Дик вернулся, Паола играла для мудрецов.

Дик лег на кушетку и снова начал гадать: поцелует она его или нет, когда будет прощаться на ночь? Не то, чтобы у них вошло в обыкновение целоваться на ночь, вовсе нет. Очень и очень часто он виделся с ней только днем в присутствии посторонних. Очень и очень часто она раньше других уходила к себе, никого не беспокоя и не прощаясь с мужем, ибо это могло бы показаться гостям намеком, что пора расходиться и им.

Нет, решил Дик, поцелует она его или нет нынче вечером, это не имеет решительно никакого значения. И все-таки он ждал.

Она продолжала то петь, то играть, пока он наконец не заснул. Когда

Дик проснулся, он был в комнате один. Паола и мудрецы тихонько ушли. Дик взглянул на часы: они показывали час. Она просидела за роялем очень долго. Он знал, он чувствовал, что она ушла только сейчас. Именно то, что музыка прекратилась и в комнате стало тихо, и разбудило его.

И все-таки он продолжал удивляться. Дику случалось и раньше задремать под ее музыку, и всегда, кончив играть, она будила его поцелуем и отправляла в постель. Сегодня она этого не сделала. Может быть, она еще вернется? Он опять лег и, подремывая, стал ждать. Когда он снова взглянул на часы, было два. Она не вернулась.

По пути к себе в спальню он всюду гасил электричество, а в голове его тысячи пустяков и мелочей связывались между собой и будили сомнения, наталкивая на невольные выводы.

Придя к себе на веранду, он остановился перед стеной с барометром и термометрами, и портрет Паолы в круглой рамке приковал к себе его взоры. Он даже наклонился к нему и долго изучал ее лицо.

— Ну что ж... — Дик накрылся одеялом, заложил за спину подушки и протянул руку к пачке корректур. — Что бы ни было, придется все принять, — пробормотал он и покосился на портрет.

— А все-таки, маленькая женщина, лучше не надо, — вздохнул он на прощание.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Как нарочно, за исключением нескольких случайных гостей, приехавших к завтраку или к обеду, в Большом доме никого из чужих не было. Но напрасно в первый и второй день Дик старался так распределить свою работу, чтобы быть свободным на случай, если Паола предложит купание или прогулку.

Он заметил, что она теперь всячески избегает поцелуя. Она посылает ему обычное «спокойной ночи» со своей спальни-веранды через широкий двор. В первый день утром он приготовился к ее одиннадцатичасовому визиту. Мистера Эгера и мистера Питтса, которые явились к нему с очень важными и еще не выясненными вопросами относительно предстоящей ярмарки, он проводил ровно в одиннадцать. Паола уже встала, он слышал ее пение. И вот Дик сидел за своим столом, ждал и ничего не делал, хотя перед ним стоял поднос с грудой писем, которые надо было подписать. Ему вспомнилось, что утренние посещения ввела она и упорно соблюдала этот обычай. Какими чарующими казались ему теперь ее возглас «С добрым утром, веселый Дик» и ее фигурка в кимоно, когда она усаживалась к нему на колени.

Ему вспомнилось, что он часто сокращал этот и без того короткий визит, давая ей понять даже в минуту ласки, что он очень занят; тогда на ее лицо набегала тень печали и она ускользала из комнаты.

Было уже четверть двенадцатого, а она не приходила.

Он снял трубку телефона и, соединившись с молочной фермой, услышал гул женских голосов, в котором различил и голос Паолы, говорившей:

— ...да бросьте вы вашего мистера Уэйда; берите ребят и приезжайте хоть на несколько дней...

Такое приглашение со стороны Паолы показалось ему очень странным. Она всегда так радовалась отсутствию гостей и возможности побыть хоть день или два с ним вдвоем. А теперь она уговаривает миссис Уэйд приехать сюда из Сакраменто. Можно подумать, что она не хочет оставаться с ним наедине и ради этого окружает себя гостями.

Он улыбнулся при мысли, что именно теперь, когда она уже не дарит ему утреннего поцелуя, этот поцелуй стал ему особенно желанен. Дику пришло в голову, что хорошо бы увезти ее в какое-нибудь интересное путешествие. Может быть, это помогло бы разрешить трудный вопрос: они

будут все время вместе, что очень сблизит их. Почему бы не отправиться на Аляску поохотиться? Ей давно хочется туда поехать. Или в Южные моря, — как в те дни, когда они плавали на своей яхте? Пароходы курсируют между Сан-Франциско и Таити. Через двенадцать дней они бы высадились в Папее. Интересно, все еще держит ли Лавиния свой пансион? И мгновенно он представил себе Паолу и самого себя завтракающими на веранде этого пансиона, под тенью манговых деревьев.

Дик стукнул кулаком по столу. Нет, черт возьми, не будет он, как трус, убегать с женой от другого мужчины! Да и благородно ли увозить ее от того, к кому, быть может, ее влечет? Правда, он еще не знает, действительно ли ее влечет к Грэхему и как далеко они зашли в своем увлечении. Может быть, это только весенний хмель, который исчезнет вместе с весной? Правда, за все двенадцать лет их брака он ни разу не замечал в ней никаких хмельных весенних настроений. Она никогда не давала поводов в ней сомневаться. Паола очень нравилась мужчинам, встречалась с очень многими, принимала их поклонение и даже ухаживание, но всегда оставалась спокойной и верной себе: женой Дика Форреста...

— С добрым утром, веселый Дик! Она выглянула из-за двери в холл, непринужденно и весело улыбаясь ему глазами и губами, и послала кончиками пальцев воздушный поцелуй.

И он отозвался так же непринужденно:

— С добрым утром, моя гордая луна! Вот она сейчас войдет, подумал он, и он сожмет ее в своих объятиях и подвергнет ее испытанию поцелуем.

Он простер к ней руки, но она не вошла. Вместо этого она зажала на груди кимоно, подобрала юбку, словно собираясь бежать, и тревожно посмотрела в глубину холла. Однако его ухо не уловило никаких звуков. Она же снова улыбнулась ему, послала еще один поцелуй и исчезла. Когда через десять минут вошел Бонбrait с телеграммами, Дик не слышал, что говорит ему секретарь, он все еще сидел неподвижно за своим столом, как сидел десять минут назад...

Но Паола, видимо, чувствовала себя счастливой. И Дик, слишком хорошо знавший и жену и ее способы выражать свои душевные состояния, не мог не понимать, почему ее пение раздается по всему дому, и под аркадами, и во дворе. До завтрака он не выходил из своего рабочего кабинета, а она не зашла за ним, как заходила иногда по пути в столовую.

Когда раздался звук гонга. Дик услышал через двор ее голос, что-то напевавший; голос удалялся по направлению к столовой.

За завтраком был случайный гость, некий Гаррисон Стоддард, полковник Национальной гвардии, удалившийся от дел коммерсант,



помешанный на вопросе о рабочих беспорядках и соотношении сил в промышленности и сельском хозяйстве. Однако Паола выбрала минутку и сообщила Дик, что собирается под вечер проехаться в Уикенберг — навестить Мэзонов.

— Я, конечно, не могу сказать, когда вернусь. Ты ведь знаешь Мэзонов. Не решаюсь звать тебя, хотя мне очень хотелось бы, чтобы и ты поехал.

Дик покачал головой.

— Итак, — продолжала она, — если тебе Сондерс не нужен...

Дик кивнул.

— Я возьму сегодня Каллахана, — сказал он, тут же составляя свой план на день, независимо от Паолы, раз она уезжала. — Никак не пойму, Поли, почему ты предпочитаешь Сондерса? Каллахан искуснее и, уж конечно, надежнее.

— Может быть, именно поэтому, — сказала она, улыбнувшись. — Чем тише, тем безопаснее.

— Все же на гонках я бы держал за Каллахана против Сондерса, — заявил Дик.

— А ты куда поедешь? — спросила она.

— Я хочу показать полковнику Стоддарду мою образцовую ферму с одним работником и без единой лошади и мой фокус с автоматической запашкой участка в десять акров. У нас много усовершенствований, я вот уже целую неделю собираюсь снова испробовать это изобретение, но все не было времени. А потом я хочу свозить Стоддарда в колонию. Как ты думаешь? За последние дни там прибавилось пятеро.

— А я думала, что комплект уже заполнен, — сказала Паола.

— Так оно и есть, — ответил Дик с сияющим лицом. — Это новорожденные. У самого безнадёжного семейства родилась сразу двойня.

— Многие маловеры качают головой по поводу вашего опыта, и я, признаюсь, пока воздерживаюсь от всякого суждения. Вы должны доказать мне все это по вашим счетным книгам, — отозвался полковник Стоддард, весьма довольный предложением хозяина.

Но Дик едва слушал его, поглощенный потоком нахлынувших мыслей. Паола ничего не сказала ему, приедет ли миссис Уэйд с детьми, или нет, не сообщила даже, что она ее пригласила. Но он успокаивал себя тем, что и ей и ему нередко случалось принимать гостей, о приезде которых хозяева узнавали, только увидев их.

Было, впрочем, ясно, что сегодня миссис Уэйд не приедет, иначе Паола не бежала бы за тридцать миль. Да, она хотела бежать, этого не скроешь,

бежать именно от него. Она боялась остаться с ним с глазу на глаз, боялась опасностей, к которым ведет интимная близость; и то обстоятельство, что это казалось ей опасностью, подтверждало самые мрачные предположения Дика. Кроме того, она подумала и о вечере. К обеду она вернуться не успеет и вскоре после обеда тоже, разве только если привезет с собой всю уикенбергскую компанию. Она вернется с таким расчетом, чтобы застать его уже в постели. «Ну, что поделаешь, пусть», — угрюмо решил он про себя, а в то же время говорил полковнику Стоддарду:

— На бумаге этот опыт обещает прекрасные результаты, причем сделана достаточная скидка и на человеческие слабости. Тут-то, в человеческих слабостях, и кроются возможные опасности, они-то и вызывают сомнения. Единственно правильный путь — испробовать на практике, рискнуть, что я и делаю.

— А Дик не в первый раз рискует, — заметила Паола.

— Но ведь здесь на карту поставлены пять тысяч акров, весь подъемный капитал для двухсот пятидесяти фермеров и жалованье каждому по тысяче долларов в год, — возразил полковник Стоддард. — Несколько таких неудач — и это вытянет все соки из рудников Харвест.

— Осушка им как раз не помешает, — шутливо отозвался Дик.

Полковник Стоддард был ошеломлен.

— Ну да, — продолжал Дик. — Нужен дренаж. Рудники затоплены из-за политической ситуации в Мексике.

Утром, на второй день после отъезда Грэхема, то есть в день его предполагаемого возвращения. Дик в одиннадцать часов уехал верхом на прогулку, чтобы избежать утреннего приветствия Паолы: «Доброе утро, веселый Дик», — брошенного с порога.

Возвращаясь к себе, он встретил в холле А-Ха с целым снопом только что срезанной сирени.

— Куда это ты несешь? — спросил Дик.

— В комнату мистера Грэхема, он нынче возвращается.

«Интересно, кто это придумал? — размышлял Дик. — А-Ха, О-Пой или Паола?» Он вспомнил, как Грэхем не раз говорил, что ему особенно нравится их сирень.

Дик не пошел в библиотеку, как намеревался, а свернул во двор и направился к кустам сирени, росшим вокруг башни. Из комнаты Грэхема он услышал в открытое окно голос Паолы, что-то радостно напевавшей. Дик до боли прикусил губу и двинулся дальше.

Сколько в этой комнате перебивало замечательных мужчин и женщин! Но ни для одного из гостей Паола не украшала ее цветами, думал Дик.

Этим обыкновенно занимался О-Пой, большой мастер по части букетов, он расставлял их сам или поручал это им же обученным китайским слугам.

Среди телеграмм, принесенных Бонбрайтом, была и телеграмма от Грэхема. Дик прочел ее дважды, хотя Грэхем в ней просто извещал о том, что его возвращение откладывается.

Против обыкновения, Дик не стал ждать второго звонка к завтраку, а при первом же отправился в столовую, он испытывал сильную потребность в одном из тех коктейлей, которые столь мастерски приготавливал О-Пой; ему нужно было чем-нибудь подбодрить себя, прежде чем встретиться с Паолой после истории с сиренью. Но она его опередила: он вошел в ту минуту, когда она, пившая так редко и никогда не пившая в одиночестве, ставила обратно на поднос пустой бокал.

«Значит, ей тоже нелегко приходится», — подумал Дик и сделал О-Пою знак, подняв указательный палец.

— Вот я и поймал тебя на месте преступления, — весело упрекнул он Паолу. — Пьянствуешь тайком? Плохой признак. Не думал я в тот день, когда с тобою повенчался, что женюсь на безнадежной алкоголичке.

Она не успела ответить, так как в комнату поспешно вошел молодой человек, которого хозяин назвал Уинтерсом. Дик предложил Уинтерсу коктейль. Нет, это ему только показалось, что Паола при виде гостя испытала чувство облегчения. Никогда еще не приветствовала она его с таким радушием, хотя он бывал у них довольно часто. Во всяком случае, обедать они будут вдвоем.

Уинтерс окончил сельскохозяйственный колледж и состоял сотрудником «Тихоокеанской сельской прессы», где писал статьи по своей специальности. Он приехал, чтобы собрать здесь материал для очерков о калифорнийских рыбных прудах, и Дик, слегка покровительствовавший ему, мысленно уже составил для него программу дня.

— Получил телеграмму от Ивэна, — сказал он Паоле. — Вернется только послезавтра с четырехчасовым.

— И это после всех моих трудов! — воскликнула она. — Теперь вся сирень завянет!

Дик почувствовал, как в нем поднялась теплая волна радости. Он узнал в этом свою прямодушную, честную Паолу. Чего бы игра ни стоила и чем бы она ни кончилась, он был уверен, что Паола будет вести ее в открытую, без низких уловок. Она всегда была такая: слишком прозрачная и чистая, чтобы прибегать к обману.

Все же он хорошо играл свою роль и бросил ей довольно равнодушный вопрошающий взгляд.

— Да я про комнату Грэхема, — пояснила она. — Я велела принести туда целую охапку сирени и сама расставила. Он ведь так ее любит.

До конца завтрака она ни словом не обмолвилась о миссис Уэйд, и Дик уже решил, что та сегодня, видимо, не приедет, но Паола вдруг спросила, будто невзначай:

— Ты ждешь кого-нибудь? Он отрицательно покачал головой и спросил в ответ:

— А у тебя есть какие-нибудь планы на сегодня?

— Пока никаких... А на тебя мне нечего и рассчитывать: ты же будешь выкладывать мистеру Уинтерсу все свои познания о рыбах.

— Нет, — возразил Дик, — я его подброшу мистеру Хэнли, он сосчитал каждую форель и каждую икринку в запруде и зовет по имени каждого окуня. Послушай... — Он остановился как бы в раздумье; вдруг лицо его просияло, словно от внезапной мысли: — День сегодня такой, что располагает к безделью. Давай возьмем ружья и поедем стрелять белок. Я заметил на днях, что их очень много развелось на холмах над Литтл Мэдоу.

Он успел заметить быстро промелькнувшую тень испуга в ее глазах; но тень так же быстро исчезла, Паола захлопала в ладоши и совершенно естественным тоном сказала:

— Только для меня ружья не бери...

— Если тебе не хочется ехать... — осторожно начал он.

— О нет, я хочу ехать, но не стрелять. Я возьму новую книжку Ле Галльена — мы только что получили ее — и буду читать тебе вслух. Помнишь, когда мы в последний раз ездили охотиться на белок, я читала тебе его «Золотокудрую деву».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Паола на Лани и Дик на Капризнице выехали из ворот Большого дома; лошади шли настолько близко друг к другу, насколько это допускало злобное лукавство Капризницы. Коварная кобыла давала возможность беседовать лишь урывками. Прижав маленькие уши и оскалив зубы, она ежеминутно делала попытки взбунтоваться, не слушалась и все норовила укусить ногу Паолы или атласный круп Лани; но так как это ей не удавалось, то глаза ее мгновенно наливались кровью, и она то встряхивала гривой и старалась встать на дыбы (чему препятствовал мартингал), то начинала вертеться, шла боком, плясала на месте.

— Последний год держу ее, — сказал Дик. — Она неукротима. Два года я возился с ней без всякого результата. Она знает меня, знает мои привычки, знает, что должна подчиняться, — и все-таки бунтует. Она упорно надеется, что настанет минута, когда я зазеваюсь; и из боязни пропустить эту минуту кобыла всегда на чеку.

— Как бы она и в самом деле не захватила тебя врасплох, — сказала Паола,

— Вот потому-то я и решил расстаться с ней. Не скажу, чтобы она утомляла меня, но по теории вероятности рано или поздно она меня все-таки сбросит. Пусть на это один шанс из миллиона, но бог знает, когда и при каких обстоятельствах мне может выпасть роковой номер...

— Ты удивительный человек. Багряное Облако, — улыбнулась Паола.

— Почему?

— Ты мыслишь статистическими данными и процентами, средними и приближенными числами. Когда мы с тобой встретились впервые, — интересно, под какую формулу ты подвел меня?

— Об этом я тогда, черт побери, не думал, — рассмеялся он в ответ. — Ты ни под какую статистическую рубрику не подходила. Тут всякие цифры спасовали бы. Я просто сказал себе, что встретил удивительнейшее двуногое создание женского пола и что хочу завладеть им так, как никогда ничего не хотел в жизни...

— И завладел, — dokonчила за него Паола. — Но с тех пор. Багряное Облако, с тех пор ты, наверно, немало построил на мне статистических выкладок?

— Кое-что — да... — признался он. — Но надеюсь никогда не дойти до последней...

Он остановился на полуслове, услышав характерное ржание Горца. Показался жеребец, на нем сидел ковбой, и Дик на миг залюбовался безупречной крупной и свободной рысью великолепного животного.

— Ну, надо удирать, — сказал он, ибо Горец, завидев их, перешел на галоп.

Они одновременно пришпорили кобыл и поскакали прочь, слыша за собой успокаивающие восклицания ковбоя, стук тяжелых копыт по дороге и веселое властное ржание. Капризница на него тотчас откликнулась, ее примеру последовала и Лань. Смятение лошадей показывало, что Горец начинает горячиться.

Они свернули на боковой проселок и, проскакав по нему метров пятьсот, остановились в ожидании, пока опасность минует.

— От него еще никто серьезно не пострадал, — сказала Паола, когда они возвращались на дорогу.

— Кроме того раза, когда он наступил Каули на ногу.

Помнишь, Каули лежал потом целый месяц в постели, — ответил Дик, выравнивая ход снова зашалившей Капризницы. Покосившись на Паолу, он увидел, что она смотрит на него странным взглядом.

В этом взгляде он прочел и вопрос, и любовь, и страх — да, страх или граничащую со страхом тревогу, а главное — вопрос, что-то ищущее, испытующее. «Должно быть, она неспроста сказала, что я мыслю статистическими данными», — подумал Дик.

Но он притворился, что ничего не заметил, достал блокнот и, взглянув с интересом на водосток, мимо которого они проезжали, что-то записал.

— Наверно, забыли, — сказал он. — Ремонт следовало сделать еще месяц назад.

— А какая судьба постигла всех этих невадских мустангов? — спросила Паола.

Речь шла о транспорте мустангов, которые были куплены Диком за гроши, когда на пастбищах Невады не уродились травы и это грозило лошадям голодной смертью. Он отослал табун на запад, где на высокогорных пастбищах были хорошие корма.

— Их пора объезжать, — ответил он. — Я думаю устроить на следующей неделе состязание ковбоев, как в старину. Что ты скажешь на это? Подадим жареную свиную тушу и все, что полагается, и созовем окрестных жителей.

— А потом сам не явишься, — возразила Паола.

— Я на день отложу дела. Идет?

Она кивнула, и они отъехали к обочине дороги, чтобы пропустить три

трактора с дисковыми культиваторами.

— Переправляем их в Роллинг Мэдоус, — пояснил Дик. — На соответствующей почве они гораздо выгоднее лошадей.

Паола и Дик выехали из долины, где стоял Большой дом, пересекли засеянные поля и рощицы и стали подниматься по дороге, по которой множество повозок возили булыжник для мостовой; издали доносились грохот и скрип дробильной машины.

— Ее нужно больше утомлять, — заметил Дик, вздергивая голову своей лошади — ее оскаленные зубы оказались в угрожающей близости от крупа Лани.

— Я прямо-таки постыдно обращалась с Дадди и Фадди, — сказала Паола. — Очень плохо кормила их, а они все такие же беспокойные,

Дик не придавал значения этим словам, но не далее как через сорок восемь часов ему пришлось с болью вспомнить их.

Скоро скрежет дробилки затих. Они продолжали подниматься, въехали в лесистую полосу, перебрались через невысокий перевал. Росшие здесь мансаниты казались пурпурными в лучах заката, а мадроньо — розовыми. Через насаждения молодых эвкалиптов всадники спустились на дорогу к Литтл Мэдоу, но не доехав, спешили и привязали лошадей. Дик вынул из чехла автоматическое ружье; они тихонько подошли к рощице секвой на краю лужайки и расположились в тени деревьев, устремив взгляд на крутой склон холма, который поднимался в каких-нибудь ста пятидесяти футах от них, по ту сторону лужайки.

— Смотри, вон они... три... четыре... — прошептала Паола; ее дальновзоркие глаза обнаружили в зелени несколько белок.

Это были умудренные жизнью старики, научившиеся особой осторожности, отлично умевшие распознавать отравленное зерно и избегать капканов, которые Дик ставил вредителям. Они пережили многих, менее осторожных родичей и могли заселить эти горные склоны новыми поколениями.

Дик зарядил ружье самыми мелкими патронами, осмотрел глушитель, лег, вытянувшись во весь рост, оперся на локти и прицелился. Шума от выстрела не последовало, только щелкнул механизм, когда вылетела пуля, затем выпал пустой патрон, в обойму скользнул новый, и автоматически взвелся курок. Большая бурая белка подпрыгнула, перевернулась в воздухе и исчезла в хлебах. Дик ждал; его взгляд скользнул вдоль дула, к нескольким норам, вокруг которых голая земля говорила о том, что зерно здесь съедено. Снова показалась раненая белка, она ползла по голой земле, стараясь уйти в нору. Ружье опять щелкнуло, белка повалилась набок и

осталась лежать неподвижно.

При первом же звуке все белки, кроме подстреленной, попрятались в свои норы. Оставалось только ждать, пока их любопытство пересилит страх. На эту передышку Дик и рассчитывал. "Лежа на земле и следя за тем, не появятся ли опять на склоне любопытные мордочки, он спрашивал себя, скажет ему Паола чтонибудь или не скажет. В ней чувствуется какая-то тревога, но захочет ли она с ним поделиться? Раньше она всегда ему все говорила. Рано или поздно она неизменно делилась с ним всем, что ее угнетало. Правда, размышлял он дальше, у нее никогда не бывало горестей такого рода. И то, что ее смущает теперь, она меньше всего могла бы обсуждать с ним. С другой стороны, в ней есть врожденная и неизменная прямота. Все годы их совместной жизни он восхищался этой чертой ее характера. Неужели Паола на этот раз изменит ей?

Так размышлял он, лежа в траве. Паола молчала. Она не шевелилась, он не слышал ни малейшего шороха. Когда он взглянул в ее сторону, то увидел, что она лежит на спине, закрыв глаза и раскинув руки, словно от усталости.

Наконец маленькая головка цвета сухой земли выглянула из норки. Прошли долгие минуты, и обладательница серой головки, убедившись, что ей не грозит никакая опасность, села на задние лапки и стала оглядываться, ища причины поразившего ее щелканья. Опять последовал выстрел.

— Попал? — спросила Паола, не открывая глаз.

— Да, и какая жирная, — ответил Дик. — Я пресек в корне жизнь целого поколения.

Прошел час. Солнце пекло, но в тени было прохладно. Время от времени легкий ветерок лениво пробегал по молодым хлебам и чуть покачивал над ними ветви деревьев. Дик подстрелил третью белку. Книга Паолы лежала рядом с ней, но она не предложила ему почитать.

— Тебе нездоровится? — решил он наконец спросить.

— Нет, ничего; просто болит голова, отчаянная невралгическая боль возле глаз, вот и все.

— Наверное, слишком много вышивала, — пошутил он.

— Нет. В этом не грешна... — последовал ответ.

Все это казалось совершенно естественным, но Дик, наблюдая за вылезшей из норы особенно крупной белкой и давая ей прокрасться по открытому месту в сторону хлебов, говорил себе: «Нет, видно, сегодня никакого разговора не выйдет. И мы не будем, как раньше, целовать и ласкать друг друга, лежа в траве».

В это время намеченная им жертва оказалась уже у края поля. Он



спустил курок. Зверек упал, но, полежав с минуту, вскочил, неловко переваливаясь, торопливо побежал к норе. Щелк, щелк, — продолжал трещать механизм, поднимая облачка пыли рядом с бегущей белкой и показывая, как близко попадал Дик. Он стрелял так быстро, что его палец едва успевал спускать курок, и казалось, из дула льется непрерывная струя свинца.

Он израсходовал почти все патроны, когда Паола сказала:

— Господи! Какая пальба... точно целая армия. Попал?

— Да, это настоящий патриарх среди белок, пожиратель корма, предназначенного для молодых телят. Но тратить девять бездымных патронов на одну, даже такую, белку — невыгодно. Надо взять себя в руки.

Солнце садилось. Ветерок стих. Дик подстрелил еще одну белку и уныло следил за склоном холма. Он сделал все, чтобы вызвать Паолу на откровенность, выбрал для этого и время и необходимую обстановку. Видимо, положение было именно таким, как он опасался. Может быть, даже хуже, ибо он чувствовал, что привычный мир вокруг него рушится. Он сбился с пути, растерян, потрясен. Будь это другая женщина... но Паола! Он был в ней так уверен! Двенадцать лет совместной жизни укрепили в нем эту уверенность...

— Пять часов, солнце пошло вниз, — сказал он, поднявшись с земли и собираясь помочь ей встать.

— Я так довольна, что мне удалось отдохнуть, — сказала она, когда они направились к лошадям. — И глазам гораздо лучше. Хорошо, что я не пыталась читать тебе вслух.

— Не будь свинкой и дальше, — с шутливой легкостью, словно между ними ничего не было, заметил Дик. — Не смей даже уголком глаза заглянуть в Ле Галльена. Мы его позднее прочтем вместе. Давай руку!.. Честное слово? Да, Поли?..

— Честное слово, — сказала она послушно.

— Или пусть ослы пляшут на могиле твоей бабушки...

— Или пусть ослы пляшут на могиле моей бабушки, — повторила она торжественно.

На третье угрю после отъезда Грэхема Дик позаботился о том, чтобы, когда Паола нанесет ему в одиннадцать часов свой обычный визит и бросит с порога свое «Доброе утро, веселый Дик», он уже сидел с управляющим молочной фермой. Затем приехала в нескольких машинах семья Мэзонов со всей своей шумливой молодежью, и Паола была занята весь день. Дик заметил, что она подумала и о вечере, удержав гостей на бридж и танцы.

Однако на четвертый день, когда должен был вернуться Грэхем, Дик

был в одиннадцать часов один. Склонившись над столом и подписывая письма, он услышал, как Паола на цыпочках вошла в комнату. Он не поднял головы, но, продолжая писать, взволнованно прислушивался к шелковистому шуршанию ее кимоно. Он почувствовал, что она склонилась над ним, и затаил дыхание. Но когда она тихонько поцеловала его волосы, сказав свое обычное «Доброе утро, веселый Дик», и он жадно хотел обнять ее, она уклонилась от его рук и, смеясь, выбежала из комнаты. Выражение счастья, которое он подметил на ее лице, поразило его не меньше, чем только что испытанное разочарование. Она не умела скрывать своих чувств, и теперь ее глаза сияли радостно и жадно, как у ребенка. И так как именно сегодня вечером должен был вернуться Грэхем, Дик не мог не объяснить именно этим ее радость.

Во время завтрака, за которым присутствовали трое студентов из сельскохозяйственного колледжа в Дэвисе, Дик не стал проверять, поставила ли она свежую сирень в башне, или нет. Он экспромтом придумал себе ряд неотложных дел, так как Паола заявила, что хочет сама поехать за Грэхемом на станцию.

— На чем? — спросил Дик.

— На Дадди и Фадди, — ответила она. — Они совсем застоялись, им, да и мне, необходимо промяться. Конечно, если и ты не прочь прокатиться, мы поедем, куда ты захочешь, а за Грэхемом пошлем машину.

Дик постарался не заметить того беспокойства, с каким она ждала, примет он ее предложение или нет.

— Бедняжкам Дадди и Фадди, пожалуй, не поздоровилось бы, если бы они пробежали столько, сколько мне надо сегодня проехать, — сказал он, смеясь, и тут же сообщил придуманный им план: — До обеда мне предстоит отмахать около ста двадцати миль. Я возьму гоночную машину и, наверное, буду весь в пыли и грязи, так как придется проезжать через болото. Да и трясти будет отчаянно. Нет, я не решаюсь звать тебя с собой. А ты поезжай на Дадди и Фадди.

Паола вздохнула. Но она была плохой актрисой: несмотря на ее желание выразить этим вздохом сожаление, Дик почувствовал, что ей стало легко на душе.

— А ты далеко едешь? — спросила она весело; и он опять не мог не заметить, что ее щеки пылают румянцем и глаза блестят от счастья.

— Я помчусь к низовьям реки, где мы ведем осушительные работы — Карлсон требует от меня указаний, — а затем в Сакраменто и через Тил-Слоу, чтобы повидаться с Уинг-Фо-Уонгом.

— Это еще что за Уинг-Фо-Уонг? — спросила она, улыбаясь. — И

почему ты ради него должен мчаться в такую даль?

— Весьма важная особа, он стоит два миллиона, которые нажил на картошке и спарже, огородничая в низинах дельты. Я отдаю ему в аренду триста акров в Тил-Слоу. — Затем, обратившись к студентамсельскохозяйственникам. Дик пояснил: — Эта местность лежит немного в сторону от Сакраменто, на западном берегу реки. Вот вам хороший пример того, что скоро не будет хватать земли. Когда я купил, ее, там было сплошное болото, и все старожилы надо мной потешались. И еще пришлось выкупить с десятков охотничьих заповедников. Земля обошлась мне в среднем по восемнадцать долларов за акр, и притом не так давно.

Вы знаете эти болота, они только и годятся для разведения уток да под заливные луга. Привести их в порядок стоило мне, если принять во внимание осушку и устройство плотин, больше, чем по триста долларов за акр. А как вы думаете, по какой цене я сдаю ее на десять лет в аренду старому Уинг-Фо-Уонгу? По две тысячи за акр. Я бы не выручил больше, если бы сам ее эксплуатировал. Эти китайцы по части огородничества — прямо волшебники, а как до работы жадны!.. Тут уж не восьмичасовой рабочий день, а восемнадцатичасовой. Дело в том, что у них самый последний кули имеет хотя бы микроскопическую долю в предприятии, — вот каким образом Уинг-Фо-Уонгу удастся обойти закон о восьмичасовом рабочем дне.

Два раза в течение дня Дика задерживали за превышение скорости, а в третий раз даже записали. Он был в машине один и, хотя ехал очень быстро, сохранял полное спокойствие. Возможности несчастья по собственной вине Дик не допускал, и с ним никогда не бывало несчастий. С той же уверенностью и точностью, с какой Дик брался за ручку двери или за карандаш, выполнял он и более сложные действия, — в данном случае, например, правил машиной с чрезвычайно сильным мотором, причем машина эта шла на большой скорости по оживленным сельским дорогам.

Но как он ни гнал машину и с какой сосредоточенностью ни вел переговоры с Карлсоном и Уинг-Фо-Уонгом, в его сознании, не угасая, жила мысль о том, что Паола, вопреки всем своим обычаям, поехала встречать Грэхема и будет с ним вдвоем всю дорогу от Эльдорадо до имения, все эти долгие мили.

— Ну и ну... — пробормотал Дик, ускоряя ход машины с сорока пяти до семидесяти миль в час, и, уже ни о чем не думая, обогнул с левой стороны ехавший в одном с ним направлении легкий одноконный экипаж, и ловко повернул снова на правую сторону дороги, под самым носом у маленькой машины, несшейся ему навстречу; затем убавил ход до

пятидесяти миль и вернулся к прерванным мыслям:

«Ну и ну! Воображаю, что бы подумала моя маленькая Паола, если бы я вздумал прокатиться вдвоем с какой-нибудь прелестной девицей!»

Он невольно рассмеялся, представив себе эту картину, ибо в первые годы их супружества не раз имел случай убедиться, что Паола молча ревнует его. Сцен она ему никогда не делала, не позволяла себе ни замечаний, ни намеков, ни вопросов, но едва он начинал уделять внимание другой женщине, недвусмысленно давала ему понять, что она обижена.

Усмехаясь, вспомнил он миссис Дехэмени, хорошенькую вдову-брюнетку, приятельницу Паолы, как-то гостившую в Большом доме. Однажды Паола заявила, что она верхом не поедет, но услышала за завтраком, как он и миссис Дехэмени сговариваются отправиться вдвоем в лесистые ущелья, лежащие за рощей философов. И что же — не успели они выехать из имения, как Паола догнала их и всю прогулку ни на минуту не оставляла наедине. Он тогда улыбался про себя, ибо эта ревность была ему, в сущности, приятна: ведь ни самой миссис Дехэмени, ни их прогулке он не придавал значения.

Зная эту черту Паолы, он с самого начала их совместной жизни старался не оказывать посторонним женщинам слишком большого внимания и был в этом смысле гораздо осмотрительнее Паолы. Напротив, ей он предоставлял полную свободу и даже поощрял ее поклонников, гордился, что она привлекает к себе незаурядных людей, и радовался, что она находит удовольствие в беседах с ними и их ухаживаниях. И правильно делал: ведь он был так спокоен, так уверен в ней; гораздо больше, чем она в нем, — Дик не мог этого не признать. Двенадцать лет брака настолько укрепили его уверенность, что он столь же мало сомневался в супружеских добродетелях Паолы, как в ежедневном вращении Земли вокруг своей оси. «И вдруг оказывается, что на вращение Земли не очень-то можно полагаться, — подумал он, в душе подсмеиваясь над собой, — и, может быть. Земля вдруг окажется плоской, как представляли себе древние».

Он отвернул перчатку и взглянул на часы. Через пять минут Грэхем сойдет с поезда в Эльдorado. Дик мчался теперь домой со стороны Сакраменто, и дорога горела под ним. Через четверть часа он увидел вдали поезд, с которым должен был приехать Грэхем. Дик нагнал Дадди и Фадди, уже миновав Эльдorado. Грэхем сидел рядом с Паолой, которая правила.

Проезжая мимо них. Дик замедлил ход, приветствовал Грэхема и, опять пустив машину на полную скорость, весело крикнул ему:

— Простите, Ивэн, что заставляю вас глотать пыль. Я хочу еще до обеда обыграть вас на бильярде, если вы когда-нибудь доплететесь.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

— Так не может больше продолжаться. Мы должны что-то предпринять немедленно.

Они были в музыкальной комнате. Паола сидела за роялем, подняв лицо к Грэхему, склонившемуся над ней.

— Вы должны решить, — настаивал Грэхем.

Теперь, когда они обсуждали, как им быть, на их лицах не было выражения счастья по случаю великого чувства, посланного им судьбой.

— Но я не хочу, чтобы вы уезжали, — говорила Паола. — Я сама не знаю, чего я хочу. Не сердитесь на меня. Я думаю не о себе. Я последнее дело. Но я должна думать о Дике и должна думать о вас. Я... я так не привыкла быть в подобном положении, — добавила она с вымученной улыбкой.

— Это положение нужно выяснить, любовь моя. Дик ведь не слепой.

— А что он мог увидеть? Разве было что-нибудь? — спросила она. — Ничего, кроме того единственного поцелуя в ущелье, а этого он видеть не мог. Ну, припомните еще что-нибудь!

— Очень хотел бы, но... увы!.. — отвечал он, подхватывая ее шутливый тон, и затем, сразу сдержавшись, продолжал: — Я с ума схожу от любви к вам. Вот и все. И я не знаю, насколько вы сходите с ума, да и сходите ли...

При этом он как бы случайно опустил руку на ее пальцы, лежавшие на клавишах, но она тихонько потянула руку.

— Вот видите, — сказал он жалобно, — а хотели, чтобы я вернулся.

— Да, хотела, чтобы вы вернулись, — произнесла она, глядя ему прямо в глаза своим открытым взглядом.

— Да, я хотела, чтобы вы вернулись, — повторила она тише, точно говоря сама с собой.

— Но я вовсе не уверен, — воскликнул он нетерпеливо, — что вы любите меня!

— Да, я люблю вас, Ивэн, но... — Она смолкла, как бы обдумывая то, что хотела сказать.

— Что «но»? — настойчиво допрашивал он. — Говорите же!

— Но я люблю и Дика. Правда, нелепо?

Он не ответил на ее улыбку, и она залюбовалась вспыхнувшим в его глазах мальчишеским упрямством. Слова так и просились с его языка, но

он промолчал, а она старалась угадать их и огорчилась, что он их не сказал.

— Как-нибудь все уладится, — убежденно заявила она. — Должно уладиться. Дик говорит, что все в конце концов улаживается. Все меняется. То, что стоит на месте, мертво, а ведь никто из нас еще не мертв. Верно?

— Я не упрекаю вас за то, что вы любите... продолжаете любить Дика, — нетерпеливо ответил Ивэн. — Я вообще не понимаю, что вы могли найти во мне по сравнению с ним. Я говорю это совершенно искренне. По-моему, он замечательный человек. Большое сердце...

Она вознаградила его улыбкой и кивком.

— Но если вы продолжаете любить Дика, при чем же тут я?

— Так вас я ведь тоже люблю!

— Этого не может быть! — воскликнул он, быстро отошел от рояля и, сделав несколько шагов по комнате, остановился перед картиной Кейта на противоположной стене, как будто никогда ее не видел.

Она ждала, спокойно улыбаясь и с радостью наблюдая его волнение.

— Вы не можете любить двух мужчин одновременно, — бросил он ей с другого конца комнаты.

— А все-таки это так, Ивэн. Вот я и стараюсь во всем этом разобраться. Я только не могу понять, кого люблю больше. Дика я знаю давно, а вы... вы...

— А я — случайный знакомый, — гневно прервал он ее, возвращаясь к ней тем же быстрым шагом.

— Нет, нет, Ивэн, совсем не то! Вы мне открыли меня самое. Я люблю вас не меньше Дика. Я люблю вас сильнее. Я... я не знаю...

Она опустила голову и закрыла лицо руками. Он с нежностью коснулся ее плеча. Она не сопротивлялась.

— Видите, мне очень нелегко, — продолжала она. — Тут так все переплетено, так переплетено, что я ничего не понимаю. Вы говорите, что вы теряетесь. Но подумайте обо мне! Я совсем запуталась и не знаю, что делать. Вы... да что говорить! Вы мужчина, с мужским жизненным опытом и мужским характером. Для вас все это очень просто: она любит меня... она не любит меня. А я запуталась и никак не разберусь. Я, конечно, тоже не девочка, но у меня нет никакого опыта во всех этих сложностях любви. У меня никогда не было романов. Я любила в жизни только одного человека, а теперь вот... вас... Вы и эта любовь к вам нарушили идеальный брак, Ивэн...

— Я знаю... — сказал он.

— А вот я ничего не знаю, — продолжала она. — И нужно время, чтобы во всем разобраться, или ждать, когда все само собой уладится. Если

бы только не Дик... — Ее голос задрожал и оборвался.

Ивэн невольно прижал ее к себе.

— Нет, нет, не теперь, — мягко сказала она, снимая его руку и на минуту ласково задерживая ее в своей. — Когда вы ко мне прикасаетесь, я не могу думать... Ну — не могу...

— В таком случае я должен уехать, — произнес он с угрозой, хотя вовсе не хотел угрожать ей.

Она сделала протестующий жест.

— Такое положение, как сейчас, невозможно, недопустимо. Я чувствую себя подлецом, а вместе с тем знаю, что я не подлец. Я ненавижу обман. Я могу лгать лжецу, но не такому человеку, как Дик. Обманывать Большое сердце! Я гораздо охотнее пошел бы прямо к нему и сказал: «Дик, я люблю вашу жену, она любит меня. Что вы думаете делать?»

— Ну что ж, идите! — вдруг загорелась Паола.

Грэхем выпрямился решительным движением.

— Я пойду. И сейчас же.

— Нет, нет! — вскрикнула она, охваченная внезапным ужасом. — Вы должны уехать. — Затем ее голос опять упал. — Но я не могу вас отпустить...

Если Дик до сих пор еще сомневался в чувствах Паолы к Грэхему, то теперь все его сомнения исчезли. Он не нуждался больше ни в каких доказательствах, достаточно было взглянуть на Паолу. Она была в приподнятом настроении, она расцвела, как пышная весна вокруг нее, ее смех звучал счастливее, голос богаче и выразительнее, в ней была горячим ключом неутомимая энергия и жажда деятельности. Она вставала рано и ложилась поздно. Казалось, она решила больше себя не щадить и с упоением пила искристое вино своих чувств. И Дик иногда недоумевал: может быть, она нарочно отдается этому хмелю, — оттого, что у нее нет мужества задуматься о том, что с ней происходит?

Паола явно худела, и он должен был признать, что она становилась от этого еще красивее, ибо нежные и яркие краски ее лица приобрели какую-то прозрачность и одухотворенность.

А в Большом доме жизнь текла по-прежнему — налажено, весело и беспечно. Дик иногда спрашивал себя: долго ли это может продолжаться? И пугался, представляя себе, что будет, когда все изменится. Он был уверен, что никто, кроме него, ни о чем не догадывается. Сколько же еще это может тянуться? Недолго, конечно. Паола слишком неумелая актриса. И если бы даже она ухитрилась скрывать какие-то пошлые и низменные детали, то такой расцвет новых чувств не в силах скрыть ни одна женщина.

Он знал, как проницательны его азиатские слуги; проницательны и тактичны, — должен был он признать. Но дамы!.. Эти коварные кошки! Самая лучшая из них будет в восторге, узнав, что блистательная, безупречная Паола — такая же дочь Евы, как и все они. Любая женщина, попавшая в дом на один день, на один вечер, может сразу догадаться о переживаниях Паолы. Разгадать Грэхема труднее. Но уж женщина женщину всегда раскусит.

Однако Паола и в этом другая, чем все. Он никогда не замечал в ней чисто женского коварства, желания подстеречь других женщин, вывести их на чистую воду, за исключением тех случаев, когда это касалось его, Дика. И он опять усмехнулся, вспоминая «роман» с миссис Дехэмени, который был «романом» только в воображении Паолы.

Размышляя обо всем этом. Дик спрашивал себя: знает ли Паола, что он догадался?

А Паола спрашивала себя, догадался ли Дик, и долго не могла решить. Она не замечала никакой перемены ни в нем, ни в его обычном отношении к ней. Он, как всегда, невероятно много работал, шутил, пел свои песни, у него был все тот же вид счастливого и веселого малого. Ей даже чудилось порою, что он стал с нею нежнее, но она уверяла себя, что это только плод ее воображения. Однако скоро неопределенность кончилась. Иногда в толпе гостей за столом или вечером в гостиной за картами она наблюдала за ним из-под полуопущенных ресниц, когда он этого не подозревал, и наконец по его глазам и лицу поняла, что он знает. Грэхему она даже не намекнула на свое открытие. Кому от этого станет легче? Он может немедленно уехать, а она — Паола честно признавалась себе в этом — меньше всего хотела его отъезда.

Но, придя к убеждению, что Дик знает или догадывается, она словно ожесточилась и стала нарочно играть с огнем. Если Дик знает, рассуждала она, — а он знает, — то почему же он молчит? Он, такой прямой и искренний! Она и желала объяснения — и боялась; но потом страх исчез, и осталось только желание, чтобы он наконец заговорил. Дик был человеком действия и поступал решительно, чем бы это ни грозило. Она всегда предоставляла инициативу ему. Грэхем назвал создавшееся положение треугольником. Пусть Дик и разрешит эту задачу. Он может разрешить любую задачу. Почему же он медлит?

Вместе с тем она продолжала жить не оглядываясь, стараясь заглушить голос совести, обвинявшей ее в двуличии, не желая слишком углубляться во все это. Ей чудилось, что она поднялась на вершину своей жизни и пьет эту жизнь жадными глотками.



Временами она просто ни о чем не думала и только с гордостью говорила себе, что у ее ног лежат такие два человека. Гордость в ней всегда была преобладающей чертой: она гордилась своими разнообразными талантами, своей внешностью, мастерством в музыке и плавании. Все возвышало ее над другими: восхитительно ли она танцевала, носила ли с непередаваемым изяществом красивую и изысканную одежду, или плавала грациозно и смело — редкая женщина будет так отважно нырять, — или, сидя на спине мощного жеребца, спускалась по скату в бассейн и уверенно его переплывала.

Она испытывала чувство гордости, когда видела их вместе, этих сероглазых белокурых великанов, ибо она была той же породы. Паолу не оставляло лихорадочное возбуждение, однако дело было тут не в нервах. Она даже ловила себя на том, что с холодным любопытством сравнивает обоих, сама не зная, для которого из них она старается быть как можно красивее и обаятельнее. Грэхема она уже держала в руках, а Дика не хотела выпускать.

Была даже какая-то жестокость и в горделивом сознании, что из-за нее и ради нее страдают два таких незаурядных человека; она несколько от себя не скрывала, что если Дик знает, — вернее, с тех пор, как он знает, — он тоже должен страдать. Паола уверяла себя, что она женщина с воображением, искушенная в любовных делах, и что главная причина ее любви к Грэхему вовсе не в новизне и свежести, не в том, что он другой, чем Дик. Она не хотела признаться себе, какую решающую роль здесь играет страсть.

Где-то в самой глубине души она не могла не понимать, что это безрассудство, безумие: ведь все могло кончиться очень страшно для одного из них, а может быть, и для всех. Но ей нравилось порхать над пропастью, уверяя себя, что никакой пропасти нет. Когда она оставалась одна, то не раз, глядя в зеркало, с насмешливым укором покачивала головой и восклицала: «Эх ты, хищница, хищница!» А когда она позволяла себе размышлять об этом более серьезно, то готова была согласиться с тем, что Шоу и мудрецы из «Мадроньевой рощи» правы, обличая хищные инстинкты женщин.

Она, конечно, не могла согласиться с Дар-Хиалом, будто женщина — это неудавшийся мужчина; но все вновь вспоминались ей слова Уайльда: «Женщина побеждает, неожиданно сдаваясь». Не этим ли она покорила Грэхема, спрашивала себя Паола. Как это ни странно, но на уступки она уже пошла. Пойдет ли на дальнейшие?.. Он хотел уехать. С ней или без нее — все равно уехать. Но она удерживала его. Какими способами? Давала ли

она ему молчаливые обещания, что уступит окончательно? Паола со смехом отгоняла всякие предположения относительно будущего, довольствуясь мимолетными радостями настоящего, стараясь сделать свое тело еще прекраснее, свое обаяние еще неотразимее, излучать сияние счастья, — и ощущала при этом такую полноту и трепетность жизни, какие ей были еще неведомы.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Но когда мужчина и женщина влюблены и живут так близко друг от друга, им не дано сохранить расстояние между собой неизменным. Паола и Грэхем незаметно сближались. От долгих взглядов и прикосновений руки к руке они постепенно перешли к другим дозволенным ласкам, и кончилось тем, что однажды она опять очутилась у него в объятиях и их губы снова слились в продолжительном поцелуе.

На этот раз Паола не вспыхнула гневом, а только властно заявила:

— Я вас не отпущу.

— Я не могу остаться, — повторил Грэхем в сотый раз. — Мне, конечно, приходилось не раз и целоваться за дверью и делать всякие глупости, — продолжал он пренебрежительно, — но тут другое — тут вы и Дик.

— Уверяю вас, Ивэн, все как-нибудь уладится.

— Тогда уезжайте со мной, и мы сами все уладим. Поедем!

Она отступила.

— Вспомните, — настаивал Грэхем, — что заявил Дик в тот вечер, когда Лео сражался с драконами. Он заявил: если бы даже Паола, его жена, от него с кем-нибудь сбежала, он сказал бы: «Благословляю вас, дети мои».

— Да, потому-то так и трудно, Ивэн. Он действительно Большое сердце. Вы удачно выразились. Слушайте! Понаблюдайте за ним! Он особенно мягок и бережен, как и обещал в тот вечер, — мягок со мной, я хочу сказать. А кроме того... Вы не заметили...

— Он знает?.. Он вам что-нибудь говорил? — прервал ее Грэхем.

— Ничего не говорил, но я уверена, что он знает или, во всяком случае, догадывается. Понаблюдайте за ним. Он не хочет соперничать с вами...

— Соперничать?

— Ну да. Не хочет. Вспомните вчерашний день. Когда наша компания приехала, он объезжал мустангов, но, увидев вас, больше не сел в седло. Он превосходный объездчик. Вы тоже попробовали. У вас выходило, правда, недурно, хотя, конечно, до него далеко. Но он не желал показывать свое превосходство. Одно это убедило меня, что он догадывается.

И еще: вы не обратили внимания на то, что он теперь никогда не расспрашивает вас, что вы делаете, где проводите время, как он расспрашивает любого гостя? Он играет с вами на бильярде, — потому что

вы играете лучше него, да еще бьется на рапирах и палках — тут вы тоже равны. Но он не вызывает вас ни на бокс, ни на борьбу.

— Да, в этом он действительно может победить меня, — пробормотал Грэхем.

— Понаблюдайте, и вы увидите, что я права. А ко мне он относится, как к норовистому жеребенку, — пусть, дескать, куролесит сколько душе угодно. Ни за что на свете не вмешается он в мои дела. О, поверьте, я его знаю. Он живет по своим собственным правилам и мог бы научить философов тому, что такое практическая философия.

— Нет, нет, слушайте! — торопливо продолжала она, видя, что Грэхем хочет ее прервать. — Я скажу вам больше. Из библиотеки в рабочую комнату Дика ведет потайная лестница, ею пользуются только я, он да его секретарь. Когда вы поднимаетесь по этой лестнице, то попадаете прямо в его комнату и оказываетесь среди книжных шкафов и полок. Я сейчас оттуда. Я шла к нему, но услышала голоса и решила, что, как обычно, идет разговор о делах имения и что он скоро освободится. Поэтому я осталась ждать. Это были действительно разговоры о делах, но такие интересные, такие, как сказал бы Хэнкок, «проливающие свет», что я не могла не подслушать. Эти разговоры «проливали свет» на характер самого Дика, хочу я сказать.

Он беседовал с женой одного из рабочих. Она пришла с жалобой... Такие вещи не редкость в рабочих поселках. Если бы я эту женщину встретила, я бы ее не узнала и не вспомнила бы даже ее имени. Она все жаловалась, но Дик остановил ее. «Это не важно, — сказал он, — мне важно знать, сами-то вы поощряли Смита или нет?»

Его зовут не Смитом — я не помню как, но это не имеет значения, — он служит у нас вот уже восемь лет, работает мастером.

«О нет, сэр, — услышала я ее ответ. — Он все время мне проходу не давал. Я, конечно, старалась избегать его. Да и у моего мужа характер бешеный, а я больше всего боюсь, как бы он не потерял место. Он почти год служит здесь и, кажется, ни в чем не замечен. Правда? До этого у него бывали только случайные заработки, и нам приходилось очень туго. Не его это вина, он не пьет, и всегда...»

«Ладно, — перебил ее Дик. — Ни его работа, ни его поведение тут ни при чем. Значит, вы утверждаете, что никогда не давали Смитку никаких оснований для ухаживания?»

Нет, она на этом настаивала и целых десять минут подробно рассказывала о его приставаниях. У нее очень приятный голосок — знаете, бывают такие робкие и мягкие женские голоса; и, наверно, она очень мила.

Я едва удержалась, чтобы не заглянуть в кабинет. Мне так хотелось посмотреть на нее.

«Значит, это произошло вчера утром? — спросил Дик. — А другие слышали? Я хочу сказать: кроме вас, мистера Смита и вашего мужа, — ну хотя бы соседи знали об этом?»

«Да, сэр. Видите ли, он не имел никакого права входить ко мне в кухню. Мой муж не его подчиненный. Он обнял меня и старался поцеловать, а тут как раз вошел мой муж. Хоть он и с характером, но не так чтобы очень силен. Смит вдвое выше. Муж вытащил нож, а мистер Смит схватил его за обе руки, они сцепились и стали кататься по всей кухне. Я испугалась, как бы до смертоубийства не дошло, выбежала и начала звать на помощь. Но соседи уже слышали, что у нас скандал. Муж и Смит в драке разбили окно, своротили печку, вся кухня была полна дыма и золы, их насилу растащили. А меня опозорили. За что? Вы же знаете, сэр, как теперь все бабы будут трепать языком...»

Дик снова остановил ее, но еще минут пять никак не мог от нее отделаться. Больше всего она боялась, как бы ее муж не лишился места. Я ждала, что Дик ей скажет; но он, видимо, не принял еще никакого определенного решения, и я была уверена, что он теперь вызовет мастера. И тот действительно явился. Я многое дала бы, чтобы его увидеть, но я слышала только разговор.

Дик сразу перешел к делу, описал весь скандал и драку, — и Смит признался, что действительно шум получился основательный.

«Она говорит, что никогда и ничем не поощряла ваших ухаживаний», — заявил Дик.

«Ну, это она врет, — ответил Смит. — Она так поглядывает на вас, будто сама приглашает поухаживать... Она с первого же дня так на меня смотрела. А зашел я к ней вчера на кухню потому, что она же меня и зазвала. Мы не ждали, что муж придет так скоро. Но когда она его увидела, то давай бороться и вырываться. А если она врет, будто не заманивала меня...»

«Бросьте, — остановил его Дик, — все это пустяки, дело не в этом».

«Как же пустяки, мистер Форрест, должен же я оправдаться», — настаивал Смит.

«Нет, это несущественно для того, в чем вы оправдаться не можете», — ответил Дик, и я услышала в его голосе знакомые мне жесткие, холодные и решительные нотки. Смит все еще не понимал. Тогда Дик объяснил ему свою точку зрения: «Вы виноваты, мистер Смит, в том, что произошел скандал, безобразие и бесчинство, в том, что вы дали пищу

бабьим языкам, в том, что вы нарушили порядок и дисциплину, — а это все ведет к одному очень важному обстоятельству: вы внесли дезорганизацию в нашу работу».

Но Смит все еще не понимал. Он решил, что его обвиняют в нарушении общественной нравственности, так как он преследовал замужнюю женщину, и всячески старался умиловить Дика ссылками на то, что ведь она с ним заигрывала, и просьбами о снисхождении. «В конце концов, — сказал он, — мужчина, мистер Форрест, это мужчина; согласен, она заморочила мне голову, и я вел себя, как дурак».

«Мистер Смит, — сказал Дик, — вы у меня работаете восемь лет, из них шесть в качестве мастера. На вашу работу я пожаловаться не могу. Работать вы, конечно, умеете. До вашей нравственности мне дела нет. Будьте хоть мормоном или турком. Ваша частная жизнь меня не касается, пока она не мешает вашей работе в имении. Любой из моих возчиков может напиваться по субботам до потери сознания, хоть каждую субботу, — это его дело. Но если в понедельник вдруг окажется, что он еще не протрезвился и это отзывается на моих лошадях — он груб с ними, бьет их и может повредить им, или если это хоть сколько-нибудь снижает качество или количество его понедельничной работы, — с этой минуты его пьянство становится уже моим делом, и возчик может отправляться ко всем чертям».

«Вы... вы же не хотите сказать, мистер Форрест, — заикаясь, пробормотал Смит, — что... что я тоже могу отправляться ко всем чертям?»

«Именно это я и хочу сказать, мистер Смит. И я не потому рассчитываю вас, что вы посягнули на чужую собственность — это дело ваше и ее мужа, — а потому, что вы оказались причиной беспорядка в моем имении».

— И знаете, Ивэн, — сказала Паола, прерывая свой рассказ, — по голым цифровым данным Дик угадывает гораздо больше жизненных драм, чем любой писатель, погрузившись в водоворот большого города. Возьмите хотя бы отчеты молочных ферм — ведомости каждого доильщика в отдельности: столько-то литров молока утром и вечером от такой-то коровы и столько-то от такой-то. Дику не нужно знать человека. Но вот удой понизился. «Мистер Паркмен, — спрашивает он управляющего молочной фермой, — что, Барчи Ператта женат?» — «Да, сэр». — «У них что, с женой нелады?» — «Да, сэр».

Или: «Мистер Паркмен, Симпкинс был очень долго нашим лучшим доильщиком, а теперь отстаёт от других, в чем дело?» Паркмен не знает.

«Разузнайте, — говорит Дик. — Что-то у него есть на душе. Потолкуйте-ка с ним по-отечески и спросите. Надо снять с него то, что его гнетет». И мистер Паркмен дознается, в чем дело. Оказывается, сын Симпкинса, студент Стэнфордского университета, вдруг бросил учение, начал кутить и теперь сидит в тюрьме и ждет суда за подлог. Дик передал дело своим адвокатам, они замяли эту историю, добились того, что юношу выпустили на поруки, — и ведомости Симпкинса стали прежними. А лучше всего то, что юноша исправился — Дик взял его под наблюдение, — окончил инженерное училище и теперь служит у нас, работает на осушке болот и получает полтора ста долларов в месяц, женился, и его будущность обеспечена, а отец продолжает доить коров.

— Вы правы, — задумчиво и сочувственно пробормотал Грэхем, — недаром я назвал Дика Большим сердцем.

— Я называю его моей нерушимой скалой, — сказала Паола с чувством. — Он такой надежный. Нет, вы еще не знаете его. Никакая буря его не сломит. Ничто не согнет. Он ни разу не споткнулся. Точно бог улыбается ему, всегда улыбается. Никогда жизнь не ставила его на колени... пока. И... я... я... не хотела бы быть свидетельницей этого. Это разбило бы мне сердце. — Рука Паолы потянулась к его руке, в легком прикосновении были и просьба и ласка. — Я теперь боюсь за него. Вот почему я не знаю, как мне поступить. Ведь не ради себя же я медлю, колеблюсь... Если бы я могла упрекнуть его в требовательности, ограниченности, слабости или малейшей пошлости, если бы жизнь была его и раньше, я бы давным-давно уехала с вами, мой милый, милый...

Ее глаза внезапно стали влажными. Она успокоила Грэхема пожатием руки и, чтобы овладеть собой, вернулась к своему рассказу:

— «Ее супруг, мистер Смит, вашего мизинца не стоит, — продолжал Дик. — Ну что о нем можно сказать? Усерден, старается угодить, но не умен, не силен, в лучшем случае — работник из средних. А все-таки приходится рассчитывать вас, а не его; и я об этом очень, очень сожалею».

Конечно, он говорил и многое другое, но я рассказала вам самое существенное. Отсюда вы можете судить о его правилах. А он всегда следует им. Дик предоставляет личности полную свободу. Что бы человек ни делал, пока он не нарушает интересов той группы людей, в которой живет, это никого не касается. По мнению Дика, Смит вправе любить женщину и быть любимым ею, раз уж так случилось. Он всегда говорил, что любовь не навяжешь и не удержишь насильно. Если бы я на самом деле ушла с вами, он сказал бы: «Благословляю вас, дети мои». Чего бы это ему ни стоило, он так сказал бы, ибо считает, что былую любовь не воротишь.

Каждый час любви, говорит он, окупается полностью, обе стороны получают свое. В этом деле не может быть ни предъявления счетов, ни претензий: требовать любви просто смешно.

— Я с ним совершенно согласен, — сказал Грэхем. — «Ты обещал, или обещала, любить меня до конца жизни», — заявляет обиженная сторона, словно это вексель на столько-то долларов и его можно предъявить ко взысканию. Доллары остаются долларами, а любовь жива или умирает. А если она умерла, то откуда ее взять? В этом вопросе мы все сходимся, и все ясно. Мы любим друг друга, и довольно. Зачем же ждать хотя бы одну лишнюю минуту?

Его рука скользнула вдоль ее пальцев, лежавших на клавишах, он наклонился к Паоле, сначала поцеловал ее волосы, потом медленно повернул к себе ее лицо и поцеловал в раскрытые покорные губы.

— Дик любит меня не так, как вы, — сказала она, — не так безумно, хочу я сказать. Я ведь с ним давно — и стала для него чем-то вроде привычки. До того как я встретила вас, я часто-часто думала об этом и старалась отгадать: что он любит больше — меня или свое имение?..

— Но ведь все это так просто, — сказал Грэхем. — Надо только быть честным! Уедем!

Он поднял ее и поставил на ноги, как бы собираясь тотчас же увезти. Но она вдруг отстранилась от него, села и опять закрыла руками вспыхнувшее лицо.

— Вы не понимаете, Ивэн... Я люблю Дика. Я буду всегда любить его.

— А меня? — ревниво спросил Грэхем.

— Конечно, — улыбнулась она. — Вы единственный, кроме Дика, кто меня так... целовал и кого я так целовала. Но я ни на что не могу решиться. Треугольник, как вы называете наши отношения, должен быть разрешен не мной. Сама я не в силах. Я все сравниваю вас обоих, оцениваю, взвешиваю. Мне представляются все годы, прожитые с Диком. И потом я спрашиваю свое сердце... И я не знаю. Не знаю... Вы большой человек и любите меня большой любовью. Но Дик больше вас. Вы ближе к земле, вы... — как бы это выразиться? — вы человечнее, что ли. И вот почему я люблю вас сильнее — или по крайней мере мне кажется, что сильнее.

Подождите, — продолжала она, удерживая его жадно тянувшиеся к ней руки, — я еще не все сказала. Я вспоминаю все наше прошлое с Диком, представляю себе, какой он сегодня и какой будет завтра... И я не могу вынести мысли, что кто-то пожалеет моего мужа... что вы пожалеете его, — а вы не можете не жалеть его, когда я говорю вам, что люблю вас больше. Вот почему я ни в чем не уверена, вот почему я так быстро беру



назад все, что скажу... и ничего не знаю...

Я бы умерла со стыда, если бы из-за меня кто-нибудь стал жалеть Дика! Честное слово! Я не могу представить себе ничего ужаснее! Это унижит его. Никто никогда не жалел его. Он всегда был наверху, веселый, радостный, уверенный, непобедимый. Больше того: он и не заслуживал, чтобы его жалели. И вот по моей и... вашей вине, Ивэн...

Она резко оттолкнула руку Ивэна.

— ...Все, что мы делаем, каждое ваше прикосновение — уже повод для жалости. Неужели вы не понимаете, насколько я во всем этом запуталась? А потом... ведь у меня есть гордость. Вы видите, что я поступаю нечестно по отношению к нему... даже в таких мелочах, — она опять поймала его руку и стала ласкать ее легкими касаниями пальцев, — и это оскорбляет мою любовь к вам, унижает, не может не унижать меня в ваших глазах. Я содрогаюсь при мысли, что вот хотя бы это, — она приложила его руку к своей щеке, — дает вам право жалеть его, а меня осуждать.

Она сдерживала нетерпение этой лежавшей на ее щеке руки, потом почти машинально перевернула ее, долго разглядывала и медленно целовала в ладонь. Через мгновение он рванул ее к себе, и она была в его объятиях.

— Ну, вот... — укоризненно сказала она, высвобождаясь.

— Почему вы мне все это про Дика рассказываете? — спросил ее Грэхем в другой раз, во время прогулки, когда их лошади шли рядом. — Чтобы держать меня на расстоянии? Чтобы защититься от меня?

Паола кивнула, потом сказала:

— Нет, не совсем так. Вы же знаете, что я не хочу держать вас на расстоянии... слишком далеко. Я говорю об этом потому, что Дик постоянно занимает мои мысли. Ведь двенадцать лет он один занимал их. А еще потому, вероятно, что я думаю о нем. Вы поймите, какое создалось положение! Вы разрушили идеальное супружество!

— Знаю, — отозвался он. — Моя роль разрушителя мне совсем не по душе. Это вы заставляете меня играть ее, вместо того чтобы со мной уйти. Что же мне делать? Я всячески стараюсь забыть, не думать о вас. Сегодня утром я написал полглавы, но знаю, что ничего не вышло, придется все переделывать, — потому что я не могу не думать о вас. Что такое Южная Америка и ее этнография в сравнении с вами? А когда я подле вас — мои руки обнимают вас, прежде чем я успеваю отдать себе отчет в том, что делаю. И, видит бог, вы хотите этого, вы тоже хотите этого, не отрицайте!

Паола собрала поводья, намереваясь пустить лошадь галопом, но

прежде с лукавой улыбкой произнесла:

— Да, я хочу этого, милый разрушитель.

Она и сдавалась и боролась.

— Я люблю мужа, не забывают этого, — предупреждала она Грэхема, а через минуту он уже сжимал ее в объятиях.

— Слава богу, мы сегодня только вдвоем! — воскликнула однажды Паола и, схватив за руки Дика и Грэхема, потащила их к любимому дивану Дика в большой комнате. — Давайте сядем и будем рассказывать друг другу печальные истории о смерти королей. Идите сюда, милорды и знатные джентльмены, поговорим об Армагеддоновой битве; когда закатится солнце последнего дня.

Она была очень весела, и Дик с изумлением увидел, что она закурила сигарету. За все двенадцать лет их брака он мог сосчитать по пальцам, сколько сигарет она выкурила, — и то она делала это только из вежливости, чтобы составить компанию какой-нибудь курящей гостье. Позднее, когда Дик налил себе и Грэхему виски с содовой, она удивила его своей просьбой дать и ей стаканчик.

— Смотри, это с шотландским виски, — предупредил он.

— Ничего, совсем малюсенький, — настаивала она, — и тогда мы будем как три старых добрых товарища и поговорим обо всем на свете. А когда наговоримся, я спою вам «Песнь Валькирии».

Она говорила больше, чем обычно, и всячески старалась заставить мужа показать себя во всем блеске. Дик это заметил, но решил исполнить ее желание и выступил с импровизацией на тему о белокурых солнечных героях.

«Она хочет, чтобы Дик показал себя», — подумал Грэхем.

Но едва ли Паола могла сейчас желать, чтобы они состязались, — она просто с восхищением смотрела на этих двух представителей человеческой породы: они были прекрасны и оба принадлежали ей.

«Они говорят об охоте на крупную дичь, — подумала она, — но разве когда-нибудь маленькой женщине удавалось поймать такую дичь, как эти двое?»

Паола сидела на диване, поджав ноги, и ей был виден то Грэхем, удобно расположившийся в глубоком кресле, то Дик: опираясь на локоть, он лежал подле нее среди подушек. Она переводила взгляд с одного на другого, и когда мужчины заговорили о жизненных схватках и борьбе — как реалисты, трезво и холодно, — ее мысли устремились по тому же руслу, и она уже могла хладнокровно смотреть на Дика, без той мучительной жалости, которая все эти дни сжимала ей сердце.

Она гордилась им, — да и какая женщина не стала бы гордиться таким статным, красивым мужчиной, — но она его уже не жалела. Они правы. Жизнь — игра. В ней побеждают самые ловкие, самые сильные. Разве они оба много раз не участвовали в такой борьбе, в таких состязаниях? Почему же нельзя и ей? И по мере того как она смотрела на них и слушала их, этот вопрос вставал перед ней все с большей настойчивостью.

Они отнюдь не были анахоретами, эти двое, и, наверное, разрешали себе многое в том прошлом, из которого, как загадки, вошли в ее жизнь. Они знавали такие дни и такие ночи, в которых женщинам — по крайней мере женщинам, подобным Паоле, — отказано. Что касается Дика, то в его скитаниях по свету он, бесспорно, — она сама слышала всякие разговоры на этот счет, — сближался со многими женщинами. Мужчина всегда остается мужчиной, особенно такие, как эти двое! И ее обожгла ревность к их случайным, неведомым подругам, и ее сердце ожесточилось. «Они пожили всласть и ни в чем не знали отказа», — вспомнилась ей строчка из Киплинга.

Жалость? А почему она должна жалеть их больше, чем они жалеют ее? Все это слишком огромно, слишком стихийно, здесь нет места жалости. Втроем они участвуют в крупной игре, и кто-нибудь должен проиграть. Увлечшись своими мыслями, она уже рисовала себе возможный исход игры. Обычно она боялась таких размышлений, но стаканчик виски придавал ей смелости. И вдруг ей представилось, что конец будет страшен; она видела его как бы сквозь мглу, но он был страшен.

Ее привел в себя Дик, он водил рукой перед ее глазами, как бы отстраняя какое-то видение.

— Померещилось что-нибудь? — поддразнил он ее, стараясь поймать ее взгляд.

Его глаза смеялись, но она уловила в них что-то, заставившее ее невольно опустить длинные ресницы. Он знал. В этом уже нельзя было сомневаться. Он знал. Именно это она прочла в его взгляде и потому опустила глаза.

— «Цинтия, Цинтия, мне показалось!..» — весело стала она напевать; и когда он опять заговорил, она потянулась к его недопитому стакану и сделала глоток.

Пусть будет что будет, сказала она себе, а игру она доиграет. Хоть это и безумие, но это жизнь, она живет. Так полно она еще никогда не жила. И эта игра стоила свеч, какова бы ни была потом расплата. Любовь? Разве она когда-нибудь по-настоящему любила Дика той любовью, на какую была способна теперь? Не принимала ли она все эти годы нежность и привычку

за любовь? Ее взор потеплел, когда она взглянула на Грэхема: да, вот Грэхем захватил ее, как никогда не захватывал Дик.

Она не привыкла к столь крепким напиткам, ее сердце учащенно билось, и Дик, как бы случайно на нее посматривая, отлично понимал, почему так ярко блестят ее глаза и пылают щеки и губы.

Он говорил все меньше, и беседа, точно по общему уговору, затихла.

Наконец он взглянул на часы, встал, зевнул, потянулся и заявил:

— Пора и на боковую. Белому человеку осталось мало спать. Выпьем, что ли, на ночь, Иван?

Грэхем кивнул; оба чувствовали потребность подкрепиться.

— А ты? — спросил Дик жену.

Но Паола покачала головой, подошла к роялю и принялась убирать ноты; мужчины приготовили себе напитки.

Грэхем опустил крышку рояля, а Дик ждал уже в дверях, и когда все они вышли из комнаты, он оказался на несколько шагов впереди. Паола попросила Грэхема тушить свет во всех комнатах, через которые они проходили.

В том месте, где Грэхему надо было сворачивать к себе в башню. Дик остановился.

Грэхем погасил последнюю лампочку.

— Да не эту... глупый, — услышал Дик голос Паолы. — Эта горит всю ночь.

Дик не слышал больше ничего, но кровь бросилась ему в голову. Он проклинал себя, он вспомнил, что когда-то сам целовался, пользуясь темнотой. И теперь он совершенно точно представлял себе, что произошло в этой темноте, длившейся мгновение, пока лампочка не вспыхнула снова.

У него не хватило духа взглянуть им в лицо, когда они нагнали его. Не желал он также видеть, как честные глаза Паолы спрячутся за опущенными ресницами; он медлил и мял сигару, тщетно подыскивая слова для непринужденного прощания.

— Как идет ваша книга? Какую главу вы пишете? — наконец крикнул он вслед удалявшемуся Грэхему и почувствовал, что Паола коснулась его руки.

Держась за его руку, она раскачивала ее и шла рядом с ним, болтая и подпрыгивая, словно расшалившаяся девочка. Он же печально размышлял о том, какую еще она изобретет хитрость, чтобы сегодня уклониться от обычного поцелуя на ночь, от которого уже так давно уклонялась.

Видимо, она так и не успела ничего придумать; а они уже дошли до того места, где им надо было разойтись в разные стороны. Поэтому, все

еще раскачивая его руку и оживленно болтая всякий вздор, она проводила Дика до его рабочего кабинета. И тут он сдался. У него не хватило ни сил, ни упорства, чтобы ждать новой уловки. Сделав вид, будто вспомнил что-то, он довел ее до своего письменного стола и взял с него случайно попавшее под руку письмо.

— Я дал себе слово отправить завтра утром ответ с первой же машиной, — сказал он, нажимая кнопку диктофона, и принялся диктовать.

Она еще с минуту не выпускала его руки. Затем он почувствовал прощальное пожатие ее пальцев, и она прошептала:

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, детка, — ответил он машинально, продолжая диктовать и как бы не замечая ее ухода.

И продолжал до тех пор, пока ее шаги не стихли в отдалении.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

На следующее утро Дик, диктуя Блэйку ответы на письма, не раз готов был все это бросить.

— Позвоните Хеннесси и Менденхоллу, — сказал он, когда Блэйк собрал свои бумаги и поднялся, чтобы уйти. — Поймайте их в конюшнях для молодняка и скажите: пусть сегодня не приходят, лучше завтра утром.

Но тут появился Бонбрайт и приготовился, как обычно, стенографировать в течение часа разговоры Дика с его управляющими.

— И вот еще что, — крикнул Дик вслед Блэйку, — спросите Хеннесси, как чувствует себя старуха Бесси. Она была вчера вечером очень плоха, — пояснил он Бонбрайту.

— Мистеру Хэнли нужно переговорить с вами немедленно, мистер Форрест, — сказал Бонбрайт и прибавил, увидев, как его патрон с досадой и удивлением поднял брови. — Это насчет Быокэйской плотины. Чтото там не выходит по плану... допущена, видимо, крупная ошибка...

Дик уступил и целый час совещался со своими управляющими.

Во время жаркого спора с Уордменом о дезинфекционном составе для купания овец он встал из-за стола и подошел к окну, привлеченный голосами, топотом лошадей и смехом Паолы.

— Воспользуйтесь отчетом Монтаны, я вам сегодня же пришлю с него копию, — продолжал он, глядя в окно. — Там выяснили, что это средство не годится. Оно действует скорее успокаивающе, но не убивает паразитов. Оно недостаточно эффективно.

Мимо окна проскакала кавалькада из четырех человек. Паола ехала между двумя друзьями Форреста, художником Мартинесом и скульптором Фрейлигом, только что прибывшим с утренним поездом. Она оживленно беседовала с обоими. Четвертым был Грэхем на Селиме: он отстал от них, но было совершенно ясно, что очень скоро эти четверо всадников разделятся на две пары.

Едва пробило одиннадцать, как Дик, не находивший себе места, нахмурясь, вышел с папиросой на большой двор; угадав по многим признакам, что Паола совсем забросила своих золотых рыбок. Дик горько усмехнулся. Глядя на них, он вспомнил о ее собственном внутреннем дворике, где тоже был бассейн, — она держала в нем самые редкие и красивые экземпляры. Он решил заглянуть туда и пустился в путь, открывая своим ключом двери без ручек и выбирая ходы и переходы,

известные, кроме него, только Паоле да слугам.

Внутренний дворик Паолы был одним из самых замечательных подарков, сделанных Диком своей молодой жене. Эта затея, подсказанная щедростью любящего, могла быть осуществлена только при таких королевских доходах. Он предоставил Паоле полную возможность устроить дворик по своему вкусу и настаивал на том, чтобы она не останавливалась перед самыми сумасбродными тратами. Ему доставляло особенное удовольствие дразнить своих бывших опекунов сногшибательными суммами в ее чековой книжке. Дворик никак не был связан с общим планом Большого дома. Глубоко скрытый в недрах этой огромной постройки, он не мог нарушить его очертаний и красот. И редко кто видел этот прелестнейший уголок. Кроме сестер Паолы да какого-нибудь приезжего художника, туда никто не допускался, и никто не мог им полюбоваться. Грэхем слышал о существовании дворика, но даже ему не предложили посмотреть его.

Дворик был круглый и настолько маленький, что в нем не чувствовался холод пустого пространства, как в большинстве дворов. Дом был построен из бетона, здесь же глаз отдыхал на мраморе удивительно мягких тонов. Окружающие дворик аркады были из резного белого мрамора с чуть зеленоватым оттенком, смягчавшим ослепительные отблески полуденного солнца. Бледноалые розы обвивались вокруг стройных колонн и перекидывались на плоскую низкую крышу, украшенную не уродливыми химерами, а смеющимися, шаловливыми младенцами. Дик брел неторопливо по розовому мраморному полу под аркадами, и в его душу постепенно проникала красота этого дворика, смягчая и успокаивая его.

Сердцем и центром дворика был фонтан: он состоял из трех сообщающихся между собой, расположенных на разной высоте бассейнов из белого мрамора, прозрачного, как раковины. Вокруг бассейна резвились дети, изваянные из розового мрамора, в натуральную величину. Некоторые из них заглядывали, перегнувшись через борт, в нижние бассейны; один жадно тянулся ручонками к золотым рыбкам; другой, лежа на спине, улыбался небу; еще один малыш, широко расставив толстенькие ножки, потягивался; иные стояли в воде, иные играли среди белых и красных роз, — но все были так или иначе связаны с фонтаном и в какой-нибудь точке с ним соприкасались. Мрамор был выбран так удачно и скульптура так хороша, что возникала полная иллюзия жизни. Это были не херувимы, а живые, теплые человеческие детеныши.

Дик с улыбкой смотрел на их веселую компанию. Он докурил

папиросу и все еще стоял перед ними, держа в руках окурок. «Вот что ей нужно было, — думал он, — ребята, малыши. Она же страстно любит их! И если б у нее были дети...» Он вздохнул и, пораженный новой, — мыслью, посмотрел на любимое местечко Паолы, зная заранее, что не увидит брошенного там в красивом беспорядке начатого ею шитья: все эти дни она не шила.

Он не зашел в маленькую галерею за аркадами, где были собраны картины и гравюры, а также мраморные и бронзовые копии с ее любимейших скульптур, находящихся в музеях Европы. Он поднялся по лестнице, прошел мимо великолепной Ники, стоявшей на площадке в том месте, где лестница разделялась, и еще выше — в жилые комнаты, занимавшие весь верхний этаж флигеля. Но возле Ники он на миг остановился и посмотрел вниз, на дворик. Сверху он был похож на прекрасную драгоценную гемму, совершенную по форме и по краскам. И Дик должен был сознаться, что хотя средства для воплощения этого замысла предоставил он, но замысел целиком принадлежал Паоле, — эта красота была ее созданием. Паола долго мечтала о таком дворике, и Дик дал ей возможность осуществить свою мечту. А теперь, размышляя он, она забыла и о дворике. Паола не была своекорыстной, — он отлично знал это, — и если он, сам по себе, не в силах удержать ее, то всем этим игрушкам никогда не заглушить зов ее сердца.

Дик бесцельно бродил по ее комнатам, почти не видя отдельных обступивших его предметов, но все охватывая любящим взглядом. Каждая вещь здесь красноречиво говорила о своеобразии хозяйки. Но когда он заглянул в ванную с ее низким римским бассейном, он все-таки не мог не заметить, что кран чуточку подтекает, и решил сегодня же сказать об этом водопроводчику.

Взглянул Дик, конечно, и на ее мольберт, отнюдь не ожидая увидеть новую работу, но обманулся — перед ним стоял его собственный портрет. Он знал ее прием — брать позу и основные контуры с фотографии, а затем дополнять этот контур по воспоминаниям. В данном случае она воспользовалась очень удачным "моментальным снимком, когда он сидел в седле. Одиединственный раз и на один миг Дику удалось заставить Капризницу стоять смирно; он был изображен с шляпой в руке, волосы в живописном беспорядке, выражение лица естественное — он не знал, что его снимают, глаза прямо смотрят в камеру. Никакой фотограф не мог бы лучше уловить сходство. Паола отдала увеличить снимок и писала теперь с него. Но портрет уже перестал быть фотографией. Дик узнавал характерную для Паолы манеру.



Вдруг он вздрогнул и взгляделся пристальнее. Разве это его выражение глаз да и всего лица? Опять он посмотрел на фотографию, — там этого не было. Он подошел к одному из зеркал и, придав себе равнодушный вид, начал думать о Паоле и Грэхеме. И постепенно на его лице и в глазах появилось то самое выражение. Не удовольствовавшись этим, он вернулся к мольберту и еще раз взглянул на портрет, чтобы проверить свое впечатление. Паола знала! Паола знала, что он знает! Она вырвала у него тайну, подстерегла в одну из тех минут, когда новое выражение без его ведома проступило у него на лице, и перенесла на холст.

Из гардеробной появилась горничная Паолы, китаянка Ой-Ли; она не заметила Дика и шла к нему навстречу в глубокой задумчивости, опустив глаза. Лицо ее было печально, и она уже не поднимала брови — привычка, послужившая поводом для ее прозвища. На лице не было обычного удивления, китаянка казалась подавленной.

«Кажется, все наши лица начали выдавать свои тайны», — подумал он. — С добрым утром, Ой-Ли, — окликнул ее Дик.

Она ответила на его приветствие; в ее глазах он прочел сострадание. Ой-Ли знает — первая из посторонних. Что ж, на то она и женщина! Впрочем, служанка так много бывала с Паолой, когда та сидела у себя, что, конечно, не могла не разгадать тайну своей хозяйки.

Вдруг ее губы задрожали, она стиснула руки и пыталась заговорить.

— Мистер Форрест, — начала она, задыхаясь. — Может быть, вы подумаете, я с ума сошла, но я хочу кое-что сказать вам. Вы очень добрый хозяин. Вы очень добры к моей старой матери. Вы всегда, всегда были добры ко мне...

Она запнулась, облизнула пересохшие губы, потом заставила себя поднять на него глаза и продолжала:

— Миссис Форрест, мне кажется, она... она...

Но лицо Дика стало вдруг таким строгим, что она смутилась, умолкла и покраснела; и Дик подумал: она стыдится того, что собиралась сказать.

— Хорошую картину пишет миссис Форрест, правда? — заметил он, чтобы дать ей прийти в себя.

Китаянка вздохнула, и, когда обратила взор на портрет Дика, в ее глазах опять мелькнуло сострадание.

Она снова вздохнула, но он не мог не заметить внезапной холодности ее тона, когда она ответила:

— Да, миссис Форрест рисует очень хорошую картину.

Она вдруг взглянула на него пронизательным и пристальным взглядом, как бы изучая его лицо, затем опять повернулась к портрету и,

показывая на его глаза, сказала:

— Нехорошо.

Ее голос звучал резко и сердито.

— Нехорошо, — бросила она опять через плечо, еще громче, еще резче, и скрылась в спальне Паолы.

Дик невольно выпрямился, как бы готовясь мужественно встретить то, что должно было скоро обрушиться на него. Что ж, это начало конца. Ой-Ли знает. Скоро узнают и другие, узнают все. В известном смысле он был даже рад этому, — рад, что мука ожидания продлится теперь недолго.

Все же, уходя из комнаты, он уже насвистывал веселый мотив, давая понять китайке, что с его точки зрения все пока обстоит благополучно.

В тот же день, пользуясь тем, что Дик уехал на прогулку с Фрейлигом, Мартинесом и Грэхемом, Паола, в свою очередь, предприняла тайное паломничество на половину мужа. Выйдя на веранду, служившую Дикую спальней, она окинула взглядом кнопки, телефон над постелью, соединявший Дика с его служащими и почти со всей Калифорнией, диктофон на вращающейся подставке, аккуратно разложенные книги, журналы и сельскохозяйственные бюллетени, ожидавшие просмотра, пепельницу, папиросы, блокноты, термос.

Внимание Паолы привлекла ее собственная фотография — единственное украшение этой комнаты. Фотография висела над барометром и термометрами, которые, как она знала, всего чаще привлекали взор Дика. По какой-то странной фантазии она перевернула смеющийся портрет лицом к стене, увидела пустой прямоугольник рамки, перевела взгляд на постель и снова на стену — и вдруг, точно испугавшись, торопливо повесила смеющийся портрет опять лицом к комнате. «Да, он тут на месте, — подумала Паола. — На месте».

Потом ее глаза остановились на большом автоматическом револьвере в кобуре, висевшем так близко от постели Дика, что достаточно было протянуть руку, чтобы вытащить его. Она взялась за рукоятку. Да, как и следовало ожидать, курок не на предохранителе, таков уж у Дика обычай: как бы долго револьвер ни оставался без употребления, он не дает ему залеживаться в кобуре.

Вернувшись в рабочий кабинет, Паола медленно обошла его, задумчиво разглядывая огромные картотеки, шкафы с картами и чертежами на синьке, вращающиеся полки со справочниками и длинные ряды тщательно переплетенных племенных реестров. В конце концов она дошла и до библиотеки, — там было множество брошюр, переплетенных журнальных статей и с десятков каких-то толстых научных книг. Она

добросовестно прочла заглавия: «Кукуруза в Калифорнии», «Силосование кормов», «Организация фермы», «Курс сельскохозяйственного счетоводства», «Ширы в Америке», «Истощение чернозема», «Люцерна в Калифорнии», «Почвообразование», «Высокие урожаи в Калифорнии», «Американские шортхорны». Прочтя последнее название, она ласково улыбнулась, вспомнив ту оживленную полемику, которую Дик вел, отстаивая необходимость делать различие между дойной коровой и убойной, против тех, кто доказывал, что надо выращивать коров, отвечающих одновременно обоим назначениям.

Она погладила ладонью корешки книг, прижалась к ним щекой и закрыла глаза. О Дик! Какая-то мысль зародилась в ней и тут же угасла, оставив в сердце смутную печаль, ибо Паола не решилась додумать ее до конца.

Как этот письменный стол типичен для Дика! Никакого беспорядка, никаких следов неоконченной работы. Только проволочный лоток с отстуканными на пишущей машинке, ожидающими его подписи письмами да непривычно большая стопка желтых телеграмм, принятых по телефону из Эльдorado и перепечатанных секретарями на бланки. Она рассеянно скользнула взглядом по первым строкам лежавшей сверху телеграммы и наткнулась на чрезвычайно заинтересовавшее ее сообщение. Паола, сдвинув брови, вчиталась в него, затем начала рыться в куче телеграмм, пока не нашла подтверждения поразившего ее известия. Погиб Джереми Брэкстон — этот рослый, веселый и добрый челоовек. Шайка пьяных мексиканских пеонов убила его в горах, когда он хотел бежать с рудников Харвест в Аризону. Телеграмма пришла два дня тому назад, и Дик знал об этом уже в течение двух дней, но не говорил, чтобы ее не расстраивать. Был в этом и другой смысл: смерть Брэкстона знаменовала большие денежные потери: дела на рудниках Харвест идут, видимо, все хуже. Да, таков Дик!

Итак, Брэкстон погиб. Ей показалось, что в комнате вдруг стало холоднее. Она почувствовала озноб. Такова жизнь — в конце пути каждого из нас ждет смерть. И опять ее охватил тот же смутный страх и ужас. Впереди ей рисовалась гибель. Но чья? Она не искала разгадки. Достаточно того, что это была гибель. Ужас придавил ей душу, и самый воздух в этой спокойной комнате показался ей гнетущим. Она медленно вышла.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Наша маленькая хозяйка чувствительна, как птичка, — говорил Терренс, беря с подноса коктейль, которым А-Ха обносил присутствующих.

Время было предобеденное, и Грэхем, Лео и Терренс Мак-Фейн случайно сошлись в бильярдной.

— Нет, Лео, — остановил ирландец молодого поэта. — Хватит с вас одного. У вас и так горят щеки. Еще коктейль — и вас совсем развезет. В вашей юной голове идеи о красоте не должны затуманиваться винными парами. Пусть пьют старшие. Чтобы пить, требуется особый талант. У вас его нет. Что же касается меня...

Он опорожнил свой стакан и замолчал, смакуя коктейль.

— Бабье питье, — презрительно покачал он головой. — Не нравится. Не жжет. И букета никакого. Ни черта. А-Ха, мой друг, — подозревал он китайца, — устройка мне смесь из виски с содовой в таком длинномдлинном бокале и, знаешь, настоящую — вот столько. — Он вытянул горизонтально четыре пальца, показывая, сколько ему надо налить виски; и, когда А-Ха спросил, какого виски он желает, Терренс ответил: — Шотландского или ирландского, бурбонского или ржаного — все равно, какой под руку попадетсся.

Грэхем только кивнул китайцу и, смеясь, обратился к ирландцу:

— Меня, Терренс, вам ни за что не напоить. Я не забыл, каких хлопот вы наделали О'Хэю.

— Ну что вы! Что вы! Это была чистейшая случайность, — ответил тот. — Говорят, что если у человека скверно на душе, так его может свалить с ног одна капля.

— Ас вами это бывает? — спросил Грэхем.

— Никогда этого со мной не случилось. Мой жизненный опыт весьма ограничен.

— Вы начали, Терренс, насчет... миссис Форрест, — просящим тоном напомнил Лео. — И как будто хотели сказать что-то очень хорошее...

— Разве о ней можно сказать что-нибудь другое, — возразил Терренс. — Я сказал, что у нее чувствительность птички, но не чувствительность трясогузки или томно воркующей горлицы, а как у веселых птиц, например, у диких канареек, которые купаются в здешних фонтанах, разбрасывая солнечные брызги, всегда поют и щебечут, и их

сердечко точно пылает на золотой грудке. Вот и маленькая хозяйка такая же. Я много за ней наблюдал.

Все, что на земле, под землей и на небе, радует ее и украшает ее жизнь: цветок ли мирта, который не по праву нарядился в пурпур, когда ему нельзя быть красочнее бледной лаванды; или яркая роза — знаете, этакая роскошная роза «Дюшес»: ее чуть покачивает ветер, а она только что распустилась под жаркими лучами солнца... Про такую розу Паола мне сказала однажды: «У нее цвет зари, Терренс, и форма поцелуя». Для маленькой хозяйки все радость: серебристое ржание Принцессы, звон колокольчиков в морозное утро, прелестные шелковистые ангорские козы, которые бродят живописными группами по горным склонам, багряные лучины вдоль изгородей, высокая жаркая трава на склонах и вдоль дороги или выжженные летним зноем бурые горы, похожие на львов, приготовившихся к прыжку. А с каким почти чувственным наслаждением она подставляет шею и руки лучам благодатного солнца!

— Она душа красоты, — пролепетал Лео. — За такую женщину можно умереть; я это вполне понимаю.

— Но можно и жить для них и любить эти восхитительные создания, — добавил Терренс. — Послушайте-ка, мистер Грэхем, я открою вам один секрет. Мы, философы из «Мадроньевой рощи», люди, потерпевшие крушение в житейском море, заброшенные сюда, в эту тихую заводь, где мы живем щедротами Дика, мы составляем братство влюбленных. И у всех у нас одна дама сердца — маленькая хозяйка. Мы беспечно теряем дни в мечтах и беседах, мы не признаем ни бога, ни черта, ни родины, но мы все — рыцари маленькой хозяйки и дали обет верности ей.

— Мы готовы умереть за нее, — подтвердил Лео, медленно склоняя голову.

— Нет, мальчик, мы готовы жить для нее и сражаться за нее. Умереть — дело несложное.

Грэхем не пропустил ни слова из этого разговора. Юноша, конечно, ничего не понимал, но по глазам кельта, пристально смотревшим на Грэхема из-под копны седых волос, он понял, что тот все знает.

На лестнице раздались мужские голоса и шаги; в ту минуту, как входили Мартинес и Дар-Хиал, Терренс сказал:

— Говорят, что в Каталине отличная погода и тунец ловится превосходно.

А-Ха опять принес коктейли; у него было много дела, так как в это время подошли и Хэнкок с Фрейлигом.

Терренс пил смеси, которые китаец с неподвижным лицом подавал ему по своему выбору, пил и в то же время распространялся о вреде и мерзости пьянства, убеждая Лео не пить.

Вошел О-Дай, держа в руках записку и озираясь, кому бы ее отдать.

— Сюда, крылатый сын неба, — поманил его к себе Терренс.

— Это просьба, адресованная нам и составленная в подходящих случаю выражениях, — провозгласил он, заглянув в записку. — Дело в том, что приехали Лют и Эрнестина, и вот о чем они просят. Слушайте! — И он прочел: — «О благородные и славные олени! Две бедных смиренных и кротких лани одиноко блуждают в лесу и просят разрешения на самое короткое время посетить перед обедом стадо оленей на их пастбище».

— Метафоры допущены здесь самые разнородные, — сказал Терренс, — но все же девицы поступили совершенно правильно. Они знают закон Дика — и это хороший закон, — что никакие юбки в бильярдную не допускаются, разве только с единодушного согласия мужчин. Ну что ж, как думает ответить стадо оленей? Все, кто согласен, пусть скажут «да». Кто против? Принято. Беги, быстроногий О-Дай, и веди сюда этих дам.

— «В сандалях коронованных царей...» — начал Лео, выговаривая слова с благоговением и любовной бережностью.

— «Он будет попирать их ночи алтари», — подхватил Терренс. — Человек, написавший эти строки, — великий человек. Он друг Лео и друг Дика, я горжусь тем, что он и мой друг.

— А как хорош вот этот стих, — продолжал Лео, обращаясь к Грэхему, — из того же сонета! Послушайте, как это звучит: «Внемлите песне утренней звезды...» И дальше. — Голосом, замирающим от любви к прекрасному слову, юноша прочел: — «С умершей красотой на руках как он мечты грядущему вернет?»

Он смолк, ибо в комнату входили сестры Паолы, и робко поднялся, чтобы с ними поздороваться.

Обед в тот день прошел так же, как все обеды, на которых присутствовали мудрецы. Дик, по своему обычаю, яростно спорил, сцепившись с Аароном Хэнкоком из-за Бергсона, нападая на его метафизику с меткостью и беспощадностью реалиста.

— Ваш Бергсон не философ, а шарлатан, Аарон, — заключил Дик. — У него за спиной все тот же старый мешок колдуна, набитый всякими метафизическими штучками, только разукрашены они оборочками из новейших научных данных.

— Это верно, — согласился Терренс. — Бергсон — шарлатан мысли.

Вот почему он так популярен...

— Я отрицаю... — прервал его Хэнкок. — Подождите минутку, Аарон. У меня мелькнула одна мысль. Дайте мне ее удержать, пока она, подобно бабочке, не улетела в голубое небо. Дик поймал Бергсона с поличным, этот философ украл немало сокровищ из хранилища науки. Даже свою здоровую уверенность, он стащил у Дарвина — из его учения о том, что выживают самые приспособленные. А что он из этого сделал? Слегка обновил эту теорию прагматизмом Джемса, подсластил не гаснущей в сердце человека надеждой на то, что всякому суждено жить снова, и разукрасил идеей Ницше о том, что чаще всего к успеху ведет чрезмерность...

— Идеей Уайльда, хотите вы сказать, — поправила его Эрнестина.

— Видит бог, я выдал бы ее за свою, если бы не ваше присутствие, — вздохнул Терренс с поклоном в ее сторону. — Когда-нибудь антиквары мысли точно установят автора. Я лично нахожу, что эта идея отдает Мафусаилом. Но до того, как меня любезно прервали, я говорил...

— А кто грешит более задорной самоуверенностью, чем Дик? — вопрошал Аарон несколько позже; Паола кинула Грэхему многозначительный взгляд.

— Я только вчера смотрел табун годовалых жеребят; у меня и сейчас перед глазами эта прекрасная картина. И вот я спрашиваю: а кто делает настоящее дело?

— Возражение Хэнкока вполне основательно, — нерешительно заметил Мартинес. — Без элемента тайны мир был бы плоским и неинтересным. А Дик не признает никаких тайн.

— Ну уж нет, — возразил Терренс, заступаясь за Дика. — Я хорошо его знаю. Дик признает, что в мире есть тайны, но не такие, какими пугают детей. Для него не существует ни страшных бук, ни всей этой фантазмагии, с которой обычно носитеесь вы, романтики.

— Терренс понимает меня, — подтвердил Дик. — Мир всегда останется загадкой! Для меня человеческая совесть не большая загадка, чем химическая реакция, благодаря которой возникает обыкновенная вода. Согласитесь, что это тайна, и тогда все более сложные явления природы потеряют свою таинственность. Эта простая химическая реакция — вроде тех основных аксиом, на которых строится все здание геометрии. Материя и сила — вот вечные загадки вселенной, и они проявляют себя в загадке пространства и времени. Проявления не загадка; загадочны только их основы — материя и сила, да еще арена этих проявлений — пространство и время.

Дик замолчал и рассеянно посмотрел на бесстрастные лица А-Ха и О-Дая, стоявших с блюдами в руках как раз против него. «Их лица совершенно бесстрастны, — подумал он, — хотя я готов держать пари, что и они осведомлены о том, что так потрясло Ой-Ли».

— Вот видите, — торжествующе закончил Терренс. — Самое лучшее — то, что он никогда не становится вверх тормашками и не теряет равновесия. Он твердо стоит на крепкой земле, опираясь на законы и факты, и защищен от всяких заоблачных фантазий и нелепых бредней...

Никому в тот вечер — и за обедом и после — не пришло бы в голову, что Дик чем-то расстроен. Казалось, ему непременно хочется отпраздновать приезд Льют и Эрнестины; он не поддерживал тяжеловесного спора философов и изоцрялся во всевозможных каверзах и шутках. Паола заразилась его настроением и всячески помогала ему в его проделках.

Самой интересной оказалась игра в приветственный поцелуй. Все мужчины должны были подвергнуться ему. Грэхему была оказана честь — пройти испытание первому, и он мог потом наблюдать злоключения всех остальных, которых Дик по одному вводил со двора.

Хэнкок — Дик держал его за руку — дошел до середины комнаты, где Паола и ее две сестры стояли на стульях, подозрительно оглядел их и заявил, что хочет обойти стулья кругом. Однако он не заметил ничего особенного, кроме того, что на каждой была мужская фетровая шляпа.

— Ну что ж, по-моему, ничего, — заявил Хэнкок, остановившись перед ними и рассматривая их.

— Конечно, ничего, — уверил его Дик. — Так как эти женщины воплощают все самое прекрасное в нашем имении, то и должны подарить вам приветственный поцелуй. Выбирайте, Аарон.

Аарон, сделав крутой поворот, словно чуя какую-то каверзу за спиной, спросил:

— Все три должны поцеловать меня?

— Нет, вам полагается выбрать ту, которая вас поцелует.

— А те две, которых я не выберу, не сочтут это, дискриминацией? — попытывался Аарон.

— И усы не послужат препятствием? — был его следующий вопрос.

— Нисколько, — заверила его Льют. — Мне по крайней мере всегда хотелось знать, какое ощущение испытываешь, целуя черные усы.

— Спешите, спешите, сегодня здесь целуют философов, — заявила Эрнестина, — но только, пожалуйста, поторопитесь, остальные ждут. Меня



тоже должно сегодня поцеловать целое поле усатых колосьев.

— Ну, кого же вы выбираете? — настаивал Дик.

— Какой же может быть выбор! — бойко отозвался Хэнкок. — Конечно, я поцелую свою даму сердца, маленькую хозяйку.

Он поднял голову и вытянул губы, она наклонилась, и в тот же миг с полей ее шляпы хлынула ему в лицо ловко направленная струя воды.

Когда очередь дошла до Лео, он храбро выбрал

Паолу и чуть не испортил игру, благоговейно преклонив колено и поцеловав край ее платья.

— Это не годится, — заявила Эрнестина. — Поцелуй должен быть самый настоящий. Поднимите голову, чтобы вас могли поцеловать.

— Пусть последняя будет первой, поцелуйте меня, Лео, — попросила Льют, чтобы помочь ему в его замешательстве.

Он с благодарностью взглянул на нее и потянулся к ней, но недостаточно откинул голову, и струя воды полилась ему за воротник.

— А меня пусть поцелуют все три, — заявил Терренс; ему казалось, что он нашел выход из затруднительного положения. — И я трижды вкушу райское блаженство.

В благодарность за его любезность он получил на голову три струи воды.

Азарт и веселость Дика все возрастали. Всякий, глядя на то, как он ставит к створке двери Фрейлига и Мартинеса, чтобы измерить их рост и разрешить спор о том, кто выше, сказал бы, что нет сейчас на свете человека беззаботнее и спокойнее его.

— Колени вместе! Ноги прямо! Головы назад! — командовал он.

Когда их головы коснулись двери, с другой стороны раздался громовой удар, от которого они вздрогнули. Дверь распахнулась, и появилась Эрнестина, вооруженная палкой, которой бьют в гонг.

Затем Дик, держа в руке атласную туфельку на высоком каблуке и накрывшись с Терренсом простыней, учил его, к бурному восторгу остальных, игре в «Братца Боба». В это время появились еще Мэзоны и Уатсоны со всей своей уикенбергской свитой.

Дик немедленно потребовал, чтобы все вновь прибывшие молодые люди тоже получили приветственный поцелуй. Несмотря на восклицания и шум, который подняли полтора десятка здоровящихся людей, он ясно расслышал слова Лотти Мэзон: «О мистер Грэхем! А я думала, вы давно уехали».

И Дик, среди суеты, неизбежной при появлении такого множества людей, продолжав изображать из себя человека, которому

ужасно весело, зорко ловил те настороженные взгляды, какими женщины смотрят только на женщин. Спустя несколько минут он увидел, как Лотти Мэзон бросила украдкой именно такой вопрошающий взгляд на Паолу в ту минуту, когда та, стоя перед Грэхемом, что-то говорила ему.

«Нет еще, — решил Дик, — Лотти пока не знает. Но подозрение уже зародилось; и ничто, конечно, так не порадует ее женскую душу, как открытие, что безупречная, гордая Паола — такая же, как и все другие женщины, и у нее те же слабости».

Лотти Мэзон была высокая эффектная брюнетка лет двадцати пяти, бесспорно, красивая и, как Дику пришлось убедиться, бесспорно, очень смелая. В недалеком прошлом Дик, увлеченный и, надо признаться, ловко поощряемый ею, затеял с ней легкий флирт, в котором, впрочем, не зашел так далеко, как ей того хотелось. С его стороны ничего серьезного не было. Не дал он развиться и в ней серьезному чувству. Но, памятуя этот флирт, Дик был настороже, предполагая, что именно Лотти будет особенно следить за Паолой и что именно у нее, скорее чем у других дам, могут возникнуть кое-какие подозрения.

— О да, Грэхем превосходно танцует, — услышал Дик спустя полчаса голос Лотти Мэзон, говорившей с маленькой мисс Максуэлл. — Верно, Дик? — обратилась она к нему, глядя на него по-детски невинными глазами, но — он чувствовал это — в то же время внимательно наблюдая за ним.

— Кто? Грэхем? Ну еще бы! — ответил Дик спокойно и открыто. — Да, превосходно. А как вы думаете, не устроить ли нам танцы? Тогда мисс Максуэлл убедится на деле. Хотя здесь есть только одна дама ему под пару, с ней он может показать свое мастерство.

— Это, конечно, Паола? — сказала Лотти.

— Конечно, Паола. Ведь вы, молодежь, не умеете вальсировать. Да вам и научиться негде было.

Лотти вздернула хорошенький носик.

— Впрочем, может быть, вы и учились чуть-чуть, еще до того, как вошли в моду новые танцы, — извинился он. — Давайте я уговорю Ивэна и Паолу, а мы пойдем с вами, и я ручаюсь, что других пар не будет.

Вальсируя, он вдруг остановился и сказал:

— Пусть они танцуют одни. На них стоит полюбоваться.

Сияя от удовольствия, смотрел он, как Грэхем и его жена заканчивают танец, и чувствовал, что Лотти поглядывает на него сбоку и что ее подозрения рассеиваются.

Танцевать захотелось всем, и так как вечер был очень теплый. Дик

приказал открыть настежь большие двери во двор. То одна, то другая пара, танцуя, выплывала из комнаты, и танец продолжался под залитыми лунным светом аркадами; под конец туда перешли все пары.

— Он еще совсем мальчишка, — говорила Паола Грэхему, слушая, как Дик расхваливает всем и каждому достоинства своего нового фотоаппарата, снимающего при ночном освещении. — Аарон во время обеда укорял его за самоуверенность, и Терренс встал на его защиту. Дик за всю свою жизнь не пережил ни одной трагедии. Он ни разу не был в положении побежденного. Его самоуверенность всегда была оправдана. Как сказал Терренс, он всегда делал настоящее дело. Ведь он знает, бесспорно, знает — и все-таки совершенно уверен и в себе и во мне.

Когда Грэхем пошел танцевать с мисс Максуэлл, Паола продолжала размышлять о том же. В конце концов Дик не так уж страдает. Да этого и следовало ожидать. Ведь у него трезвый ум, он философ. Потеряв ее, он отнесся бы к этому так же безучастно, как к потере Горца, к смерти Джереми Брэкстона или к затоплению рудников. «Довольно трудно, — говорила она себе с улыбкой, — испытывать горячее влечение к Грэхему и быть замужем за таким философом, который палец о палец не ударит, чтобы удержать тебя». И она снова должна была признать, что Грэхем тем и обаятелен, что он так пылок, так человечен. Это сближало их. Даже в расцвете их романа с Диком в Париже он не вызывал в ней такого пламенного чувства. Правда, он был замечательным возлюбленным — с его даром находить для любви особые слова, с его любовными песнями, приводившими ее в такое восхищение, — но это было все же не то, что она теперь испытывала к Грэхему и что Грэхем, наверное, испытывал к ней. Кроме того, в те давние времена, когда Дик так внезапно завладел ее сердцем, она была еще молода и неопытна в вопросах любви.

От этих мыслей все более ожесточалось ее сердце по отношению к мужу и разгоралась страсть к Грэхему. Толпа гостей, веселье, возбуждение, близость и нежные касания при танцах, теплота летнего вечера, лунный свет и запах ночных цветов волновали ее все глубже и сильнее, и она жаждала протанцевать хотя бы еще один танец с Грэхемом.

— Нет, магний не нужен, — говорил Дик. — Это — немецкое изобретение. Достаточно выдержки в полминуты при обычном освещении. Самое удобное то, что можно сейчас же проявить пластинку. А недостаток тот, что нельзя печатать прямо с пластинки.

— Но если снимок удачен, можно с этой пластинки переснять на обычную и с нее печатать, — заметила Эрнестина.

Она уже видела эту свернувшуюся в камере огромную змею в двадцать

футов, которая при нажиме на баллончик тотчас выскакивала, словно чертик из ящика. Многие из присутствующих тоже видели аппарат и просили Дика сходить за ним и сделать опыт.

Он отсутствовал дольше, чем предполагал, так как Бонбrait оставил на его столе несколько телеграмм, касающихся положения в Мексике, и на них нужно было немедленно ответить. Наконец, взяв аппарат, Дик вернулся к гостям кратчайшей дорогой, через дом и двор. Танцующие под аркадами пары постепенно скрывались в зале, и, прислонившись к одной из колонн. Дик смотрел, как они проходят мимо него. Последними были Паола и Ивэн, они прошли так близко, что он мог бы, протянув руку, до них дотронуться. Но, хотя свет месяца и падал прямо на него, они его не видели. Они не отрываясь смотрели друг на друга.

Предпоследняя пара была уже в доме, и музыка смолкла. Паола и Грэхем остановились, и он только хотел предложить ей руку и тоже отвести в комнаты, как она вдруг прижалась к нему в неудержимом порыве. Из чисто мужской осторожности он сначала слегка отклонился, но она обхватила его шею рукой и притянула к себе для поцелуя. Это была внезапная: и неудержимая вспышка страсти. Через мгновение Паола, взяв его под руку, уже входила в дом, и до Дика донесся ее веселый и непринужденный смех.

Дик ухватился за колонну, держась за нее, скользнул вниз и сел на каменные плиты. Он задыхался. Сердце стучало, словно хотело выскочить из груди, он ловил губами воздух. А проклятое сердце металось, билось в горле, душило его. Ему казалось, что оно уже во рту, он жует его и глотает вместе с освежающим воздухом. Вдруг он почувствовал озноб, а затем весь покрылся потом.

— Слыхано ли, чтобы у кого-нибудь из Форрестов были болезни сердца? — пробормотал он, все еще сидя на земле, прислонясь к колонне и вытирая мокрое от пота лицо. Его рука дрожала, болезненный трепет сердца вызывал легкую тошноту.

Если бы Грэхем поцеловал ее, это еще куда ни шло, размышлял он. Но Паола сама поцеловала Грэхема. Значит — любовь, страсть. Он сам теперь убедился; и когда эта картина вновь встала перед его глазами, сердце опять сжалось и удушье подступило к горлу. Сделав огромное усилие, он наконец овладел собой и встал на ноги.

«Честное слово, оно было у меня во рту, и я жевал его, — подумал он о своем сердце. — Да, жевал».

Возвращаясь в обход через двор, он с веселым лицом — так ему казалось — вошел в ярко освещенную комнату, держа в руках аппарат, и

был очень удивлен тем, как его встретили.

— Что с вами? Вас напугало привидение? — спросила Льют.

— Вы больны? Что случилось? — засыпали его вопросами остальные.

— Да в чем дело? — удивился он в свою очередь.

— Ваше лицо... на вас лица нет! — воскликнула Эрнестина. — Что случилось?

Озираясь с удивлением, он тут же заметил, что Лотти Мэзон бросила быстрый взгляд на Грэхема и Паолу и что Эрнестина перехватила этот взгляд и, последовав за ним, сама украдкой посмотрела на обоих.

— Да, — солгал он. — Я получил тяжелую весть. Только что. Джереми Брэкстон умер. Убит. Мексиканцы поймали его, когда он хотел бежать в Аризону.

— Старик Джереми! Царство ему небесное! Какой был хороший человек! — сказал Терренс, взяв Дика под руку. — Пойдемте, дружок, вам необходимо подкрепиться, я вас провожу.

— Да нет, теперь все прошло, — улыбнулся Дик, тряхнув плечами, и решительно выпрямился. — В первую минуту это меня действительно сразило. Я не сомневался, что Джереми так или иначе выпутается из всей этой истории. Но пеоны поймали его и двух инженеров. Они оказали отчаянное сопротивление. Засели под скалой и целые сутки отстреливались от отряда в пятьсот человек. Тогда мексиканцы забросали их сверху динамитными шашками. Да, всякая плоть — только трава, и прошлогодняя трава не оживает. Ваше предложение, Терренс, мудрое предложение. Ведите меня.

Сделав несколько шагов, он обернулся и сказал через плечо:

— Пусть это не расстраивает веселья. Я сейчас вернусь и сниму всю группу. А ты, Эрнестина, пока рассади их и дай самый сильный свет.

На другом конце комнаты Терренс открыл вделанный в стену поставец и вынул стаканы. Дик зажег стенную лампочку и принялся рассматривать свое лицо в зеркальце, вделанное в одну из дверей поставца.

— По-моему, теперь ничего, — сказал он. — Все в порядке. Лицо как лицо.

— Это только так, мимолетная тень набежала, — согласился с ним Терренс, наливая виски в стаканы. — Имеет же человек право расстроиться, потеряв старого друга.

Они чокнулись и выпили в молчании.

— Еще, — сказал Дик, протягивая стакан.

— Скажите, когда хватит. — И ирландец стал спокойно следить, как поднимается в стакане уровень жидкости.

Дик ждал, пока она дойдет до половины.

Они снова чокнулись и снова выпили, глядя друг другу в глаза, и Дик почувствовал горячую благодарность к Терренсу за ту беззаветную преданность, которую прочел в его взгляде.

А в это время посреди холла Эрнестина рассаживала группу для съемки и старалась угадать по лицам Паолы, Грэхема и Лотти хоть что-нибудь из того, что она бессознательно чуяла. «Почему Лотти так пристально посмотрела на Паолу и Грэхема? — спрашивала себя Эрнестина. — Да и с Паолой происходит что-то необычное. Она, видимо, расстроена, встревожена, но весть о смерти Брэкстона тут как будто ни при чем».

По лицу Грэхема нельзя было ничего узнать. Он держался как всегда и ужасно смешил мисс Максвелл и миссис Уатсон.

Да, Паола была расстроена: что случилось? Почему Дик солгал? Он же знал о смерти Джереми Брэкстона еще два дня назад. И никогда известие о чьей-либо смерти так не потрясло его! Уж не выпил ли он лишнее? За время их супружества она несколько раз видела его пьяным. Но алкоголь на него не действовал; вино только придавало блеск его глазам, развязывало язык, он с увлечением придумывал всякие проказы и импровизировал песни. Может быть, он успел напиться с этим несокрушимым Терренсом в бильярдной? Она застала их там всех перед обедом. Истинная причина его волнения не приходила ей в голову просто потому, что всякое шпионство было ему чуждо.

Дик вернулся. Смеясь от души какой-то шутке Терренса, он подозревал Грэхема и заставил «мудреца» повторить ее. Когда все трое всласть посмеялись, Дик приготовился снимать группу. Камера, раздвигаясь, точно выстрелила, женщины испуганно вскрикнули, и все это окончательно рассеяло остатки мрачного настроения, особенно когда хозяин дома предложил игру в земляные орехи. Игра состояла в том, кто за пять минут на конце столового ножа, от стула к столу, поставленных на расстоянии двенадцати ярдов, перенесет больше земляных орехов. Показав, как это делается, Дик выбрал своим партнером Паолу и вызвал на состязание решительно всех, не исключая уикенбержцев и обитателей «Мадроньевой рощи». Много коробок конфет было выиграно и проиграно! В конце концов Дик и Паола взяли верх над Грэхемом и Эрнестиной — парой, занявшей второе место. От Дика стали требовать, чтобы он произнес речь; нет, лучше пусть споет песню о земляном орехе. Дик тут же стал импровизировать в чисто индейской манере, при этом он отбивал такт, подпрыгивая на нестигающихся ногах и хлопая себя по бедрам.

— Я — Дик Форрест, сын «Счастливого» Ричарда, сына Джонатана Пуританина, сына Джона, моряка-скаута, каким был и его отец Альберт, сын Мортимера, пирата и кандалника, умершего без отпущения грехов.

Я последний из рода Форрестов и первый из носящих земляные орехи. Немврод и Сэндау предо мной ничто. Я ношу земляные орехи на конце ножа, серебряного ножа. В земляных орехах сидит сам дьявол. Я ношу орехи легко и грациозно. Я ношу их очень много. Еще не вырос тот орех, который бы победил меня.

Орехи катятся. Орехи катятся. Но я, как Атлас, поддерживающий мир, не даю им упасть. Не каждый может носить земляные орехи. У меня талант от бога. Это большое искусство. Орехи катятся. Орехи катятся, и я вечно буду носить их.

Аарон — философ, где ему носить орехи! Эрнестина — блондинка. Блондинки не могут носить земляные орехи. Ивэн — спортсмен. Он их роняет. Паола — мой партнер, она их не может удержать. Только я, я один, милостью божьей и силой собственной мудрости, могу носить земляные орехи.

Если кому надоела моя песнь, бросьте в меня тяжелым предметом. Я горд. Я неутомим. Я могу петь до скончания века. И я буду петь до скончания века.

Здесь начинается вторая песнь: если я умру, похороните меня в куче земляных орехов. Но пока я жив...

На Дика, как и следовало ожидать, обрушилась груда диванных подушек и прервала его песнь, но не укротила его буйной веселости; минуту спустя он уже шептался в углу с Лотти Мэзон и Паолой, затеяв с ними тайный заговор против Терренса.

Так, среди танцев, смеха и шуток, проходил этот вечер. В полночь подали ужин, и уикенбергские гости начали прощаться только около двух часов утра. Пока они собирались, Паола предложила совершить на следующий день поездку к реке Сакраменто, чтобы осмотреть посадки риса на опытном поле Дика.

— Я имел в виду другое, — сказал Дик. — Ты знаешь горные пастбища над Сайкамор-Крик? За последние десять дней там зарезаны три ярки.

— Пумы? — воскликнула Паола.

— Их по меньшей мере две... Наверное, забрели с севера, — обратился он к Грэхему. — С ними это иногда бывает. Мы трех убили лет пять тому назад. Мосс и Хартли будут ждать нас там с собаками. Они выследили двух. Что вы скажете, если отправиться туда всем вместе?

Выедем сейчас же после завтрака.

— Можно мне взять Молли? — спросила Льют.

— А ты возьмешь Альтадену, — сказала Паола Эрнестине.

Лошади были быстро распределены. Фрейлиг и Мартинес также согласились принять участие в охоте, заявив, впрочем, что ездят верхом они очень плохо и еще хуже стреляют.

Все вышли проводить уинкенбержцев и, когда машины укатили, постояли немного на дворе, сговариваясь относительно завтрашней охоты.

— Ну, спокойной ночи, — сказал Дик, когда все вошли в дом. — Прежде чем ложиться, я пойду еще взгляну на старуху Бесси. Хеннесси сидит при ней. Помните же, девочки, являться к завтраку в амазонках и ни в коем случае не опаздывать.

Престарелая мать Принцессы была очень плоха, но в другое время Дик, конечно, не пошел бы навещать ее в столь поздний час, — ему хотелось побыть одному, и он боялся остаться с глазу на глаз с Паолой после того, чему он так недавно был свидетелем.

Легкие шаги по гравии заставили его обернуться. Эрнестина догнала его и взяла под руку.

— Бедная старушка Бесси, — сказала она. — Мне тоже хотелось бы провести ее.

Дик, продолжая взятую на себя роль, начал припоминать всякие смешные случаи, происходившие в тот вечер, смеялся, шутил и казался очень веселым.

— Дик, — сказала Эрнестина, когда он наконец замолчал. — У вас какое-то горе. — Она почувствовала, что он вдруг замкнулся, и торопливо продолжала: — Я очень хочу вам помочь! Вы же знаете, что можете на меня положиться. Скажите мне.

— Да, я скажу, — отвечал он. — Но скажу только одно. — Она благодарно сжала его локоть. — Завтра вы получите телеграмму, срочную; ничего слишком серьезного. Но ты и Льют соберетесь и укатите как можно скорее.

— И все? — спросила она разочарованно.

— Вы мне сделаете этим большое одолжение.

— Вы даже поговорить со мной не хотите? — возмутилась она, огорченная его отказом.

— Телеграмма придет в такое время, что застанет вас еще в постели. А теперь нечего тебе ходить к Бесси. Беги домой. Спокойной ночи.

Он поцеловал ее, ласково толкнул в сторону дома и пошел своей дорогой.



## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Возвращаясь от больной кобылы. Дик остановился и прислушался: в конюшне для жеребцов беспокойно переступали с ноги на ногу Горец и другие лошади. Среди тишины откуда-то с гор, где пасся скот, донеслось одинокое позванивание колокольчика. Легкий ветерок внезапно дохнул Дику в лицо струей благовонного тепла. Ночь была напоена легким душистым запахом зреющих хлебов и сена. Жеребцы опять затопали, и Дик, глубоко вздохнув, почувствовал, что никогда, кажется, еще так не любил всего этого; он поднял глаза и обвел взором весь звездный горизонт, местами заслоненный горными вершинами.

— Нет, Катон, — произнес он вслух. — С тобой нельзя согласиться. Человек не уходит из жизни, как из харчевни. Он уходит из нее, как из своего дома — единственного, который ему принадлежит. Он уходит... в никуда. Спокойной ночи! Перед ним бесшумно встает Безноса — и все.

Он хотел идти дальше, но снова топотание жеребцов задержало его, а в горах опять зазвенел колокольчик. Расширив ноздри. Дик глубоко вдохнул душистый воздух и почувствовал, что любит и этот воздух, и усадьбу, и пашни, ибо все это создание его рук.

— «Я смотрел в глубину времен и там себя не находил, — процитировал он и затем, улыбнувшись, добавил: — Она мне подарила девять сыновей, а остальные девять были дочери».

Подойдя к дому, он постоял с минуту, любясь его широкими, смелыми очертаниями. Войдя, Дик тоже не сразу отправился на свою половину, — вместо этого он пошел бродить по пустым тихим комнатам, дворам и длинным, чуть освещенным галереям. Дик чувствовал себя, как человек, отправляющийся в дальнее путешествие. Он зажег свет в волшебном дворике Паолы, уселся в римское мраморное кресло и, обдумывая свои планы, выкурил сигарету.

О, он сделает все очень ловко. На охоте может произойти такой «несчастный случай», который обманет решительно всех. Уж он не промахнется, нет! Пусть это произойдет завтра в лесах над Сайкамор-Крик. Дедушка Джонатан Форрест, суровый пуританин, погиб же на охоте от несчастного случая... Впервые на Дика нашло сомнение. Но, если это не было случайностью, старик, надо отдать ему справедливость, подстроил все очень ловко. В семье никогда даже и разговора не было о том, что здесь могло быть нечто большее, чем несчастный случай.

Коснувшись пальцем выключателя. Дик помедлил еще с минуту, чтобы в последний раз взглянуть на мраморных младенцев, игравших в воде фонтана и среди роз.

— Вы, вечно юные, прощайте, — тихо сказал он, обращаясь к ним. — Только вас я и породил.

Со своей спальной веранды он посмотрел на спальню Паолы, по ту сторону широкого двора. Там было темно. Может быть, она спала.

Он опомнился от своих мыслей и увидел себя сидящим на краю кровати в одном расшнурованном ботинке; улыбнувшись своей рассеянности, он опять зашнуровал его. Зачем ему ложиться спать? Уже четыре часа утра. По крайней мере он в последний раз полюбуется солнечным восходом. Теперь многое будет у него в последний раз. Вот он и оделся в последний раз. И вчерашняя утренняя ванна была последней. Разве чистая вода может остановить посмертное тление? Но побриться все-таки придется. Последняя дань земной суетности. Ведь после смерти волосы продолжают некоторое время расти.

Он вынул из вделанного в стену несгораемого шкафа свое завещание, положил перед собой на стол и внимательно прочел. Ему пришли в голову разные мелкие дополнения, и он вписал их от руки, предусмотрительно поставив дату на полгода раньше. Последняя приписка обеспечивала общину мудрецов в составе семи человек.

Он просмотрел свои страховые полисы и в каждом с особым вниманием прочел параграфы о дозволенном самоубийстве. Подписал письма, ожидавшие его с прошлого утра, и продиктовал в диктофон письмо своему издателю. Очистив стол, он наскоро подсчитал актив и пассив, сбросив с актива затопленные рудники; этот баланс он тут же заменил другим, максимально увеличив расходы и до смешного сократив доходы. Все же результат получился удовлетворительный.

Затем он разорвал исписанные цифрами листки и набросал план того, какую следует, по его мнению, вести линию в отношении мексиканских рудников. Он набросал этот план небрежно, в общих чертах, чтобы, когда записку найдут среди бумаг, она не возбудила подозрений. Таким же образом он составил на несколько лет вперед программу улучшения породы широв, а также внутривидового скрещивания для Горца, Принцессы и лучших экземпляров их потомства.

Когда в шесть часов О-Дай принес кофе. Дик излагал последний пункт своего проекта рисовых плантаций:

«Хотя итальянский рис и вырастает скорее и поэтому особенно подходит для опытов, — писал он, — я буду некоторое время засеивать поля

в одинаковых пропорциях сортами моти, йоко и уотерибюн; ввиду того, что они созревают в разное время, это даст возможность при тех же рабочих, машинах и тех же накладных расходах обрабатывать большую площадь, чем при посадке одного сорта».

О-Дай поставил кофе на стол, ничем не выразив своего удивления — даже после того, как взглянул на явно не тронутую постель. И Дик не мог не восхититься его выдержкой.

В шесть тридцать зазвонил телефон, и он услышал утомленный голос Хеннесси, говорившего:

— Я знаю, что вы уже встали, и хочу сообщить вам радостную весть: старуха Бесси выживет. Хотя ей было здорово плохо. Пойду теперь сосну.

Побрившись, Дик постоял перед душем, и лицо его омрачилось: «На кой черт, все равно только потеря времени!» Однако он переобулся, надев более тяжелые ботинки с высокой шнуровкой, — они были удобнее для охоты.

Он опять сидел за столом и просматривал свои заметки в блокнотах, готовясь к утренней работе, когда услышал шаги Паолы. Она не приветствовала его обычным: «С добрым утром, веселый Дик», но подошла совсем близко и мягко проговорила:

— Сеятель желудей! Всегда неутомимое, всегда бодрое Багряное Облако!

Вставая и стараясь к ней не прикоснуться, он заметил темные тени у нее под глазами. Она тоже избегала прикосновений.

— Опять «белая ночь»? — спросил он, придвигая ей стул.

— Да, «белая ночь», — отозвалась Паола. — Ни одной минуты сна; а уж как я старалась!

Обоим было трудно говорить, и вместе с тем они не могли отвести глаз друг от друга.

— Ты... выглядишь неважно.

— Да, лицо у меня не того... — кивнул он. — Я смотрел на себя, когда брился, это вчерашнее выражение с него не сходит.

— Что-то с тобой вчера вечером случилось, — робко сказала она, и Дик ясно прочел в ее глазах то же страдание, какое он видел в глазах Ой-Ли. — Все обратили внимание на твое лицо. Что с тобой?

Он пожал плечами.

— Это выражение появилось уже с некоторых пор, — уклонился он от ответа, вспоминая, что первый намек он заметил на портрете, который писала Паола. — Ты тоже заметила? — спросил он.

Она кивнула. Вдруг ей пришла в голову новая мысль. Он прочел эту

мысль на ее лице, прежде чем Паола успела выговорить ее вслух:

— Дик, может быть, ты влюбился? Это был бы выход. Это разрешило бы все недоразумения. На лице ее отразилась надежда.

Он медленно покачал головой и улыбнулся: он видел, как она разочарована.

— Впрочем, да, — сказал он. — Да! Влюбился!

— Влюбился? — Паола обрадовалась, когда он ответил: «Влюбился».

Она не ожидала того, что за этим последует. Он встал, резким движением пододвинул к ней свой стул — так близко, что коснулся коленями ее колен, и, наклонившись к ней, быстро, но бережно взял ее руки в свои.

— Не пугайся, моя птичка, — ответил он. — Я не буду тебя целовать. Я уже давно тебя не целовал. Я просто хочу рассказать тебе об этой влюбленности. Но раньше я хочу сказать, как я горд, как я горжусь собой. Горжусь тем, что я влюблен. В мои годы — и влюблен! Это невероятно, удивительно. И как люблю! Какой я странный, необыкновенный и вместе с тем замечательный любовник! Я живое опровержение всех книг и всех биологических теорий. Оказывается, я однолюб. И я люблю единственную женщину. После двенадцати лет обладания — люблю ее безумно, нежно и безумно!

Руки Паолы невольно выразили ее разочарование, она сделала легкое движение, чтобы освободить их; но он сжал их еще крепче.

— Я знаю все ее слабости — и люблю ее всю, со всеми слабостями и совершенствами, люблю так же безумно, как в первые дни, как в те сумасшедшие мгновения, когда впервые держал ее в своих объятиях.

Ее руки все настойчивее старались вырваться из плена, она бессознательно тянула их к себе и выдергивала, чтобы наконец освободить. В ее взоре появился страх. Он знал ее щепетильность и догадывался, что после того, как к ее губам так недавно прижимались губы другого, она не могла не бояться с его стороны еще более пылких проявлений любви.

— Пожалуйста, прошу тебя, не пугайся, робкая, прелестная, гордая птичка. Смотри — я отпускаю тебя на волю. Знай, что я горячо люблю тебя и что все это время считаюсь с тобой не меньше, чем с собой, и даже гораздо больше.

Он отодвинул свой стул, откинулся на его спинку и увидел, что ее взгляд стал доверчивее.

— Я открою тебе все мое сердце, — продолжал он, — и хочу, чтобы и ты открыла мне свое.

— Эта любовь ко мне что-то совсем новое? — спросила она. —

Рецидив?

— И так и не так!

— Я думала, что давно уж стала для тебя только привычкой...

— Я любил тебя все время.

— Но не безумно.

— Нет, — сознался он, — но с уверенностью. Я был так уверен в тебе, в себе. Это было для меня нечто постоянное и раз навсегда решенное. И тут я виноват. Но когда уверенность пошатнулась, вся моя любовь к тебе вспыхнула сызнова. Она жила в течение всего нашего брака, но это было ровное, постоянное пламя.

— А как же я? — спросила она.

— Сейчас дойдем и до тебя. Я знаю, что тебя тревожит и сейчас и несколько минут назад. Ты глубоко правдива и честна, и одна мысль о том, чтобы делить себя между двумя мужчинами, для тебя ужасна. Я понял тебя. Ты уже давно не позволяешь мне ни одного любовного прикосновения. — Он пожал плечами. — И я с того времени не стремился к ним.

— Значит, ты все-таки знал? С первой минуты? — поспешно спросила она.

Дик кивнул.

— Может быть, — произнес он, словно взвешивая свои слова, — может быть, я уже ощущал то, что надвигалось, даже раньше, чем ты сама поняла. Но не будем вдаваться в это...

— И ты видел... — решила она спросить и смолкла от стыда при мысли, что муж мог быть свидетелем их ласк.

— Не будем унижать себя подробностями, Паола.

Кроме того, ничего дурного в этом не было и нет. Да мне и видеть было незачем. Я сам помню поцелуи, украденные тайком в короткие миги темноты, помимо прощаний на глазах у всех. Когда все признаки созревшего чувства налицо, нежные оттенки и любовные нотки в голосе не могут быть скрыты, так же как бессознательная ласка встретившихся взглядов, произвольная мягкость интонаций, перехваченное волнением дыхание... и тогда совершенно не нужно видеть поцелуй перед прощанием на ночь. Он неизбежен. И помни на будущее, моя любимая, что я тебя во всем оправдываю.

— Но... но ведь было... все-таки очень немного, — пробормотала она.

— Я крайне удивился бы, если бы было больше. Ты не такая. Я удивляюсь и немногому. После двенадцати лет... разве можно было ожидать...

— Дик, — прервала его Паола, наклонясь к нему и пытливо глядя на него. Она приостановилась, ища слов, затем решительно продолжала: — Скажи, неужели за эти двенадцать лет у тебя не было большего?

— Я уже сказал тебе, что во всем тебя оправдываю, — уклонился он от прямого ответа.

— Но ты не ответил на мой вопрос, — настаивала она. — О, я имею в виду не мимолетный флирт или легкое ухаживание. Я имею в виду неверность в самом точном смысле слова. Ведь это в прошлом было?

— В прошлом — было, но очень редко и очень-очень давно.

— Я много раз думала об этом, — заметила она.

— Я же сказал тебе, что во всем тебя оправдываю, — повторил Дик. — И теперь ты знаешь, почему.

— Значит, и я имела право на то же... Впрочем, нет, нет. Дик, не имела, — поспешно добавила она. — Во всяком случае, ты всегда проповедовал равенство мужчины и женщины.

— Увы, больше не проповедую, — улыбнулся он. — Воображение человека — это такая сила! И я за последнее время принужден был изменить свои взгляды.

— Значит, ты хочешь, чтобы я была тебе верна? Он кивнул и сказал:

— Пока ты живешь со мной.

— Но где же тут равенство?

— Никакого равенства нет, — покачал он головой. — О, да, про меня можно сказать, что я сам не знаю, чего хочу. Но только теперь — увы, слишком поздно — я открыл ту древнюю истину, что женщины — иные, чем мы, мужчины. Все, чему меня научили книги и теории, рассыпается в прах перед тем вечным фактом, что женщина — мать наших детей... Я... я, видишь ли, до сих пор надеялся, что у нас с тобой будут дети... Но теперь, конечно, не о чем и говорить. Вопрос теперь в том, каковы твои чувства. Свое сердце я открыл тебе. А потом уже будем решать, что нам делать.

— О Дик, — едва проговорила она, когда молчание стало слишком тягостным. — Но я же люблю тебя, я всегда буду любить тебя. Ты мое Багряное Облако. Знаешь, еще вчера я была на твоей веранде и повернула свою карточку лицом к стене. Это было ужасно. И что-то в этом было недоброе. И я опять скорей-скорей перевернула ее.

Он закурил сигарету и ждал.

— Но ты не открыла мне свое сердце, ты не все сказала, — заметил он наконец с мягким упреком.

— Я люблю тебя, — повторила она.

— А Ивэна?

— Это совсем другое. Ужасно, что приходится так с тобой говорить. Кроме того, я даже не знаю! Я никак не могу понять своих чувств...

— Что же это — любовь? Или только любовный эпизод? Одно из двух. Паола покачала головой.

— Пойми же, — продолжала она, — что я сама себя не понимаю! Видишь ли, я женщина. Мне не пришлось «перебеситься», как вы, мужчины, выражаетесь. А теперь, когда это случилось, я не знаю, что мне делать. Должно быть. Шоу и другие правы! Женщина — хищница. А вы оба — крупная дичь. Я ничего не могла с собой поделать. Во мне проснулся какой-то задор. Я сама для себя загадка. То, что со мной произошло, не вяжется с моими взглядами и убеждениями. Мне нужен ты и нужен Ивэн — нужны вы оба. О, поверь мне, это не любовный эпизод. А если даже так, то я этого не сознаю! Нет, нет, это не то! Я знаю, что не то.

— Значит, любовь?

— Но я люблю тебя. Багряное Облако! Тебя!

— А говоришь, что любишь его. Ты не можешь любить нас обоих.

— Оказывается, могу. И люблю. Я люблю вас обоих. Ведь я говорю с тобой по-честному и хочу, чтобы все было ясно. Нужно" найти выход... я надеялась, ты поможешь мне. Ради этого я к тебе и пришла. Должен же быть какой-то выход...

Она посмотрела на него умоляюще. Он сказал:

— Одно из двух — или он, или я. Другого выхода я не вижу.

— И он то же самое говорит. А я не могу согласиться. Он хотел непременно идти сразу к тебе, но я ему не позволила. Он хотел уехать, а я все удерживала его здесь, как ни тяжело это для вас обоих: я хотела видеть вас вместе, хотела сравнить и оценить вас в своем сердце. Это ни к чему не привело. Вы мне нужны оба. Я не могу отказаться ни от тебя, ни от него.

— К сожалению, как ты сама видишь, — начал Дик, и в глазах его невольно блеснула усмешка, — если у тебя, может быть, и есть склонность к многомужеству, то мы, глупые мужчины, не можем примириться с таким решением.

— Не будь жестоким. Дик, — запротестовала она.

— Прости. Я не хотел этого. Просто мне очень больно, и это своего рода неудачная попытка нести свое горе с философским мужеством.

— Я говорила ему, что из всех мужчин, каких я встречала, он один равен моему мужу, но мой муж все же больше его.

— Что ж, ты хотела быть лояльной по отношению ко мне и к себе самой, — сказал Дик. — Ты была моей до той минуты, как я перестал быть для тебя самым замечательным человеком на свете. Тогда он стал самым

замечательным.

Она покачала головой.

— Хочешь, я помогу тебе все это распутать! — продолжал он. — Ты не знаешь ни себя, ни своих желаний? И ты не можешь выбрать между нами, потому что тебе нужны оба?

— Да, — прошептала она. — Но вы нужны мне поразному.

— В таком случае, все ясно, — отрезал он.

— Что ты хочешь сказать?

— А вот что, Паола. Я проиграл, Грэхем выиграл. Разве ты не видишь? Ты сама говоришь, что наши шансы равны, равны и не больше, хотя у меня, казалось бы, есть преимущество перед ним, это преимущество — двенадцать лет нашей любви, наши узы, наши чувства и воспоминания. Боже мой! Если бы все это положить на его чашу весов, разве ты сомневалась бы хоть минуту! Первый раз в жизни любовь тебя так захватила, и произошло это довольно поздно, вот почему тебе трудно разобраться.

— Но, Дик, ведь и чувство к тебе захватило меня.

Он покачал головой.

— Мне всегда хотелось так думать, иногда я даже этому верил, но никогда не верил вполне. Со мной ты никогда не теряла голову, даже вначале, когда нас обоих крутил какой-то вихрь. Может быть, ты и была очарована, но разве ты безумствовала, как я, разве пылала страстью? Я первый полюбил тебя...

— И как ты умел любить меня...

— Я полюбил тебя, Паола; и хотя ты отвечала мне, твое чувство было иным, чем мое: ты никогда не теряла голову. А с Ивэном, видно, теряешь.

— Как мне хотелось бы знать наверное, — задумчиво проговорила она. — Иногда мне кажется, что так оно и есть, а потом я опять сомневаюсь. То и другое несовместимо. Может быть, ни один мужчина не способен полностью захватить меня... а ты ни чуточки не хочешь мне помочь!

— Только ты, ты одна можешь все разрешить, Паола, — сказал он строго.

— Но помоги мне, ну хоть немного! Ты даже не стараешься удержать меня! — настаивала она.

— Я бессилен. У меня руки связаны. Я не могу сделать ни одного движения, чтобы удержать тебя. Ты не можешь делить себя между двоими. Ты была в его объятиях... — Он движением руки остановил ее возражения. — Пожалуйста, прошу тебя, любимая, не надо... Ты была в его



объятиях — и ты трепещешь, как испуганная птичка, при одной мысли, что я могу приласкать тебя. Разве ты не видишь? Твои поступки решают вопрос не в мою пользу. Тело твое избрало другого. Его объятия ты переносишь. А одна мысль о моих тебя отталкивает.

Она медленно, но убежденно покачала головой.

— И все-таки я не знаю, не могу решить, — настаивала она.

— Но ты должна! Создавшееся положение нестерпимо, и надо что-то предпринять, потому что Ивэну пора ехать. Понимаешь? Или уезжай ты. Вы оба здесь оставаться не можете. Не спеши. Обдумай все. Отошли Ивэна. Или поезжай, скажем, на некоторое время погостить к тете Марте. Вдали от нас обоих тебе, может быть, все станет яснее. Не отменить ли сегодняшнюю охоту? Я отправлюсь один, а ты оставайся и поговори с Ивэном. Или поезжай и переговори с ним по дороге. Так или иначе — я вернусь домой очень поздно. Может быть, я переночую в хижине у одного из гуртовщиков. Но когда я вернусь, пусть Ивэна уже здесь не будет. Уедешь ты с ним или нет — это тоже должно быть решено к моему возвращению.

— А если бы я уехала? — спросила она.

Он пожал плечами, встал и посмотрел на свои часы.

— Я послал сказать Блэйку, чтобы он сегодня явился пораньше, — пояснил Дик, делая шаг к двери и как бы приглашая ее удалиться.

На пороге она остановилась и прижалась к нему.

— Поцелуй меня. Дик, — сказала она и добавила: — Это не то, не любовный поцелуй... — Ее голос вдруг упал. — На случай, если бы я... решила уехать...

Секретарь уже шел по коридору, но Паола медлила.

— С добрым утром, мистер Блэйк, — приветствовал его Дик. — Очень жалею, что пришлось вас потревожить так рано. Прежде всего, будьте добры, протелефонируйте мистеру Эгеру и мистеру Питтсу: я не могу повидаться с ними сегодня утром. И всех остальных перенесите на завтра. Мистеру Хэнли скажите, что я вполне одобряю его план относительно Быокэйской плотины, — пусть действует решительно. С мистером Менденхоллом и мистером Мэнсоном я все-таки повидаюсь сегодня. Скажите, что я жду их в девять тридцать.

— Еще одно. Дик... — прервала его Паола. — Не забудь, что это я заставила его остаться. Он остался не по своей вине, не по своей воле. Это я его не отпускала.

— Ивэн действительно потерял голову, — улыбнулся Дик. — Судя по

тому, что я о нем знаю, трудно было понять, как это он тут же не уехал при подобных обстоятельствах. Но раз ты не отпускала его, а он потерял голову, как только может потерять голову человек от такой женщины, как ты, то мне все понятно. Он больше, чем просто порядочный человек. Таких не часто встретишь. И он даст тебе счастье...

Она подняла руку, как бы желая остановить его.

— Не знаю, могу ли я еще быть счастлива в жизни, Багряное Облако. Когда я вижу, какое у тебя стало лицо... И потом — ведь я же была счастлива и довольна все эти двенадцать лет... Этого мне никогда не забыть. Вот почему я не в состоянии сделать выбор. Но ты прав. Настало время, когда мне пора разрешить этот... — она запнулась, он угадывал, что она не может заставить себя произнести слово «треугольник», — распутать этот узел, — dokonчила она, и голос ее дрогнул. — Мы все поедem на охоту. А дорогой я поговорю с ним и попрошу его уехать, независимо от того, как сама поступлю потом.

— Я бы на твоem месте не торопился с решением, — сказал Дик. — Ты знаешь, я равнодушен к морали и признаю ее, только когда она полезна. Но в данном случае она может быть очень полезна. У вас могут быть дети... Нет, нет, пожалуйста, не возражай, — остановил он ее. — А в таких случаях всякие пересуды, даже о прошлом, едва ли желательны. Развод в обычном порядке — слишком большая канитель. Я все так устрою, чтобы дать тебе свободу на вполне законном основании, и ты сэкономишь по крайней мере год.

— Если я на это решусь, — заметила она с бледной улыбкой.

Он кивнул.

— Но ведь я могу решить и иначе. Я еще сама не знаю. Может быть, все это только сон, и я скоро проснусь, и войдет Ой-Ли и скажет мне, что я спала долго и крепко...

Она неохотно отошла, но, сделав несколько шагов, вдруг опять остановилась.

— Дик, — окликнула она его, — ты мне раскрыл свое сердце, но не сказал, что у тебя на уме. Не делай никаких глупостей. Вспомни Дэнни Хольбрука! Смотри, чтобы на охоте не было никаких несчастных случаев!

Он покачал головой и насмешливо прищурился, делая вид, что находит такое подозрение очень забавным, в то же время удивляясь, как верно она отгадала его намерения.

— И бросить все это на произвол судьбы? — солгал он, делая широкий жест, которым он точно хотел охватить и имение и все свои планы. — И мою книгу о внутривидовом скрещивании? И мою первую распродажу на

месте?

— Конечно, это было бы глупо, — согласилась она с посветлевшим лицом. — Но, Дик, будь уверен — пожалуйста, прошу тебя, — что моя нерешительность никак не связана с... — Она запнулась, подыскивая слово, затем, повторив его жест, тоже показала вокруг себя, как бы охватывая весь Большой дом со всеми его сокровищами. — Все это не играет никакой роли. Правда.

— Как будто я не знаю, — успокоил он ее. — Из всех бескорыстных женщин ты самая...

— И знаешь. Дик, — прервала она его под влиянием новой мысли, — если бы я так уж безумно любила Ивэна, мне было бы все равно, и я в конце концов примирилась бы даже с «несчастливым случаем», раз уж нет иного выхода... Но видишь — для меня это невозможно. Вот тебе трудная задача. Реши-ка ее.

Она неохотно сделала еще несколько шагов, затем, повернув голову, сказала полупшепотом:

— Багряное Облако, мне ужасно, ужасно жаль, и... я так рада, что ты меня еще любишь...

До возвращения Блэйка Дик успел рассмотреть в зеркало свое лицо: выражение, столь поразившее накануне его гостей, словно запечатлелось навек. Его уже не сотрешь ничем. «Ну что ж, — сказал себе Дик, — нельзя жевать собственное сердце и думать, что не останется никакого следа!»

Он вышел на свою веранду и посмотрел на фотографию Паолы под барометром. Повернул ее лицом к стене и, сев на кровать, некоторое время смотрел на пустой прямоугольник рамки. Затем опять повернул лицом.

— Бедная девочка! — прошептал он. — Нелегко проснуться так поздно!

Но когда он смотрел на ее карточку, перед ним вдруг встала картина: Паола, залитая лунным светом, прижимается к Грэхему и тянется к его губам.

Дик быстро вскочил и тряхнул головой, чтобы отогнать мучительное видение.

В половине десятого он покончил с письмами и прибрал стол, на котором оставил только материалы для беседы со своими управляющими о шортхорнах и ширах.

Он стоял у окна и, прощаясь, махал рукой Льют и Эрнестине, которые садились в лимузин, когда вошел Менденхолл, а за ним вскоре и Мэнсон; Дик в кратком разговоре ухитрился сообщить им, как бы мимоходом, самые основы своих планов на будущее.

— Мы должны очень внимательно следить за мужским потомством Короля Поло, — сказал он Мэнсону. — Все говорит за то, что, если взять Красотку, или Деву Альберту, или Нелли Сигнэл, мы получим от него еще лучшие экземпляры. Мы не сделали этого нынче, но я думаю, что на будущий год или самое позднее через год Король Поло станет отцом какого-нибудь выдающегося быка-производителя.

В дальнейшей беседе как с Мэнсоном, так и с Менденхоллом Дику удалось незаметно подсказать им те практические формы, в которых должно проходить в его имении создание новых пород.

Когда они ушли. Дик позвал О-Поя по внутреннему телефону и отдал приказ проводить Грэхема в кабинет — пусть выберет себе винтовку и все что полагается.

Пробило одиннадцать. Он не знал, что Паола поднялась из библиотеки по скрытой в стене лестнице и теперь, стоя за книжными полками, прислушивается. Она хотела войти, но ее удержал его голос. Она слышала, как он беседует по телефону с Хэнли относительно водосливов Бьюкэйской плотины.

— Кстати, — говорил Дик, — вы ознакомились с донесениями о Большом Мирамаре?... Очень хорошо... Не верьте им. Я с ними в корне не согласен. Вода есть. Я не сомневаюсь, что там много подпочвенных вод. Пошлите туда бурильные машины, пусть продолжают разведку. Земля там невероятно плодородна; и если мы за пять ближайших лет не повысим в десять раз доходность этой пустоши...

Паола вздохнула и опять спустилась по лестнице в библиотеку.

«Багряное Облако неисправим — он все сажает свои желуди! Его любовь рушится, а он спокойно толкует о плотинах и колодцах, чтобы можно было в будущем посадить побольше желудей!»

Дик так и не узнал, что Паола приходила к нему со своей тоской и неслышно удалилась. Он опять вышел на веранду, но не бесцельно, а чтобы в последний раз просмотреть записную книжку, лежавшую на столике возле кровати. Теперь в его доме порядок. Осталось только подписать то, что он утром продиктовал, и ответить на несколько телеграмм; потом будет завтрак, потом охота на Сайкаморских холмах... О, он сделает это чисто. Виновницей окажется Капризница. У него будет даже свидетель — Фрейлиг или Мартинес. Но не оба. Одного вполне достаточно, чтобы увидеть, как лопнет мартингал, а кобыла взовьется на дыбы и повалится на бок среди кустов, подмяв его под себя. И тогда из чащи раздастся выстрел, который мгновенно превратит несчастье в катастрофу.

Мартинес впечатлительнее скульптора, он более подходящий

свидетель, подумал Дик. Надо сделать так, чтобы именно Мартинес оказался рядом, когда Дик свернет на узкую дорогу, где Капризница должна его сбросить. Мартинес ничего в лошадях не понимает. Тем лучше. Хорошо было бы, подумал Дик, минуты за две до катастрофы заставить Капризницу хорошенько взбеситься. Это придаст дальнейшему больше правдоподобия. Кроме того, это взволнует лошадь Мартинеса, а также и самого Мартинеса, и он ничего не успеет как следует разглядеть.

Вдруг Дик стиснул руки, охваченный внезапной болью. Маленькая хозяйка, наверное, с ума сошла, — иначе разве можно было совершить такую жестокость, думал он, слушая, как в открытое окно музыкальной комнаты льются голоса Паолы и Грэхема, поющих песню «Тропою цыган».

Пока они пели, он не разжимал стиснутых рук. А они допели всю эту удалую, беспечную песню до ее бесшабашного конца. Дик все еще стоял, погруженный в свои мысли, — а Паола беспечно смеялась, уходя от Грэхема, смеялась на широком дворе, смеялась на своей половине, упрекая О-Дая за какие-то провинности.

Затем издали донесся едва различимый, но характерный зов Горца. Властно заревел Король Поло. Им ответили гаремы кобыл и коров. Дик прислушался к этому любовному реву, ржанию, мычанью и, вздохнув, сказал:

— Ну, как бы там ни было, а стране я принес пользу. С этой мыслью можно спокойно уснуть.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Раздавшийся над его кроватью телефонный звонок заставил Дика подняться и взять трубку. Слушая, он смотрел через двор на флигель Паолы. Бонбрайт сообщил ему, что с ним хотел бы повидаться Чонси Бишоп, он приехал на автомашине в Эльдorado. Бишоп был владельцем и редактором газеты «Новости Сан-Франциско» и старинным другом Дика.

— Вы поспеете прямо к завтраку, — говорил Дик Бишопу. — И знаете — почему бы вам у нас не переночевать?.. Бог с ними, с вашими специальными корреспондентами! Мы едем сегодня охотиться на пум, и добыча будет наверняка... Уже выслежены! Корреспондентка? О чем ей писать?.. Пусть погуляет по усадьбе и наберет материал на десяток столбцов, а корреспондент поедет с нами и может описать охоту. Ну, еще бы, конечно... Я посажу его на самую смирную лошадь, с ней справится и ребенок.

«Чем больше будет народу, тем занятнее, особенно если поедут эти газетчики, — ухмыльнулся Дик про себя. — Сам дедушка Джонатан Форрест не сумел бы так инсценировать свой финал!»

«Как у Паолы могло хватить жестокости спеть „Тропою цыган“ тут же после нашего разговора?» — спрашивал себя Дик; он не клал трубки и слышал далекий голос Бишопы, убеждавшего своего корреспондента ехать на охоту.

— Отлично. Но поторопитесь, — сказал Дик, заканчивая свой разговор с Бишопом. — Я сейчас велю седлать лошадей, и вы получите того же гнедого, на котором ездили в прошлый раз.

Едва он успел повесить трубку, как телефон зазвонил опять. Теперь это была Паола.

— Багряное Облако, милое Багряное Облако, — сказала она. — Все твои рассуждения — ошибка. По-моему, я тебя люблю больше. Я вот сейчас решаю вопрос — и, кажется, в твою пользу. А чтобы мне помочь, чтобы я еще раз могла проверить себя... повтори то, что говорил сегодня, ну знаешь... «Я люблю одну, одну-единственную женщину... После двенадцати лет обладания я люблю ее безумно, нежно и безумно...» Повтори мне это еще раз, Багряное Облако.

— Я действительно люблю одну, одну-единственную женщину, — начал Дик. — После двенадцати лет обладания я люблю ее безумно, нежно и безумно...

Когда он кончил, наступила пауза, и он, ожидая ответа, боялся нарушить ее.

— И еще я вот что хотела сказать тебе, — начала она очень тихо, очень мягко и очень внятно. — Я люблю тебя. Никогда я так сильно не любила тебя, как вот в эти минуты. После двенадцати лет я наконец теряю голову. И так было с первой же минуты, только я не понимала этого. Сейчас я решила, раз и навсегда.

Она резко повесила трубку.

А Дик сказал себе, что теперь он знает, как чувствует себя человек, получивший помилование за час до казни. Он сел и долго сидел задумавшись, держа в руке трубку, и пришел в себя, только когда из конторы вышел Бонбrait.

— Сейчас звонил мистер Бишоп, — доложил Бонбrait. — У его машины ось лопнула. Я взял на себя смелость послать ему одну из наших машин.

— Пусть наши люди исправят поломку, — сказал Дик.

Оставшись опять один, он встал, потянулся и зашагал по комнате.

— Ну, Мартинес, дружище, — проговорил он вслух, — вы никогда не узнаете, при какой замечательной драматической инсценировке вы могли бы сегодня присутствовать.

Он позвонил Паоле.

Ответила Ой-Ли и тотчас же позвала свою госпожу.

— У меня есть песенка, которую я хотел бы тебе спеть, Поли. — И Дик запел старинную духовную песнь негров:

За себя, за себя,  
За себя, за себя  
Каждая душа несет ответ,  
За себя...

Я хочу, чтобы ты повторила мне те слова, которые только что сказала — от себя, от себя...

Она рассмеялась таким воркующим смехом, что его сердце дрогнуло от радости.

— Багряное Облако, я тебя люблю. Я решила: у меня никогда не будет никого на свете, кроме тебя. А теперь, милый, дай мне одеться. И так уже пора бежать завтракать.

— Можно мне прийти к тебе?.. На минутку? — попросил он.

— Не сейчас еще, нетерпеливый. Через десять минут. Дай мне сначала покончить с Ой-Ли. Тогда я буду готова ехать на охоту. Я надену свой охотничий костюм: знаешь, зеленый с рыжими обшлагами и длинным пером... как у Робин Гуда. И я возьму с собой мое ружье тридцать-тридцать. Оно достаточно тяжелое для пум.

— Ты подарила мне большое счастье, — сказал Дик.

— А я из-за тебя опаздываю. Повесь трубку. Багряное Облако, в эту минуту я люблю тебя больше...

Он слышал, как она повесила трубку, и, к своему удивлению, заметил, что почему-то не чувствует того счастья, которое должен был бы испытывать. Казалось, она и Грэхем все еще самозабвенно поют страстную цыганскую песню.

Неужели она играла Ивэном? Или играла им. Диком? Нет, это было бы с ее стороны просто невозможно, непостижимо. Размышляя об этом, он снова увидел ее в лунном свете: она прижимается к Грэхему, ее губы ищут его губ...

Дик в недоумении покачал головой и взглянул на часы. Во всяком случае, через десять минут — нет, меньше, чем через десять... — он будет держать ее в своих объятиях и тогда узнает наверное...

Таким долгим показался ему этот краткий срок, что он, не ожидая, медленно пошел к Паоле, остановился, чтобы закурить сигарету, бросил ее после первой затяжки и опять остановился, прислушиваясь к стуку машинок в конторе.

Ему оставалось еще две минуты, но, зная, что достаточно и одной, чтобы дойти до заветной двери без ручки, он постоял еще во дворе, любуясь на диких канареек, купавшихся в бассейне.

В тот миг, когда птички испуганно вспорхнули трепетным золотисто-алмазным облачком. Дик вздрогнул: на половине Паолы раздался выстрел, и он узнал по звуку, что выстрелило ее ружье 30-30. Он бросился туда через двор... «Она опередила меня», — тут же подумал он. И то, что за минуту перед тем казалось ему непонятным, стало беспощадно ясным, как этот выстрел.

И пока он бежал через двор и по лестницам, оставляя за собой распахнутые двери, в его мозгу стучало: «Она опередила меня. Она опередила меня».

Паола лежала, скорчившись и вздрагивая, в полном охотничьем костюме, кроме маленьких бронзовых шпор, которые держала в руках перепуганная, растерявшаяся китаянка.

Дик мгновенно осмотрел Паолу: она дышала, хотя была без сознания.



Пуля прошла насквозь с левой стороны. Он бросился к телефону. Ожидая, пока домашняя станция соединит его с кем нужно, он молил провидение о том, чтобы Хеннесси оказался в конюшнях. К телефону подошел конюх, и пока он бегал за ветеринаром. Дик приказал О-Пою не отходить от коммутатора и сейчас же послать к нему О-Дая.

Уголкем глаза он видел Грэхема: тот ворвался в комнату и бросился к Паоле.

— Хеннесси, — распоряжался Дик, — я жду вас как можно скорее. Захватите все для оказания первой помощи. Ружье миссис Паолы выстрелило... пуля прошла через сердце или через легкое, а может быть, через то и другое. Идите прямо в спальню миссис Форрест. Только скорее!

— Не прикасайтесь к ней, — резко бросил он Грэхему. — Это может повредить ей... вызвать сильное кровоизлияние.

Затем он опять кинулся к О-Пою:

— Отправьте Каллахана на гоночной машине в Эльдorado. Скажите ему, что он встретит по пути доктора Робинсона, пусть посадит его и как можно скорей доставит сюда. Пусть едет как дьявол. Скажите, что миссис Форрест ранена и от него может зависеть ее жизнь.

Не кладя трубки, он повернулся, чтобы взглянуть на Паолу.

Грэхем стоял, склонившись над ней, но не прикасаясь; взгляды их встретились.

— Форрест, — начал он, — если это вы...

Но Дик остановил его, показав глазами на китаянку, все еще растерянно и безмолвно державшую в руках бронзовые шпоры.

— Об этом поговорим потом, — отрезал он и снова поднес трубку к губам: — Доктор Робинсон?.. У миссис Форрест прострелено легкое или сердце, может быть, то и другое. Каллахан выехал на гоночной машине, поезжайте ему навстречу, гоните во весь дух!

Когда Дик, опустившись на колени, опять склонился над Паолой и принялся ее осматривать, Грэхем отошел.

Осмотр был очень короток. Дик взглянул на Грэхема и покачал головой:

— Трогать ее слишком рискованно.

Затем обратился к китаянке:

— Положите куда-нибудь эти шпоры и принесите подушки. А вы, Ивэн, помогите с другой стороны. Приподнимайте ее понемногу, не торопясь. Ой-Ли, подсуньте подушку... осторожнее... осторожнее...

Подняв глаза, он увидел О-Дая, безмолвно ожидавшего приказаний.

— Попросите мистера Бонбрайта сменить О-Поя у коммутатора, а О-Пой пусть стоит тут и все исполняет немедленно. И пусть О-Пой соберет всех слуг, они могут в любую минуту понадобиться. Как только Сондерс возвратится с мистером Бишопом и остальными, пусть сейчас же едет в Эльдорадо навстречу Каллахану, на тот случай, если машина поломается. Скажите О-Пою, чтобы он разыскал мистера Мэнсона, и мистера Питтса, и всех управляющих, у кого есть машина, пусть они все приедут сюда и ждут здесь вместе с машинами. И пусть О-Пой примет и устроит Бишопа и его спутников как полагается. А вы возвращайтесь сюда, чтобы в любую минуту быть под рукой.

Дик опять повернулся к горничной:

— А теперь расскажите, как это случилось.

Ой-Ли качала головой и ломала руки.

— Где вы были, когда ружье выстрелило? Китайка проглотила слезы и указала на дверь гардеробной.

— Ну, говорите же! — приказал Дик.

— Миссис Форрест велела мне приготовить шпоры... Я про них забыла... Я скорей пошла. Слышу выстрел. Я иду скорей назад, бегу... и...

— Но что было с ружьем?

— Непорядок. Может, сломалось. Четыре минуты не стреляло... пять минут... Миссис Форрест старалась, чтобы стреляло.

— Она уже начала возиться с ружьем, когда вы пошли за шпорами?

Ой-Ли кивнула.

— Я перед тем ей сказала: «Может, О-Пой исправит?» Миссис Форрест сказала: «Не стоит». Она сказала, вы исправите. Положила ружье вот так. Опять взялась чинить. Потом послала за шпорами. А потом... ружье и выстрелило.

Приезд Хеннесси прервал этот разговор. Он осматривал Паолу немногим дольше Дика, затем поднялся. Лицо его было мрачно.

— Я не решаюсь тревожить ее, мистер Форрест. Наружное кровоизлияние прекратилось, но кровь, видимо, скопляется внутри. Вы послали за врачом?

— За Робинсоном. К счастью, успел захватить, когда он только что начал прием. Хороший молодой хирург, — обратился Дик к Грэхему, — с выдержкой и смелый. Я верю ему больше, чем многим прославленным старым врачам. Как вы думаете, мистер Хеннесси? Есть надежда?

— По-моему, дело плохо, хоть я тут и не судья, — ведь я только коновал. Робинсон разберется. А пока остается только ждать...

Дик кивнул и вышел на веранду Паолы, чтобы послушать, не

приближается ли гоночная машина, на которой ехал Каллахан. Мягко подошел и ушел лимузин. Грэхем тоже появился на веранде.

— Форрест, я прошу вас меня простить, — сказал Грэхем. — Я просто себя не помнил в первую минуту. Увидел вас здесь и решил, что это при вас случилось. Должно быть, несчастный случай...

— Да, бедная детка... — подтвердил Дик. — А она еще хвасталась, что всегда очень осторожна с огнестрельным оружием.

— Я осмотрел ружье, — сказал Грэхем, — и ничего не нашел, все в порядке.

— Потому-то беда и случилась: непорядок Паола исправила, но ружье при этом выстрелило.

И пока Дик говорил, придумывая объяснение, которое могло бы обмануть даже Грэхема, он мысленно удивлялся, как искусно Паола все это разыграла. Последний дуэт с Грэхемом был прощанием — и вместе с тем средством отвести подозрение. Так же Паола поступила с ним. Диком. Она простила и с ним, и последние сказанные ею по телефону слова были обещанием, что никогда не будет у нее другого мужчины, кроме Дика.

Он отошел от Грэхема на дальний конец веранды.

— И у нее хватило сил, хватило сил! — бормотал он про себя дрожащими губами. — Бедная детка! Она так и не могла выбрать между нами двумя — и вот как разрешила вопрос.

Шум подъехавшей машины заставил его и Грэхема подойти друг к другу, и они вместе вернулись в комнату Паолы, чтобы встретить врача. Грэхем волновался, он не мог уйти — и чувствовал, что должен уйти.

— Прошу вас, Ивэн, оставайтесь, — обратился к нему Дик. — Она очень хорошо к вам относилась и если откроет глаза, то будет рада вас увидеть.

В то время, как Робинсон осматривал Паолу, оба отошли в сторону. Когда врач с решительным видом поднялся. Дик вопросительно взглянул на него. Робинсон покачал головой.

— Ничего не поделаешь, — сказал он. — Это вопрос нескольких часов, может быть, даже минут... — Он помолчал, вглядываясь в лицо Дика, затем добавил: — Можно облегчить конец, если вы согласны. А то очнется и еще некоторое время будет мучиться...

Дик прошел взад и вперед по комнате, а когда заговорил, то обратился к Грэхему:

— Почему бы не дать ей пожить хотя бы самый короткий срок? Боль — это ведь не существенно. Успокоение наступит скоро и неизбежно. И я

желал бы этого, да и вы, наверное, тоже. Она так любила жизнь, каждый ее миг... Зачем нам лишать ее тех немногих минут, которые ей остались?

Грэхем кивнул, соглашаясь, и Дик повернулся к врачу:

— Вы можете дать ей возбуждающее и привести в сознание? Ну так сделайте это. А если она будет очень страдать, вы поможете ей успокоиться.

Когда Паола открыла трепетные веки. Дик кивнул Грэхему, чтобы тот стал рядом с ним. Сначала на лице ее была только растерянность, затем взгляд остановился сначала на Дике, потом на Грэхеме, и жалкая улыбка тронула губы.

— Я... я думала, что уже умерла, — сказала она.

Но тут ею овладела другая мысль, и Дик угадал эту мысль, когда ее глаза испытующе устремились на него: Паола как бы спрашивала, догадывается ли он, что это не просто «несчастный случай»? Но он ничем себя не выдал. Она хотела его обмануть, — пусть умрет, думая, что он ей поверил.

— Как... как... это я... ухитрилась... — сказала она. Паола говорила вполголоса, медленно, видимо, собираясь с силами после каждого слова. — Я всегда была так осторожна... и совершенно уверена, что... со мной никогда... ничего... не случится. А вот что натворила!

— Да, да, прямо стыдно, — сочувственно поддержал ее Дик. — А что там было? Заело спуск?

Она кивнула и опять улыбнулась жалкой улыбкой, которой тщетно старалась придать себе бодрость.

— О Дик, пойді позови соседей, пусть посмотрят, что натворила маленькая Паола!.. А это серьезно? — продолжала она. — Будь честен. Багряное Облако, скажи правду... ты же знаешь меня, — добавила она нетерпеливо, так как Дик ничего не ответил.

Он опустил голову.

— А долго это будет тянуться?

— Нет, недолго, — наконец проговорил он. — Это может случиться... в любую минуту.

— То есть?.. — Она вопросительно посмотрела на врача, затем на Дика. Дик кивнул.

— Я ничего другого от тебя и не ожидала. Багряное Облако, — прошептала она благодарно. — А доктор Робинсон согласен?

Доктор подошел ближе, чтобы она видела его, и наклонил голову.

— Спасибо, доктор. И помните, я сама скажу когда.

— Тебе очень больно? — спросил Дик.

Глаза Паолы расширились, она хотела храбро пересилить себя, но в них появилось выражение страха, когда она ответила задрожавшими губами:

— Не очень, а все-таки — ужасно, ужасно! Я не хочу долго мучиться. Я скажу когда.

Опять на ее губах появилась слабая улыбка.

— Странная вещь жизнь, очень странная, правда? И, знаете, мне бы хотелось уйти под звуки песен о любви. Сначала вы, Ивэн, спойте «Тропою цыган»! Подумайте! Часу не прошло, как мы с вами ее пели! Помните? Пожалуйста, Ивэн, прошу вас!

Грэхем посмотрел на Дика, спрашивая взглядом разрешения, и Дик молчаливо дал его...

— И спойте ее смело, радостно, с упоением, как спел бы настоящий влюбленный цыган, — настаивала она. — Отойдите вон туда, я хочу вас видеть...

И Грэхем пропел всю песню, закончив словами:

А сердцу мужчины — женское сердце...  
Пусть в шатрах моих свет погас, —  
Но у края земли занимается утро,  
И весь мир — ожидает нас.

В дверях, ожидая приказаний, неподвижный, как статуя, замер О-Дай. Ой-Ли, пораженная скорбью, стояла у изголовья своей хозяйки; она уже не ломала рук, но так стиснула их, что концы пальцев и ногти побелели. Позади, у туалетного столика Паолы, доктор Робинсон бесшумно распускал в стакане таблетки наркотика и набирал шприцем раствор.

Когда Грэхем умолк, Паола взглядом поблагодарила его, закрыла глаза и полежала некоторое время не двигаясь.

— А теперь. Багряное Облако, — сказала она, снова открывая глаза, — твоя очередь спеть мне про Ай-Кута, и женщину-росинку, и женщину-хмель. Стань там, где стоял Ивэн, я хочу тебя видеть.

— "Я — Ай-Кут, первый человек из племени нишинамов. Ай-Кут — сокращенное Адам. Отцом мне был койот, матерью — луна. А это Йо-то-то-ви, моя жена, Ио-то-то-ви: это сокращенное Ева. Она первая женщина из племени нишинамов.

Я — Ай-Кут. Это моя жена, моя росинка, моя медвяная роса. Ее мать — заря Невады, а отец — горячий летний восточный ветер с гор. Они

любили друг друга и пили всю сладость земли и воздуха, пока из мглы, в которой они любили, на листья вечнозеленого кустарника и мансаниты не упали капли медвяной росы.

Я — Ай-Кут. Йо-то-то-ви — моя жена, моя перепелка, мой хмель, моя лань, пьяная теплым дождем и соками плодоносной земли. Она родилась из нежного света звезд и первых проблесков зари в первое утро мира, — и она моя жена, одна-единственная для меня женщина на свете".

Паола опять закрыла глаза и лежала молча. Она попыталась сделать более глубокий вздох и слегка закашлялась.

— Старайся не кашлять, — сказал Дик.

В горле у нее першило, и она сдвинула брови, сиюсь удержать приступ кашля, который мог ускорить конец.

— Ой-Ли, подойди сюда и стань так, чтобы я могла тебя видеть, — сказала она, открыв глаза.

Китаянка повиновалась. Она двигалась, точно слепая. Доктор Робинсон положил ей руку на плечо и поставил так, как хотела Паола.

— Прощай, Ой-Ли. Ты всегда была ко мне очень добра. А я, может быть, не всегда. Прости меня. Помни, что мистер Форрест будет тебе отцом и матерью... И возьми себе все мои украшения из агата...

Она закрыла глаза — в знак того, что ее прощание с китаянкой окончено.

Опять ее стал беспокоить кашель, все более мучительный и настойчивый.

— Пора Дик, — сказала она едва слышно, не открывая глаз. — Я хочу, чтобы меня убаюкали. Что, доктор, готово? Подойди поближе. Держи мою руку, как тогда... Помнишь? Во время... моей малой смерти.

Она устремила взгляд на Грэхема, и Дик отвернулся: он знал, что этот последний взгляд будет полон любви, как будет полон любви и тот, которым она скажет ему последнее прости.

— Однажды, — пояснила она Грэхему, — мне пришлось лечь на операцию, и я заставила Дика пойти со мной в операционную и держать мою руку все время, пока не начал действовать наркоз и я уснула. Ты помнишь, Хэнли назвал тогда эту полную потерю сознания «малой смертью»? А мне было очень хорошо.

Она долго и молча смотрела на Грэхема, потом повернулась лицом к Дику, который стоял возле нее на коленях и держал ее руку.

— Багряное Облако, — прошептала она. — Я люблю тебя больше. И я горда тем, что была твоей так долго, долго. — Она сжала его руку и притянула его к себе еще ближе. — Мне очень жалко, что у нас не было

детей, Багряное Облако...

Потом разжала руку и слегка отстранила его от себя, чтобы видеть обоих.

— Оба хорошие, оба хорошие... Прощайте, мои хорошие. Прощай, Багряное Облако.

Они молча ждали, пока доктор подготовлял ее руку для укола.

— Спать, спать, — тихо щебетала она, как засыпающая птичка. — Я готова, доктор. Но сначала хорошенько натяните кожу. Вы знаете, я не люблю, чтобы мне делали больно. Держи меня крепче. Дик!

Робинсон, подчиняясь взгляду Дика, легко и быстро вонзил иглу в туго натянутую кожу, твердой рукой нажал на поршень, тихонько растер пальцем уколотое место, чтобы морфий скорее всосался.

— Спать, спать, хочу спать... — опять, словно задремывая, прошептала она.

В полусознании она повернулась на бок, положила голову на согнутую руку и свернулась клубочком в той позе, в которой. Дик знал, она любила засыпать.

Прошло немало времени, пока она еще раз чуть вздохнула... и отошла так легко, что они даже не заметили, как ее не стало.

Царившее в комнате молчание нарушалось только щебетом купавшихся в воде фонтана диких канареек; издалека доносился, подобный трубному звуку, призыв Горца, и Принцесса отвечала ему серебристым ржанием.

---

notes
-------

## Примечания



**1**

Меньерова болезнь выражена в припадках головокружения и глухоты.

Лорд Фаунтлерой — герой популярной повести американской писательницы Э. Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой».

Перевод Н. Банникова.

Грант Улисс (1822 — 1885) — главнокомандующий северян во время Гражданской войны 1861 — 1865 годов.

ИРМ (Индустриальные Рабочие Мира) — профсоюзная организация в США, основанная в 1905 году и одно время выступавшая с революционными лозунгами.

Бергсон Анри (1859 — 1941) — французский философ, создатель ряда идеалистических теорий в области истории, психологии и эстетики. Книга «Философия смеха» — наиболее известная работа Бергсона, затрагивающая проблемы эстетики.

Верецагин Василий Васильевич (1842 — 1904) — русский художник, на рубеже XIX — XX веков пользовавшийся мировой известностью.

Уэрта Викториано (1854 — 1916) — генерал, совершивший контрреволюционный переворот в Мексике в 1913 году.



Вилья Франсиско (1877 — 1923) — один из руководителей партизанского движения мексиканских крестьян.

Волонтеры — лица, добровольно вступившие на военную службу. В Великобритании до конца XIX века система волонтерства была основным способом комплектования армий.

Леди Годива — героиня английской средневековой легенды. По приказу своего мужа, владетельного графа, она нагая проехала по городу верхом на лошади. Только такой ценой он согласился снизить непосильное для народа бремя налогов.

Патуа — местное, наречие, говор (фр.).

Песня «Тропою цыган» дана в переводе В. О. Станевич.